Драйзер Теодор

Оплот

Пролог

Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей.

— Я, Солон Барнс, перед богом и людьми беру в жены Бенишию Уоллин и клянусь, с помощью господней, быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть.

— Я, Бенишия Уоллин, перед богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь, с помощью господней, быть ему верной и любящей женою, пока не разлучит нас смерть.

Эти торжественные слова прозвучали однажды ясным июньским утром в глубокой тишине молитвенного дома квакеров в Дакле, штат Пенсильвания, где собралось около ста человек — родственники и друзья вступающих в брак.

Дело происходило в конце прошлого века, но каждый, кто знаком с историей и традициями квакерства, сразу заметил бы, что многое изменилось с того времени, когда члены этой высоконравственной организации еще строго соблюдали обычаи и верования, на которых зиждется ее единство и сила, и не только носили традиционную квакерскую одежду, но и держали себя со степенным достоинством, как подобает тому, кто всегда помнит о Внутреннем свете, озаряющем все людские мысли и дела. Этот Внутренний свет, по-видимому, означает для каждого квакера постоянное присутствие в человеке животворящего божественного духа, которое и знаменует собою единение бога с его земными детьми.

Некоторые из собравшихся костюмом и всем обликом сравнительно мало отличались от своих недавних предков, но больше было таких, чья внешность казалась вполне современной, хотя до существующей моды им еще было очень далеко.

Мужчины постарше брили бороду, и большинство из них сохраняло дедовскую простоту в одежде: стоячий воротничок, длинный сюртук без карманов, широкополая круглая черная шляпа. Костюм пожилых женщин состоял из широкой, доходящей до щиколоток, серой юбки и серого же лифа с белой косынкой на шее; его дополняли простые тупоносые башмаки без каблуков, строгая черная тальма или шаль и традиционный квакерский чепец без всяких украшений, завязанный под самым подбородком узенькими, точно шнурок, серыми ленточками. Здесь не было нарядов в нашем понимании этого слова, но не было и каких-либо жалких или неряшливых подражаний им.

Зато среди представителей более молодого поколения многие, и мужчины и женщины, настолько поддались духу новшеств и перемен, за последние годы проникшему в квакерскую среду, что почти перестали заботиться о внешних признаках внутренней, духовной красоты.

Они по-прежнему обращались к богу — или к Внутреннему свету, что для них было одно и то же — за поддержкой и руководством, хотя в наш сугубо материалистический век этому и не придается уже значения. Но в то же время кое у кого из них появилась упорная тяга к житейскому благополучию, к положению в обществе, выработалась практическая сметка, каким-то образом уживавшаяся с высокими стремлениями, некогда вдохновлявшими их или во всяком случае их отцов. И многие, в частности, уже пришли к мысли, что вовсе незачем придерживаться старомодного однообразия в костюме; это лишь создает неудобства и отнюдь не вытекает из учения основателя квакерства, непоколебимого в своей вере Джорджа Фокса. У него нет нигде упоминаний о какой-то обязательной квакерской форме одежды. Он требовал простоты и скромности, и только.

Вот этот практицизм в конечном счете и подточил основы Общества друзей, отдалил его от тех возвышенных побуждений, того стремления к совершенству в не слишком совершенном мире, которое на первых порах так привлекало правительства и народы. Жизнь есть не что иное, как совокупность явлений, находящихся в довольно приблизительном и неустойчивом

равновесии, и первые квакеры с прекрасной и трогательной решимостью стремились к тому, чтобы сделать это равновесие полным, безупречным и непоколебимым. Вот что писал Джордж Фокс:

«Теперь, когда господь своей непостижимой властью открыл мне, что божественный свет Христа озаряет души всех людей, я вижу этот свет в каждом человеке. И те, кто уверовал в него, спаслись от осуждения и обрели радость жизни и стали истинными детьми божьими; а те, кто не уверовал и возненавидел, осуждены навеки, хотя и зовут себя христианами».

Но идеал Джорджа Фокса пришел в столкновение с повседневной действительностью нашего мира, мира страстей и лишений, тягот и неравенства. Мелкие душонки, ограниченные умы сразу же повели бесплодную борьбу против учения Фокса, зато мечтатели и поэты из Общества друзей восторженно ухватились за него. Дни Джорджа Фокса напоминали времена Франциска Ассизского в Италии. Немало было таких людей, которые стремились претворить идеал в жизнь. Но потом пришел искуситель. Под зноем палящим и бременем жизненных тягот многие изнемогли и предпочли более далекий путь. Видимость, буква стала для них всем, дух — ничем.

И сейчас в этом скромном молитвенном доме с выбеленными стенами, со строгим темным фасадом, перед которым зеленела на солнце июньская травка, уже явственно чувствовалось оскудение высокого идеала. Блюстители традиций сидели на скамьях, ничем не нарушая чинного церковного благолепия, время от времени вставали и произносили трогательные речи о «свете, ведущем нас к совершенству», а потом возвращались к своим житейским делам и заботам, один — на принадлежащую ему корабельную верфь, другой — в свою лавку, третий — в банк или контору компании, четвертый — еще куда-нибудь, и кроме мелких, чисто внешних штрихов, ничто в их жизни не напоминало того, о чем мечтал и во что верил Фокс.

На людях такой человек почти не отличался от других. Только у себя дома или в молитвенном собрании он еще соблюдал традиционное квакерское обращение на «ты» ко всем без различия возраста и положения. Давно были позабыты старые обычаи — например, вызывавший в свое время немало протестов обычай не снимать шляпы перед кем бы то ни было из людей, в том числе и перед представителями земной власти.

Что касается танцев, пения, музыки, театральных зрелищ, нарядов, книг и картин вольного или просто занимательного содержания, а также чрезмерного накопления богатств — то на словах все это по-прежнему безоговорочно осуждалось. Однако на деле были исключения и тут. Среди квакеров насчитывалось довольно много удачливых дельцов, в домах у которых можно было увидеть и книги, и гравюры, и другие произведения искусства, и даже услышать музыку. Тем не менее и они, хотя бы по своему образу мыслей, оставались сторонниками простоты в обращении и умеренности в привычках.

Итак, здесь, в этом молитвенном доме, где солидные и зажиточные родственники невесты сидели рядом с более скромной родней жениха, были представлены все разнообразные оттенки отношения к квакерским взглядам и обычаям, встречающиеся в том кругу, где прошла юность Солона Барнса.

Часть первая

ГЛАВА I

Родители Солона Барнса, Руфус и Ханна Барнс, были людьми далеко не богатыми. В ту пору, когда Солон появился на свет, Руфус Барнс сочетал в своем лице мелкого фермера и средней руки торговца. Его ферма, расположенная у самой окраины городка Сегукит, штат Мэн, была невелика, но все же овощи и фрукты в хозяйстве всегда имелись свои, сено и овес шли на продажу, и благодаря этому Руфусу в конце концов удалось купить небольшую лавку в центре города, торговавшую конским фуражом. Прежний владелец порядком запустил торговлю, но Руфус, как человек благочестивый и нравственный, пользовался доброй славой у окрестных квакеров, да и не только у них, и потому дела его в скором времени пошли так хорошо, что он смог послать и Солона, своего первенца, и Синтию, его единственную сестру, в начальную школу местной квакерской общины, где они и проучились, первый до десяти, вторая до восьми лет. Тут, однако, встал вопрос о том, где им учиться дальше.

Случилось так, что в это время умер дядя Солона, Энтони Кимбер. Он был женат на сестре Ханны Барнс, но давно уже переехал вместе с женой и двумя дочерьми в Трентон, штат Нью-Джерси, где занялся производством фаянсовой посуды. И вот Феба Кимбер стала просить Руфуса, отца Солона, чтобы он приехал в Трентон и помог ей распорядиться полученным наследством. Муж оставил солидный капитал, вложенный в гончарные предприятия Трентона, кроме того, дом и закладные на несколько земельных участков в быстро застраивающемся районе между Трентоном и Филадельфией.

Обе сестры, миссис Кимбер и миссис Барнс, с детства нежно любили друг друга, и каждая встреча всегда была для них настоящим праздником, да и сам Руфус по-родственному тепло относился и к Кимберу и к его жене. Поэтому он сразу согласился выполнить просьбу Фебы, хоть это было связано для него и с хлопотами и даже с немалыми расходами — пришлось ведь нанять человека, одного из сегукитских квакеров, чтобы тот хозяйничал в лавке в его отсутствие. Однако поездка обернулась для Руфуса приятнее и даже выгоднее, чем можно было ожидать. Выяснилось, что покойный свояк, человек весьма энергичный и способный, сумел так приумножить капитал, вложенный им в гончарные предприятия Трентона, что теперь

вдовья доля его жены исчислялась в сорок пять тысяч долларов. Кроме того, он ссужал окрестным фермерам деньги под заклад земельных участков, расположенных между Трентоном и Филадельфией; а так как население в округе быстро росло, то и земля неуклонно повышалась в цене. Срок одной такой закладной как раз недавно истек, и заложенный участок, довольно значительный по своим размерам, должен был перейти в собственность Кимбера, но смерть помешала ему закончить все необходимые формальности, и теперь Руфус, искренне заботясь об интересах свояченицы и ее детей и зная ее беспомощность в вопросах практических, решил довести дело до конца. Землю, рассуждал он, можно будет сдать в аренду или продать, а на вырученные деньги и на доход от других капиталовложений Феба с детьми сможет жить в своем трентонском доме, как жила до сих пор.

Этой родственной услуге суждено было сыграть в жизни Руфуса и его семьи не меньшую, если не большую роль, чем в жизни миссис Кимбер и ее детей. Правда, Феба Кимбер понимала, что в смысле коммерческих способностей Руфусу далеко до ее покойного мужа, но она уважала его за чистоту нравственных и религиозных принципов; а Ханна Барнс всегда была ей родною не только по крови, но и по душевному складу, и потому она всячески стремилась укрепить близость между обеими семьями.

Руфуса все знали как человека честного и благожелательно относящегося к людям. Своим небольшим достатком он был обязан собственному трудолюбию и добропорядочности. И Феба давно уже убедилась, — и по письмам и когда приезжала гостить в Сегукит, — что заботы о хозяйстве и о торговле не мешали Руфусу исправно выполнять свой религиозный долг; мало того — со всеми соседями и собратьями по квакерской общине он старался жить в добром согласии и за свою готовность каждому услужить и помочь пользовался расположением всех, кто его знал. Недаром в сорок лет он уже был одним из старейшин сегукитской общины и в День первый (так у квакеров именуется воскресенье) восседал на возвышении лицом к молящимся среди прочих старейшин и духовных руководителей общины, мужчин и женщин. В доме Барнсов, как и во многих домах той округи, никогда не угасал пламень веры.

Дети, Солон и Синтия Барнс, ни разу не сели за стол без благодарственной молитвы, и день в семье всегда начинался с того, что все домашние собирались вместе и миссис Барнс читала главу из Библии, после чего на несколько минут водворялось торжественное молчание. Эти минуты наложили отпечаток на всю последующую жизнь Солона и его сестры. Правда, в то время они были еще слишком юны, чтобы чувствовать что-либо, кроме безмолвного изумления. Но весь житейский и религиозный уклад, с детства привычный Солону и Синтии, настолько вошел в их плоть и кровь, что и тот и другая до конца своих дней сохранили незыблемую веру в животворящий божественный дух, пребывающий в каждом из нас, определяющий все дела и поступки людские, — тот божественный дух, или Внутренний свет, к которому можно обратиться в час невзгоды, сомнения или душевной тревоги и обрести помощь и утешение.

Итак. Феба Кимбер встретила в Руфусе Барнсе надежного и добросовестного советчика. Он не только дал ей ценные наставления относительно того, как распорядиться доставшимся ей имуществом и как им управлять в дальнейшем, но даже выразил готовность и впредь помогать ей советом в случаях каких-нибудь затруднений и, хоть ему и трудно отрываться от собственных дел, приезжать для этого из Сегукита.

Однажды в разговоре Феба сказала ему:

— Руфус, а что, если тебе продать ферму и лавку в Сегуките и переселиться сюда? Ты сам видишь, как мне здесь трудно одной с моими девочками. Энтони всегда умел наставлять и направлять их — да и меня тоже. Вот мне и пришло в голову: если б вы с Ханной жили не в Сегуките, а в Трентоне, это было бы для меня большим подспорьем, да и я кое в чем, пожалуй, могла бы вам помочь. Ты знаешь, денег у меня на всех хватит, особенно, если ты будешь управлять моим имуществом. Конечно, там, в Сегуките, у тебя своя ферма и торговля, но ведь у меня, как ты знаешь, кроме этого дома, есть еще большая усадьба близ Даклы — закладная на нее просрочена, и Энтони как раз собирался закрепить дом и участок за собой. Ты мог бы поселиться там и вести самостоятельное хозяйство — если, разумеется, вы с Ханной не предпочтете жить здесь, вместе с нами. Вот я и подумала: может, это будет даже на пользу тебе, Ханне и детям, особенно Солону, когда он подрастет, а уж о своих девочках я и не говорю. Трентон, как ты сам мог убедиться, становится процветающим городом. И пусть молитвенный дом в Сегуките не хуже нашего, но если говорить, к примеру, о воспитании детей, то Ханна найдет здесь или в Филадельфии школы, о которых она могла только мечтать, живя на сегукитской ферме. Кроме того, потеряв такого мужа, как Энтони, я едва ли соберусь когда-нибудь снова замуж, а потому я очень желала бы, чтобы ты взял на себя попечение и о моих делах, — надеюсь, это не окажется для тебя чересчур обременительным или невыгодным. Я со своей стороны готова устроить все так, как ты найдешь лучше для себя, Ханны и детей, — ведь ты же знаешь, как я вас всех люблю.

Руфус молчал, сосредоточенно глядя на миссис Кимбер. Перед ним была женщина еще довольно молодая и привлекательная, и многое в ее предложении заставляло призадуматься. Наряду с выгодами он предвидел и осложнения. Например, перспектива соединить обе семьи под одной крышей; при всей привязанности Фебы и Ханны друг к другу, не стали бы они со временем тяготиться подобной близостью. Не так просто наладить мирную и счастливую жизнь в доме, где четверо детей с утра до вечера вместе. Пойдут ссоры; кому из матерей разбирать их? И как находить обидчика? Нет. Это не годится. И Руфус попытался как можно убедительнее объяснить Фебе, что, прежде чем дать ей ответ, он должен съездить в Сегукит и посоветоваться с Ханной.

В другом варианте — поселиться в усадьбе близ Даклы и привести ее в порядок — тоже были свои сложности. Он знал эту усадьбу: шестьдесят акров земли и большой двухэтажный дом в тени раскидистых кедров, с красивой флорентийской кровлей, нависающей над ступенями входа. Когда-то имение принадлежало семейству Торнбро, чье имя было известно всем в округе еще до Гражданской войны. В свое время у хозяев водились деньги; об этом говорил узорный переплет высокой чугунной ограды, которая шла вокруг усадьбы. Слева (если стать лицом к дому) в ограде были широкие ворота. И полукруглая подъездная аллея вела к парадному входу; массивная дубовая дверь была украшена искусною резьбой, изображавшей букеты цветов. Вообще в доме было много резного дерева, и резьба по большей части превосходно сохранилась — Руфус отметил это, еще когда осматривал имение в качестве доверенного миссис Кимбер, — но там, где она попортилась или стерлась, восстановление должно было стоить больших денег. В парадных комнатах с лепных плафонов спускались хрустальные люстры, в которых когда-то горели свечи; теперь все это нужно было заменить электричеством. Печи тоже требовалось разобрать и вместо них провести центральное отопление. Нынешний владелец дома был простой фермер, не лентяй, но человек довольно неотесанный; имение досталось ему по наследству. Он жил там с женой и пятерыми детьми, но не чаял разделаться с ним и перебраться в город, потому что, несмотря на все труды, доходов едва хватало, чтобы прокормить семейство, а ведь нужно было еще платить налоги и проценты по той самой закладной, которая попала в руки Энтони Кимбера.

ГЛАВА II

Однако дом и его внутренняя отделка были делом второстепенным, и, осматривая усадьбу Торнбро, Руфус только мельком отметил все это. Гораздо больший интерес представлял по своим размерам и состоянию сад, а главное — примыкающие к нему шестьдесят акров пахотной земли. Земля была отличная, и Руфус опытным глазом сразу оценил это; применяя правильную систему севооборота, здесь можно было снимать большие урожаи любой культуры, имеющей сбыт на местном рынке, — обстоятельство, которое он не преминет выгодно использовать, если поселится в Торнбро и найдет хорошего работника себе в помощь.

Что же касается дома и сада, он решил, не откладывая, рассказать Фебе, как обстоит дело, и выяснить, нельзя ли употребить часть свободных средств, оставленных Кимбером, на необходимый ремонт и перестройки. Он рассуждал так: если они с Ханной согласятся переехать в Торнбро, надо сделать дом мало-мальски пригодным для жилья. Если же, как он предполагал раньше, решено будет продать имение целиком, к выгоде Фебы и ее детей, — то тем более нужно привести его в такой вид, чтобы оно могло понравиться покупателю, а на это требуются деньги. Руфус еще раз снизу доверху обошел старый дом, затем посоветовался кое с кем из местных агентов по продаже недвижимости, разузнал подробности о других старых домах такого же типа, перестроенных и проданных или же продолжающих служить загородным жильем для состоятельных филадельфийских семейств, и сообщил Фебе следующее: из Торнбро, несомненно, можно извлечь выгоду, но для этого нужно привести там все в годный для существования вид, что потребует немалых затрат. Впрочем, по его мнению, эти затраты оправдаются.

Если же, продолжал он, Феба в самом деле хочет, чтобы он с семьей переселился в этот чужой для них край, то вот план, который потребует наименьших расходов и будет самым приятным для него и Ханны: они поселятся в Торнбро, и Руфус станет хозяйничать на ферме с помощью хорошего работника, которого он постарается подыскать. Придется отремонтировать часть комнат — чтобы только им уместиться вчетвером с детьми, — а когда ферма начнет давать приличный доход, можно будет подумать и о капитальном ремонте всего дома. В ответ на это Феба еще раз повторила, что он может распоряжаться в Торнбро, как ему угодно: все равно она уже решила отказать усадьбу по завещанию им с Ханной. Что же до денег, то она с радостью даст ему столько, сколько потребуется для ремонта и восстановления, потому что у нее одно только желание — чтобы они жили поближе к ней.

Была и еще причина, побудившая Руфуса согласиться на переезд, хотя в то время он никому не говорил об этом. Странное, неведомое прежде поэтическое чувство влекло его к этому уголку земли, в котором нашлось так много близкого его сердцу.

Позади дома стоял старый, полуразвалившийся каретный сарай, в котором и сейчас могли бы свободно разместиться три экипажа. К нему примыкала конюшня на шесть лошадей с решетчатыми яслями и просторным сеновалом под крышей. Вдоль задней стены шли красивые застекленные ящики, где когда-то хранилась, должно быть, парадная сбруя. За конюшней имелась пристройка, служившая хлевом; теперь она пустовала, но было время, когда с заходом солнца сюда загоняли коров, пасшихся весь день на ближнем лугу. Когда Руфус впервые заглянул в каретный сарай, он увидел там целую груду железного лома — старые ржавые плуги, бороны, лопаты, грабли, топоры. В конюшне были заняты только два стойла, в них стояла пара убогих кляч, на которых весной пахали, а зимой ездили в город. Но почему-то это зрелище упадка и запустения не подействовало на Руфуса так удручающе, как следовало бы ожидать. Было во всем этом что-то, и сейчас рождавшее видения иной, лучшей жизни, не похожей на ту, к которой он привык с детства, — какие-то далекие отзвуки легкого, беспечного существования, барского уклада, ни разу не изведанного ни им, ни его женой или родными.

Теперь, когда он уже почувствовал дыхание прошлого, которым веяло от этих мест, его неприятно поразил вид грязной свинарни, где лежала свинья с выводком поросят, — да еще рядом со старинным колодцем, откуда в былые времена брали питьевую воду.

К югу от дома посреди пустыря, который некогда, наверное, был лужайкой, радовавшей глаз своей зеленью, торчали остатки полусгнивших столбов, расположенных двойным кольцом. Когда-то они поддерживали, должно быть, лиственный свод огромной беседки, — такие еще сохранились в других богатых имениях округи. Виноградные лозы или плющ, вероятно, заплетали просветы между столбами, образуя прохладную тень. Эта беседка наводила на мысли о том, что до сих пор было чуждо всему жизненному укладу Руфуса: о праздности, о веселых сборищах людей, привыкших к достатку, избавленных от повседневного труда и забот, которые всегда тяготели над ним. Она заставляла думать об изобилии и даже излишествах в еде, питье, одежде, о вещах суетных и, по его глубокому убеждению, не нужных, в его доме во всяком случае. Отчего, думал Руфус, радость и красота должны непременно сочетаться с излишествами и суетностью — не говоря уже о жадности, пьянстве, разврате и прочих грехах, с которыми Джордж Фокс и последователи его учения так мужественно стремились навсегда покончить?

Но больше всего поразила воображение Руфуса речушка, на которую он набрел еще в первый свой приезд в Торнбро. Левер-крик — так называлась эта речка; она брала свое начало где-то к северо-западу от Трентона и текла на юго-восток, впадая в Делавэр, — где именно, Руфус не пытался узнать. Местами она была совсем узенькая, почти ручей, не больше восьми — десяти футов, но кое-где становилась и пошире. На земли Торнбро она вливалась футах в трехстах за каретным сараем и бежала, извиваясь, но не теряя своего направления, наискось через всю усадьбу, к проселочной дороге, проходившей мимо Торнбро с запада на восток. Здесь она разливалась до тридцати, а то и пятидесяти футов, образуя три неглубокие заводи; самая большая из них, фута в четыре глубиной, подходила вплотную к лужайке перед домом. Живописная извилистая дорожка вела к ней среди заброшенного цветника.

Было начало марта, зима еще держалась, и хотя на земле снег уже стаял, поверхность речки еще была скована блестящей синей корочкой льда. Но Руфус мысленно видел, как все это должно выглядеть весной: еще в детские годы ему часто представлялась в мечтах такая речка, но никогда не было времени поискать в окрестностях что-нибудь похожее. И вот теперь эта речка перед ним! Сколько радости доставит она его детям, Солону и Синтии! И девочкам Фебы тоже!

На другом берегу еще виднелись следы вкопанных когда-то в землю скамеек. Здесь, перейдя речушку по легкому мостику, отдыхали, должно быть, в летнюю пору в густой тени деревьев обитатели дома. Мостик этот давно сгнил и обвалился, и паводки многих лет почти стерли с лица земли воспоминания о нем. Два-три обломка свай — вот все, что от него осталось. Руфус думал о том, сколько поколений детей резвилось здесь у воды, купалось, ловило всякую мелкую рыбешку; в солнечный день окуньков и пескарей легко разглядеть сквозь прозрачную воду, особенно там, где охряный песок устилает дно.

Так Руфус, переходя от свинарни к колодцу и от колодца к беседке в поисках новых следов разрушения и упадка, отдавался неожиданным и приятным мыслям о том, как все это выглядело раньше. И ему захотелось, не преступая запретив религии, возродить хотя бы отчасти эту ушедшую жизнь, сделать так, чтобы все в Торнбро вновь стало — не греховным и суетным, но светлым и радующим глаз.

ГЛАВА III

Вот как случилось, что Руфус Барнс со всей своей семьей водворился в усадьбе Торнбро близ Даклы, милях в двадцати пяти от Филадельфии.

Феба Кимбер была очень довольна: ведь от ее трентонского дома до Торнбро насчитывалось не более шести миль — расстояние, которое кимберовские лошади пробегали в короткий срок. Такое близкое соседство способствовало тому, что обе семьи зажили в любви и мирном согласии. Руфус, правда, не обладал деловой хваткой и изворотливостью покойного Кимбера, но усердия и добросовестности у него было достаточно. Выгодно продав пай Энтони Кимбера в трентонских гончарных предприятиях и пустив вырученные деньги под заклад земельных участков в районе Трентона, он сумел обеспечить Фебе довольно круглую сумму постоянного дохода, из которого кое-что приходилось и на его долю, как душеприказчика и управляющего. Очень скоро Руфус стал пользоваться в даклинской общине не меньшим уважением, чем его покойный свояк пользовался в трентонской. За те десять лет, которые отделяли переезд Барнсов в Торнбро от женитьбы их сына на Бенишии Уоллин, многое изменилось в материальном и общественном положении семьи.

Жизнь в старинной усадьбе Торнбро и заботы о приведении ее в такой вид, который хотя бы отдаленно напоминал былое, оказывали на Руфуса Барнса своеобразное действие. Он жил словно зачарованный веянием прекрасной старины. Он вовсе не думал о том, о чем иногда толковали другие, — о роскоши, праздности, высоком положении в обществе; нет, просто он ощущал присутствие каких-то смутных теней прошлого и не мог заставить себя отнестись к ним с неодобрением. Потому что в них была красота. А красота для Руфуса, воспитанного на заповедях религии, привыкшего читать Библию и слушать возвышенную беседу старших Друзей, была исконным и неизменным свойством всякого божьего творения.

В результате его неторопливых и разумных усилий усадьба Торнбро постепенно вновь приобретала черты былой красоты и благоустройства. Прежде всего каретный сарай освободили от хлама, починили и заново покрасили; инвентарь, который еще годился в дело, тоже починили и сложили в отремонтированной пристройке. Полусгнившие столбы старой беседки вырыли и убрали, чтобы расчистить место для новой, не менее красивой и уютной. Речку, так нравившуюся Руфусу, тщательно вычистили и перегородили в верхнем течении, чтобы никакие наносы не портили песчаного дна. Перед домом на прежнем месте разбили газон и сделали цветочные клумбы затейливой формы. Подновили и покрасили заржавевшую чугунную ограду. Словом, мало-помалу усадьба приняла такой вид, какого не знала уже тридцать лет, с тех пор как уехал отсюда последний Торнбро.

Сложней обстояло дело с внутренней отделкой дома, потому что здесь у Руфуса возникали сомнения религиозно-нравственного порядка. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться с роскошью. Если не по существу, то хотя бы по форме. Он считал, что его долг перед Фебой — сделать из Торнбро загородный дом, приемлемый для любого покупателя; но для этой цели необходимо было внести в устройство дома элементы той самой роскоши, которая казалась Руфусу несовместимой с его религиозными представлениями.

Парадная дверь, например, открывалась в просторный холл, откуда вела наверх широкая красивая лестница с резными перилами из полированного ореха. Эта лестница довольно хорошо сохранилась; нужно было только поскоблить и заново отполировать перила. Слева от главного входа шла деревянная же колоннада, отделявшая холл и лестницу от просторной залы, из высоких окон которой открывался в обе стороны красивый вид на поля и далекие рощи. В простенке между окнами западной стены находился камин, такой большой, что в нем умещались целиком колоды по четыре фута длиной; стенки и свод его были облицованы мрамором, к несчастью, треснувшим во многих местах. Белая мраморная каминная доска тоже вся растрескалась и требовала замены.

Стены и потолок зала когда-то были выбелены и украшены лепными медальонами и карнизами искусной работы; теперь все это осыпалось и пропиталось многолетней грязью, все нужно было исправлять и отделывать заново. Впрочем, в таком запущенном виде зал как-то меньше оскорблял строгий и простой вкус Руфуса. Но остальные помещения этого почти сто лет простоявшего дома — его двенадцать жилых комнат, его парадная лестница с полукруглыми маршами и другая, черная, специально для прислуги, его обширные кладовые и чуланы, спальни с небольшими уютными каминами и встроенными плетеными диванчиками у окон, винные погреба — немало смущали Руфуса, ибо говорили о жизни богатой и роскошной, какую он не считал подобающей для себя и своих близких. С другой стороны, чтобы дом можно было в дальнейшем продать, требовалось отремонтировать его как следует, и Руфус положительно не знал, как ему примирить эти два противоречивых обстоятельства — собственную любовь к простоте и прихотливые вкусы возможного покупателя. Единственным выходом было ограничиться пока восстановлением лишь небольшой части дома — сколько нужно для скромного житейского обихода.

Но когда усадьба наконец была приведена в порядок и стала приносить доход, а Феба по-прежнему твердила, что никогда не согласится передать Торнбро в собственность кому-либо, кроме него, Ханны или их детей и наследников, решимость Руфуса поколебалась. Слишком сильна была его любовь к Ханне и детям, слишком свежа память о долгих годах жизненной борьбы и невзгод, и казалось жестоким настаивать на том, чтобы Ханна и дети продолжали вести тот скромный, даже суровый образ жизни, который прежде представлялся ему единственно возможным — хотя бы сама Ханна и была на это согласна.

Между тем Феба, движимая нежной привязанностью к сестре, не унималась. Она настояла на том, чтобы четыре комнаты верхнего этажа были отремонтированы и обставлены за ее счет. Одна, самая просторная, из окон которой открывался прекрасный вид, должна была служить спальней Руфусу и Ханне. Другая, рядом, предназначена была для гостей, а так как самой частой гостьей предстояло быть самой Фебе, то вполне понятно, что она пожелала отделать и обставить эту комнату по своему вкусу.

Синтия должна была делить свою комнату с Родой и Лорой, дочерьми Фебы, когда им случится заночевать в Торнбро. Четвертую комнату отвели Солону, и Феба с особенной заботой выбирала простую, скромную мебель, которая пришлась бы мальчику по вкусу. Она очень любила племянника за его уравновешенность, за безграничную преданность матери и за то, что он, казалось, был совершенно чужд тщеславия в каких бы то ни было формах.

ГЛАВА IV

Усадьба Торнбро резко отличалась от скромного домика Барнсов в Сегуките. И как должна была отозваться подобная перемена на прямодушном и вместе с тем впечатлительном мальчике, каким был Солон, — это мог бы до конца понять только тот, кто наблюдал его на протяжении первых десяти лет его жизни, иначе говоря, от рождения до переезда семьи в Даклу.

Детский мир Солона был ограничен Сегукитом и родным домом, и в этом мире главное место принадлежало матери. Так было отчасти и потому, что Ханна Барнс — трезвая, набожная, деятельная натура — много душевных сил отдавала ему, первенцу и единственному сыну. Еще когда он лепетал свои первые слова, она стала замечать, что ему недостает той живости соображения, той изобретательности в забавах, которой отличались другие дети. В два, в три года, до появления на свет Синтии, будущей подруги его игр, он часто ходил с таким видом, словно не знал, куда себя девать. А между тем у него были

игрушки — красный мячик, тряпичная зеленая обезьяна, которую Руфус привез из соседнего городка Огасты, красная деревянная повозочка, которую можно было толкать перед собой. Но иногда он бросал все это и подолгу сидел притихший, засунув палец в рот и глядя перед собой невидящим взглядом. Мать, обеспокоенная его молчанием и неподвижностью, подхватывала сына на руки, ласкала и целовала его или же пыталась рассмешить. Потом она придумала другое: стала приводить к нему играть соседскую девочку одних с ним лет, живую, непоседливую шалунью. И той действительно очень скоро удалось расшевелить Солона; ему словно открылись радости дружеского общения.

Солон рос здоровым, крепким ребенком и очень рано стал помогать матери в ее хлопотах по дому; стоило ей попросить что-нибудь подать или принести, он с радостью бежал выполнять просьбу и даже сам старался придумывать разные маленькие услуги. Не ускользало от миссис Барнс и то, с каким вниманием слушал Солон слова молитвы и библейские тексты, которые она или Руфус каждое утро и вечер читали в домашнем кругу; видно было, что эти чтения оставляют в его душе гораздо больший след, чем в душе его сестры. Однажды — ему шел шестой год — он спросил, глядя на мать большими, задумчивыми глазами:

— А какой он, бог? Он с виду похож на нас?

Мать ответила:

— Нет, Солон, бог — это дух. Он повсюду, как свет, как воздух, которым ты дышишь, как звук, который слышат твои уши.

— Значит, он не внутри нас живет?

— Нет, не внутри нас. — Миссис Барнс сама была несколько смущена и озадачена его вопросами. — Он — ну, вот представь себе, что ты о чем-то думаешь, что ты чувствуешь нечто приятное-приятное. Ведь если ты поступил дурно, это бог помогает тебе сознать свою ошибку и пожалеть о ней.

— А бог всех заставляет сознавать свои ошибки?

— Старается всех заставить, милый. Но ведь ты-то ничего дурного не делаешь, я это знаю. Ты добрый, хороший мальчик — божье дитя. — Она ласково погладила его по голове и, спохватившись, как бы не перекисло поставленное с утра тесто, поспешила на кухню, прибавив: — А теперь беги к своим игрушкам.

Но, к ее большому удивлению, Солон не тронулся с места. Он с минуту постоял молча и вдруг отчаянно, в голос, зарыдал, прижав к глазам кулачки. Изумленная мать бросилась к мальчику, подхватила его на руки и принялась целовать, приговаривая:

— Что с тобой, мой маленький, о чем ты плачешь? Скажи маме. Ну, скажи же. Я знаю, это какой-нибудь пустяк, но все-таки скажи маме, ведь она тебя так любит.

Она долго еще утешала его, прижимая к груди, уговаривая не плакать и рассказать ей, в чем дело; и наконец он выговорил прерывающимся от рыданий голосом:

— Я у-убил птичку. Я нечаянно. Я не хотел ее убивать. Мне Томми дал свою новую рогатку, и я... я попробовал выстрелить. — Тут он снова залился слезами.

Миссис Барнс уже догадалась, что речь идет о какой-то мальчишеской проказе, и ей еще больше захотелось утешить сына, внушить ему, что она поймет его и простит, и бог тоже; но она не знала, как это сделать, и только все качала мальчика на руках, целовала его круглую головку и упрашивала рассказать ей толком, что случилось.

Мало-помалу все выяснилось. Героем случайной маленькой трагедии оказался Томми Бриггем, мальчуган года на два старше Солона; отец его, железнодорожный рабочий, с утра до вечера гнувший спину в местном депо, не был квакером, и мальчик ходил в сегукитскую городскую школу. Недавно Томми завел себе рогатку и усердно упражнялся в стрельбе из нее. Вчера, проходя мимо дома Барнсов, он остановился поболтать с Солоном. Заметив на росшей перед домом сосне шишку, которая показалась ему достойной мишенью, Томми достал из кармана камешек, прицелился — и не попал, выстрелил еще раз и снова промахнулся. Солон, крайне заинтересованный всем этим, попросил:

— Дай мне разок попробовать, Томми!

— Валяй! — сказал Томми. — Покажи, какой ты стрелок.

В эту секунду на высокую ветку сосны уселась славка, свившая себе гнездо в одном из уголков барнсовского сада. Солон увидел ее, машинально, нимало не рассчитывая попасть, прицелился и стрельнул. И тотчас же, к величайшему изумлению самого Солона и Томми Бриггема, птица свалилась на землю мертвая. Солон обомлел: ни разу еще ему не случалось не только что убивать, но даже просто причинить боль живой твари. Бледный, как полотно, охваченный желанием убежать, спрятаться, он жалобно забормотал:

— Ой, я не хотел! Я нечаянно!

На что юный Бриггем не замедлил ответить:

— Понятное дело, нечаянно! Тебе ни за что на свете не попасть в другой раз. А ну-ка, посмотрим, что за птица такая.

Не обращая внимания на окаменевшего от ужаса Солона, он нагнулся, поднял с земли бездыханное серое тельце, взвесил на руке и сказал:

— Пригодится нашей кошке на завтрак. — Потом оглянулся и добавил: — Надо поглядеть, у ней тут, наверно, гнездо недалеко.

Он стал шарить в кустах, раздвигая руками ветки, и, наконец, торжествующе закричал:

— Эй, малыш, иди сюда! Я тебе что-то покажу. Ловко у тебя получилось.

Он ухватил перепуганного Солона под мышки, приподнял его, и Солон увидел круглое гнездо из травы и прутьев, а в нем четырех тощих птенцов, вытягивавших шеи и разевавших большие желтые клювы.

— Видишь? — спросил Бриггем. — Это ее выводок. Пожалуй, можно и птенцов отдать кошке. Все равно с голоду подохнут.

— Это была их мама? — жалобно спросил Солон.

— Ну да, — сказал Бриггем. — А чего ж она тут летала, по-твоему?

Солон в ужасе скорчился у Бриггема на руках. Бедные маленькие птенчики. А Бриггем еще хочет отдать их кошке вместе с мертвой матерью. И все это наделал он, Солон!

— Не надо, не надо! — закричал он, когда Бриггем, опустив его на землю, потянулся за гнездом. — Не бери! Я сам попробую их кормить! Я маму попрошу! Я не хотел убивать птичку! Я нечаянно, нечаянно! — Он припал к кусту, в котором было гнездо с птенцами, и горько заплакал. — Ой, ой, ой! Бедные птенчики. И зачем только я стрелял в их маму!

— Да ведь ты же не думал, что попадешь, — попробовал утешить его Бриггем, тронутый его слезами. — Это у тебя случайно вышло. А кормить их ты все равно не сможешь. Откуда тебе знать, что они едят? Не реви. Ты ни в чем не виноват. Другой раз не стреляй в птиц, только и всего. — И, достав гнездо с четырьмя птенцами, он побежал домой, а Солон, ни живой ни мертвый от ужаса, стоял и смотрел ему вслед.

За обедом он и куска не мог проглотить, а когда все встали из-за стола, забился молча в угол дивана в гостиной. Мать, увидя это, решила, что он устал, и велела ему идти спать. Но, оставшись один в своей мансарде, половина которой была отгорожена для Синтии, Солон, против обыкновения, долго не мог уснуть и наутро встал такой бледный и вялый, что мать встревожилась — не заболел ли он.

Но у него уже сложилось решение рассказать матери о случившемся: про это он и думал, задавая ей свой вопрос, — похож ли бог с виду на человека? Выслушав рассказ о его воображаемом преступлении, миссис Барнс невольно задумалась над тем, какова же истинная причина свершившегося зла. Ведь нельзя считать грехом желание ребенка иметь рогатку, если у него не было в мыслях причинить вред какому-либо живому существу. Солон прицелился в птицу, как Томми до него целился в сосновую шишку; он совершенно не отдавал себе отчета в том, что это не одно и то же — тем более что вообще не рассчитывал попасть, — его искреннее горе не оставляло сомнений на этот счет. Им руководило одно лишь детское любопытство; ведь он даже не знал, что славки имеют обыкновение вить гнезда в таких местах или что сейчас время выведения птенцов.

Миссис Барнс понимала это и потому всем сердцем готова была простить сыну его невольную вину — в особенности видя, как болезненно он переживает гибель матери-славки и ее птенцов; но в душе у нее была тревога: то, что зло может совершиться так случайно, не по чьей-либо жестокости или дурному умыслу, не укладывалось в ее религиозные и житейские представления.

Она ласково постаралась уверить сына, что ему не в чем себя укорять, но не забыла указать тут же, как важно всегда думать о том, что делаешь, и в любых обстоятельствах обращаться к Внутреннему свету за советом и наставлением. Однако душевные сомнения, порожденные этим маленьким происшествием, еще долго не оставляли ее. В сущности, она не забыла их до конца своих дней.

ГЛАВА V

Восьмой год жизни Солона ознаменовался еще одним крупным событием, на этот раз — болезнью. Он был от природы сильный и выносливый мальчик, настоящий крепыш, и отец рано начал брать его с собой, отправляясь в лес, чтобы наготовить дров на зиму. Сперва Солон ездил с ним только для забавы — покататься, побегать по лесу. Когда он стал старше, Руфус подарил ему маленький топорик и разрешил обрубать ветки со сваленных уже стволов. Но прошло еще немного времени, и мальчик, не по годам рослый и сильный, стал помогать отцу в занятии, которое ему казалось увлекательней всего на свете, — валить могучих вечнозеленых красавцев в заснеженном лесу.

И вот однажды остро отточенный топор соскользнул и глубоко, до самой кости, врезался Солону в левую ногу, чуть повыше щиколотки. Следовало немедленно промыть и перевязать рану, но прошло несколько часов, прежде чем это удалось сделать — хоть мать и старалась помочь беде домашними средствами. Единственный в округе врач, за которым тут же послали, не торопился, к тому же он был не слишком умудрен в хирургии и вообще в медицине, — достаточно сказать, что, осмотрев рану, которую отец Солона перевязал, как умел, носовым платком и обрывками ветоши, он отправился точить свой ланцет на оселке для кос!

Следствием всего этого явилось заражение, и настолько серьезное, что, хотя мать потом сама тщательно промывала и перевязывала рану, Солону становилось все хуже и хуже; наконец не только мать, но и он сам по-своему, по-детски почувствовал приближение последней великой перемены. Страшная мысль о том, что она может потерять сына, мучила Ханну, и на ее бледном напряженном лице читалось страдание. Когда дело стало совсем плохо, из города привезли другого врача, чтобы показать ему вновь открывшуюся рану. Во время перевязки Солон увидел рану; он был не из плаксивых, но тут у него хлынули слезы — лицо матери, сосредоточенное и полное тревоги, невольно выдало ему то, что от него пытались скрыть.

Ханна продолжала бинтовать ногу; вдруг она остановилась, и Солон увидел, что по лицу ее разлилась вдохновенная бледность, как в те утренние и вечерние часы, когда она обращалась к богу. Сейчас она молчала, но в ее взгляде, устремленном ввысь, была и страсть, и мольба, и глубокая вера. Так прошло несколько минут. Потом Ханна опустила голову и, глядя прямо в непросохшие еще от слез глаза сына, проговорила, точно в забытьи, глухим и торжественным голосом:

— Не плачь, Солон, сын мой, теперь твоя жизнь и здоровье вверены мне. Это не конец твоего пути, это только начало. Господь сулит тебе еще много хорошего впереди. Ты будешь жить, чтобы служить ему в любви и правде.

С этими словами она положила правую руку на голову сына и снова подняла взгляд. И в наступившей тишине мальчик вдруг почувствовал, что ему лучше. Страх прошел, воля к жизни вернулась к нему; он поверил в свое исцеление — и исцелился.

После этого случая Солона никогда не оставляла мысль о матери, о том, как она добра, как искренне и горячо желает его благополучия, и он чувствовал себя в неоплатном долгу перед ней. Он никогда, даже в ее отсутствие, не сделал бы того, что могло вызвать ее недовольство. Первое место в его душе принадлежало ей; однако всю свою и всю ее жизнь — пока эти две жизни протекали рядом — он был крайне скуп на проявления своей глубокой преданности. Но она всегда знала (он был уверен в этом), что он любит ее так, как только может желать мать, и сама платила ему не меньшей любовью.

При всей своей физической силе Солон никогда не был забиякой. Напротив, он отличался самыми миролюбивыми склонностями, но отсюда не следовало, что каждый мог безнаказанно дразнить его или унижать, — это он доказал еще в самом юном возрасте. Появился по соседству мальчик немного старше Солона, по имени Уолтер Хокат, сын плотника. Это был коренастый паренек, не из тех, какие нравятся девушкам, но тщеславный, как все люди; он никогда не упускал случая показать, что никто лучше его не умеет кататься на коньках, плавать, нырять, бороться. В квакерскую школу Уолтер Хокат не ходил, да и вообще всячески отлынивал от ученья, но зато очень скоро стяжал себе в Сегуките славу чемпиона по борьбе среди мальчишек его лет, роста и веса.

Летом окрестные любители купанья собирались на берегу небольшого озера, расположенного в двух милях от городского центра, и Уолтер Хокат постоянно околачивался там, выискивая охотников помериться с ним силой. Как-то раз он вызвал на бой Солона, который давно раздражал его и своим крепким телосложением и своим ровным приветливым нравом, а кроме того, Уолтер Хокат вообще недолюбливал квакеров с их патриархальной манерой ко всем без различия обращаться на «ты». Хокату

не терпелось доказать, что ему ничего не стоит побороть такого противника. Солон, уверенный в своей природной силе, получив вызов, ничуть не смутился.

— Ну что ж, давай, если хочешь, — ответил он, и тотчас же борцы начали примеряться друг к другу, а зрители, человек семь мальчишек разных возрастов, обступили их тесным кольцом.

И тут очень скоро выяснилось, что сильный и напористый Хокат, заранее не сомневавшийся в поражении и посрамлении своего противника, не может справиться с ним. Он ловчился и так и этак, то неожиданно наскакивал, то отскакивал, давал подножки, но Солон крепко стоял на ногах, и все эти хитрости только изматывали самого Хоката. Тогда, окончательно разозлясь, он решил навалиться на Солона всей своей тяжестью и попросту опрокинуть его. Но Солон, не растерявшись, обхватил его поперек туловища, приподнял на воздух и разом уложил на обе лопатки, после чего, не давая противнику подняться, спросил все тем же невозмутимым тоном:

— Ну как, сдаешься?

При виде этого все жертвы прежних побед Хоката радостно завопили:

— Ура, Барнс выиграл! Ура! Барнс уложил Хоката!

Это привело Хоката в настоящее бешенство, и, как только Солон отпустил его, он вскочил и заорал:

— Ладно, квакер паршивый! В борьбе-то ты победил, но давай подеремся, так от тебя живого места не останется!

Тут зрители-мальчишки, давно копившие обиду против Хоката, зашумели еще громче:

— Барнс уложил Хоката! Барнс уложил Хоката! А тому, видно, мало — лезет в драку!

Их крики распаляли Хоката еще больше, но Солон только заметил в ответ:

— Зачем нам драться? Я с тобой не ссорился и драться не хочу.

Тогда Хокат, вместо того чтобы принять предложенный мир, со всего плеча замахнулся на Солона, но тот левой рукой легко отвел удар. На счастье обоих, в это время к месту действия подошел мальчик постарше; он знал Хоката и, сразу оценив миролюбие Солона и неистовство его противника, выступил на середину круга и заявил:

— Вот что, Хокат, ты это брось! Тебя уложили по всем правилам. И нечего лезть в драку, раз он не хочет драться с тобой. — Затем, обернувшись к Солону, он прибавил: — Ступай спокойно, Барнс. Он тебя не тронет, за этим я пригляжу.

И Солон отправился купаться, а Хокат, угрюмо косясь на пришельца, занявшего сторожевую позицию на берегу, оделся и пошел восвояси. Ярость так и клокотала в нем. Понести такое поражение, и от кого — от презренного квакера!

ГЛАВА VI

В Дакле Солона прежде всего поразил их новый дом — его размеры, его своеобразие, его красота. Мальчик замечал, как считаются родители с волей тетушки Фебы во всем, что касается дома; не только отец, которого к этому обязывало положение душеприказчика, но даже мать, обожаемая мать, прислушивалась к ее рассуждениям о том, чего требует изменившееся положение семьи. Что ж, и немудрено; ведь это обширное имение, как скоро понял Солон, принадлежало на самом деле Фебе Кимбер, и долг отца, да, пожалуй, и матери тоже, состоял в том, чтобы сделать все возможное для его процветания. А потому вся семья Барнсов, включая и детей, подчинилась необходимости изменить свои привычки и в домашнем обиходе и в общении с людьми; начать с того, что Солон и Синтия теперь ходили в школу, одетые гораздо лучше, чем раньше.

Надо сказать, что в даклинской общинной школе, где обучались дети окрестных квакеров — всего человек шестьдесят, — принято было уделять костюму куда больше внимания, чем в школах Сегукита, общинной и городской. Впрочем, в чем именно заключалась разница, этого Солон не мог бы с точностью сказать. И его новый костюм, подарок тетушки Фебы, и новое платье Синтии были скромного покроя и мягких, не бросающихся в глаза, цветов; правда, сшиты они были из лучшей ткани, чем обычная одежда сегукитских школьников. Но дело было не только в одежде. Новые сверстники юных Барнсов держались с особой высокомерной холодностью, как будто ни на минуту не забывали о том, что они лучше других. Такое поведение и злило

и озадачивало Солона. Он не понимал, чем, собственно, они могут быть лучше — разве только родители у них побогаче; во всяком случае, в сегукитской школе он с этим не сталкивался.

Кое-что стало для него проясняться после того, как он побывал в доме тетушки Фебы на Розвуд-стрит в Трентоне. Его и Синтию пригласили провести субботу и воскресенье у двоюродных сестер, Лоры и Роды, и вместе с ними посетить молитвенное собрание трентонской общины. Убранство теткиного дома поразило Солона; ничего подобного ему в Сегуките видеть не приходилось. А в девочках, из которых одна была его ровесницей, а другая — Синтии, он сразу почувствовал что-то такое, что делало их похожими на учениц даклинской школы. На его не слишком искушенный взгляд, они казались даже еще жеманнее в обращении с мальчиками. Солона они обе встретили ласково и приветливо, но он к тому времени успел заметить, что девочки вообще проявляют к нему гораздо меньше интереса, чем к другим мальчикам. И в Сегуките и в Дакле он часто видел, как девочки и мальчики вместе подходят к воротам школы или вместе уходят после уроков, но не было, кажется, случая, чтобы какая-нибудь из школьниц остановилась поговорить с Солоном или предложила проводить ее домой. С ним мимоходом здоровались или прощались — только и всего. Зато Синтия, заметно похорошевшая, всегда была окружена сверстниками и сверстницами и весело болтала с ними о своем новом доме, об уроках или еще о чем-нибудь, дожидаясь у ворот школы отцовского шарабана, на козлах которого восседал Джозеф Кумбс, один из двух работников, недавно нанятых Руфусом. В этом шарабане Солон и Синтия каждое утро ездили в школу и после уроков возвращались в усадьбу Торнбро, которая становилась все более и более похожей на другие богатые усадьбы в округе.

Однако отец и мать Солона по-прежнему утром и вечером обращались с молитвой к богу — к Внутреннему свету, прося наставить их на путь смиренной простоты и уберечь от излишеств в одежде, в жилье и убранстве, от влечения к ярким и красивым вещам, — от всего, что может тешить людей суетных и легкомысленных, но не тех, кто печется об истинной пользе души. Может быть, в утренних и вечерних молитвах и не всегда говорилось об этом, но во всяком случае достаточно часто, чтобы в голову Солона и даже Синтии надолго запала мысль о пагубе всяческого стремления к роскоши.

И все же Солон замечал, как новые дела и обязанности постепенно меняют его отца и как скромный сегукитский фермер и торговец становится человеком совсем иного и куда более заманчивого образа жизни. Так, в Сегуките он носил самую простую, крестьянского покроя одежду; так же одевался и Солон, когда после школы помогал отцу в лавке. Но здесь Руфус был уже не фермером, а экономом или управляющим семи-восьми крупных фермерских хозяйств, принадлежавших Фебе, и на его обязанности лежало не только увеличить их доходность, но и сделать так, чтобы их можно было с выгодой продать в случае надобности. И он настолько преуспевал в этом, что в скором времени счел возможным пятнадцать процентов общего дохода брать себе в качестве жалованья. Управление имениями заставляло его иногда заниматься куплей и продажей. Торговцы, с которыми приходилось иметь дело, были все больше люди богатые, да и местными порядками и обычаями тоже не стоило пренебрегать — и мало-помалу Руфус, подчиняясь обстоятельствам, стал тщательней одеваться, а там завел выезд с хорошими лошадьми, что сразу придало ему вид человека зажиточного и благоденствующего.

И в эти весенние, а потом и летние дни, глядя, как отец выезжает со двора или возвращается домой в своем нарядном шарабане, Солон невольно чувствовал, что это уже не тот простой и скромный человек, каким он был в Сегуките. Даже в свои тринадцать с небольшим лет мальчик замечал, что отец как-то приосанился, даже взгляд его стал более острым и живым. И привычки у него появились новые: он полюбил бродить по лужайке и по дорожкам парка или, присев на каменную скамью в новой беседке, увитой зеленью, любоваться изгибами Левер-крика, мирно катящего свои струи по расчищенному и углубленному руслу среди цветов и деревьев Торнбро.

Едва ли не впервые в жизни Руфус отдавался неподдельному поэтическому восторгу, который рождала в нем красота природы. Сколько прелести в этом веселом ручье! В высоких островерхих елях, выстроившихся по его берегам! В этих каменных скамейках! В маленьких рыбках, проворно снующих в прозрачной воде! В цветах, пестревших повсюду, — вьюнках, маргаритках, желтых и белых ромашках! Трудно поверить, что этот чудесный приют, созданный волею творца, может быть достоянием одного человека, а между тем разве Руфус не хозяин здесь, разве все это не вверено ему сестрой его жены, любящей Фебой?

Однажды среди таких размышлений Руфусу вспомнились слова пророка Исайи, которые он не раз читал своим детям: «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Вслед за этим текстом память подсказала другой — заключительные слова псалма 22-го: «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме господнем многие дни».

Где-то в кустах подала голос славка, в ответ ей залился самозабвенной трелью дрозд. Руфус стряхнул раздумье и прислушался. И тут у него родилась мысль, от которой сразу стало легче и спокойнее на душе. Все комнаты своего нового дома — спальни, гостиную, столовую — он решил украсить священными текстами, подобрав такие, в которых отразилась бы его благодарность творцу за ниспосланные ему блага. В своей супружеской спальне он велит написать на стене цветными буквами: «Он водит меня к водам тихим; подкрепляет душу мою». Над камином в большой гостиной будут красоваться слова: «Ибо милость твоя пред моими очами». В столовой: «Ты приготовил передо мною трапезу». Для комнаты Солона он выбрал такой текст: «Господня есть вселенная и все, что наполняет ее». Для комнаты Синтии: «Укажи мне, господи, пути твои, и научи стезям твоим». А в спальне миссис Кимбер будет написано: «Надеющийся на господа бога будет безопасен». Ибо Руфус был глубоко уверен, что каждый угол в его доме и все вообще, чем он владеет на земле, должно отражать его беззаветное служение богу.

ГЛАВА VII

Проникновенная религиозность уживалась в Руфусе с трезвым практицизмом. Он чутьем уловил то, что отличало быт многих из местных квакеров от их более скромных собратьев по вере, и почти инстинктивно, не отдавая себе в этом ясного отчета, старался заводить в округе дружбу с теми, в ком видел возможных покупателей на хлеб, сено, овощи, плоды, ягоды, — словом, на все, что на своих шестидесяти акрах выращивал он сам и что ему удавалось получить с фермеров, закладные на участки которых находились в руках миссис Кимбер. И мало-помалу как в самой Дакле, так и в ее окрестностях он подобрал круг торговцев и скупщиков, казавшихся не столь корыстолюбивыми, как те коммерсанты, с которыми ему приходилось иметь дело в Трентоне. Не все они принадлежали к Обществу друзей, но все единодушно сходились на том, что Руфус — человек приятный как в деловом, так и просто в житейском общении, бесспорно честный и не гонящийся за чрезмерной наживой.

В квакерской общине Даклы Руфус и его семья тоже быстро снискали общую любовь и уважение, и даже Феба Кимбер решила время от времени посещать молитвенные собрания этой общины, членами которой были близкие ей люди. В сущности говоря, Феба всегда была не более чем тенью Энтони Кимбера, и теперь, когда его не стало, Руфус и Ханна невольно заняли в ее жизни опустевшее место.

Сложнее обстояло дело с Солоном. За последние годы он привык к тому, что отец не только каждодневно заботился о нем, но и старался практически подготовить его к жизни. В Сегуките, еще до перемены в их судьбе, ему часто случалось после занятий в школе помогать отцу зимою в лавке, летом в огороде и в поле, и Руфус не раз замечал как бы вскользь, а то и прямо говорил, что ему, Солону, нужно всерьез учиться хозяйничать на ферме — править лошадьми, пахать, сеять, убирать сено; не мешало бы присмотреться и к торговому делу: как вести конторские книги, выписывать накладные, держать в порядке счета.

— Когда меня не будет, тебе придется заниматься всем этим, чтобы мать и сестра не знали нужды, — говорил бывало Руфус, и слова его глубоко запали в душу Солону, особенно потому, что речь шла о матери. Уж о ней-то он будет заботиться, если суждено похоронить отца!

И, следуя отцовскому совету, он со всем усердием старался приучаться к хозяйственным делам. Что бы ни случилось с отцом, мать, безгранично любимая мать, должна быть окружена самой нежной заботой.

Но с переездом в Даклу все изменилось. Лавки не стало. Отец вел жизнь, которая все больше казалась Солону похожей на жизнь чиновника или служащего какой-нибудь фирмы. Ранним утром, тотчас же после завтрака, он усаживался в свой новый шарабан, запряженный недавно купленной холеной гнедой кобылой — Солону она казалась необыкновенно красивой, — и уезжал до позднего вечера. Видно, ему приходилось бывать за день во многих местах; Солон вскоре сам убедился в этом, потому что Руфус, по-прежнему озабоченный практическим воспитанием сына, стал брать его с собой по субботам, когда завершал свои объезды за неделю. Иной раз, если дела приводили его в Даклу в обычный, будний день, он прихватывал с собой вернувшегося из школы Солона и возил его по своим новым деловым знакомым — бакалейщикам, торговцам фруктами и овощами, страховым агентам и маклерам; случалось им заезжать и к местному банкиру.

Во время этих поездок Руфус объяснял Солону процедуру сделок по закладным; рассказывал, каким образом Феба Кимбер после смерти мужа оказалась держательницей всех этих бумаг, дававших ей право распоряжаться собственностью своих должников, и почему важно, чтобы фермеры, заложившие свою землю, научились производительнее и прибыльнее вести хозяйство. Руфус считал своей обязанностью сдружиться с этими людьми, определить по возможности их слабые места и ошибки и мягко, не назойливо постараться помочь им наладить дело, для чего лучшим средством было дать им кое-какие познания в области земледелия и сельского хозяйства.

Солону нравилась в отце эта черта — желание помогать другим. Еще в Сегуките его всегда привлекало добросовестное, заботливое отношение Руфуса к покупателям, приходившим в лавку за товаром, — привлекало едва ли не более, чем сама торговля. Другой торговец быстро отпустил бы покупателю требуемое и на том кончил бы дело; но Руфус поступал иначе. Нередко, особенно если он знал, что покупатель человек бедный, едва сводящий концы с концами, он спрашивал:

— А зачем тебе это понадобилось, Джон?

И в иных случаях, прикинув, что тут вполне можно обойтись меньшей мерой овса или сена, что грабли, мотыга или топор второго сорта сделают свое дело не хуже первосортных, он сам уговаривал покупателя взять товару поменьше или подешевле и тем сэкономить немного денег, в которых тот так нуждался. Эти своеобразные торговые приемы отца в представлении Солона были неразрывно связаны с религиозным учением квакеров, и когда он видел, что кто-нибудь поступает иначе, ему казалось, что этому человеку попросту не хватает того проникновения в суть вещей, каким наделен его отец и другие члены Общества друзей.

Вот и теперь, в Дакле, чувство безотчетной симпатии влекло Солона к одиноким скромным труженикам; фермер ли распахивал свою полоску земли, кузнец ли, один, без подручных, подковывал лошадь или чинил колесный обод, часовщик ли склонялся

над своей кропотливой работой, гончар ли вручную вертел свой круг, выделывая кувшин или чашку, — Солон, глядя на них, размышлял о том, как это, должно быть, хорошо — усердно и вдумчиво трудиться в одиночку над избранным делом, не стремясь к иным выгодам, кроме того, чтобы прокормить себя и свою семью. В детстве Солон любил стоять рядом и смотреть; позднее, подростком тринадцати-четырнадцати лет, он старался узнать имя труженика, а когда можно, то и поговорить с ним. Таким образом, знакомясь с деловой жизнью, он в то же время находил радость и удовлетворение в общении с простыми людьми, в которых зачастую угадывал способность истинно постигать бога и природу.



Но был у Солона один серьезный недостаток: он не стремился стать человеком высокообразованным. Правда, к четырнадцати годам он хорошо усвоил школьную математическую премудрость вплоть до алгебры. Знал он о том, что на свете существует литература: рассказы, стихи, пьесы, очерки, повести. Их было много в школьных хрестоматиях, и ученики читали их вслух на уроках или затверживали наизусть. Но из квакерской «Книги поучений» ему было известно, что чтение романов есть занятие, пагубное для души; романы несут в себе зло, и потому печатать их, продавать или одалживать — грех.

В школе он приобрел также кое-какие познания в географии, грамматике, правописании, даже немного в ботанике и естественной истории. Что же до точных наук, то в одной из хрестоматий попалась ему статейка, описывавшая, как был открыт горючий газ; но ни Солон, ни даже Руфус Барнс не сознавали огромного значения таких наук, как физика и химия, хотя их практическое применение в сельском хозяйстве с каждым днем все глубже вкоренялось в быт.

Солон воспитывался так, как воспитываются обычно дети в фермерских семьях: подбирал случайные обрывки знаний, а остальное дополняла религия. В доме постоянно читались и цитировались библейские тексты, и Библия, ее поэзия, ее пророческий дух наложили неизгладимый отпечаток на весь душевный склад Солона. Он привык к мысли, что творец велик и всемогущ, а люди малы и ничтожны, подвластны воле творца и обязаны ему послушанием. Мальчику с самых ранних лет запали в память слова Исайи, постоянно повторяемые Руфусом: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его; ибо что он значит?» Все эти представления укоренились в сознании Солона, как незыблемые и вечные, наряду с верой во Внутренний свет; в них был для него источник знания, точного и глубокого, в них был и ключ к разрешению всех житейских задач. К каким же еще знаниям стремиться? Вот только нужно овладеть каким-нибудь ремеслом или специальностью, что может дать средства к пропитанию; так жил его отец и так намерен был жить он сам.

Но в последнее время отец только и говорил, что о делах — дела, дела! В конце концов он решил поручить Солону ведение всех книг — и главной, и кассовой, и еще особого журнала, который он недавно завел для записи всех произведенных за день сделок по купле и продаже, всех отправленных и полученных счетов. Счета, для удобства справок, подшивались в особую папку с указанием имен и дат; папка эта лежала на конторке Руфуса, и Солону во всякое время был открыт к ней доступ.

ГЛАВА VIII

Занятия в школе даклинской общины привели, в частности, к тому, что Солон впервые стал задумываться о девушках. Была среди школьниц одна, которую звали Бенишия Уоллин; прелесть ее черт и изящество фигуры, грациозная походка и милое застенчивое выражение лица привлекли внимание Солона. Отец этой девушки был один из самых богатых квакеров в округе; она приезжала в школу в щегольской коляске и так же уезжала домой после занятий.

Однажды Солон и Синтия стояли у ворот школы, дожидаясь Джозефа, работника из усадьбы, который должен был приехать за ними в шарабане. Бенишия, проходя мимо, увидела Синтию и остановилась поговорить с нею.

— Бенишия, это мой брат Солон, — сказала Синтия.

Бенишия негромко ответила:

— Я знаю.

Она ласково улыбнулась Солону, подняв на него фиалковые глаза, смотревшие доверчиво и простодушно; и Солон тут же решил, что никогда еще не встречал девушки красивее. Еще ни одна во всяком случае не вызывала в нем такого беспредельного восхищения. Но он знал, что девушки обычно не интересуются им, и даже не помышлял о том, что может заслужить внимание такой, как Бенишия.

К тому же все его время помимо школьных занятий было заполнено многочисленными, но довольно однообразными обязанностями, которые возлагал на него отец, и у него попросту не оставалось досуга для того, чтобы мечтать о девушках. Он усердно помогал Руфусу вести бухгалтерские книги, записывать расходы и поступления, вносить в реестры посланные и полученные счета. И все же выдавались у него такие минуты, когда он положительно не мог отделаться от мыслей о Бенишии. Она была так скромна, так сдержанна и в то же время так хороша! После того первого разговора он довольно часто встречал ее, и они всегда обменивались улыбками и приветствиями, но учебный год уже подходил к концу, а между ними не возникло даже обыкновенной школьной дружбы, какая часто связывает девочек и мальчиков. Солон был слишком робок, и Бенишия тоже.

Разумеется, еще в Сегуките у него не было недостатка в сверстниках и сверстницах. И как ни оберегали его дома, все же до него доходили кое-какие слухи, кое-какие происшествия, слегка приоткрывшие перед ним тайну пола. Ему случалось видеть, как какой-нибудь мальчик гнался за девочкой, и, настигнув, не отпускал, пока не срывал поцелуя. Смысл таких сценок Солон понимал без объяснений.

Начиная с четырехлетнего возраста он не раз присутствовал при брачных церемониях, совершавшихся на молитвенных собраниях общины. Он видел, как двое людей, мужчина и женщина — обычно молодые мужчина и женщина — выходили и усаживались рядом, лицом к собравшимся, в полнейшем молчании. Тут же, поблизости, находились и родители каждого. Под конец собрания оба поднимались по очереди — сперва мужчина, потом женщина — и по квакерскому обычаю торжественно доводили до общего сведения, что намерены стать мужем и женой. Затем родители объявляли о своем согласии. После этого все собравшиеся единодушно одобряли этот союз и давали молодым людям разрешение вступить в брак. Потом все их

поздравляли, и на том дело кончалось. Слово «брак» смутно связывалось в представлении Солона с появлением детей — вот и у его родителей появились они с Синтией.

Когда Солону шел одиннадцатый год, в Сегуките произошел случай, нарушивший мирное течение городской жизни. На Солона этот случай произвел сильнейшее впечатление, которому не суждено было никогда изгладиться; впервые он узнал о том, как велика власть пола над человеком, и в то же время сделал для себя вывод, что это сила, которой лучше вовсе не поддаваться, если нельзя направить ее должным образом. Необычайное общественное потрясение, о котором идет речь, относилось к области нравственной, или, точнее сказать, безнравственной и произвело тем больший эффект, что дело происходило в маленьком городишке, где люди жили по старинке и уважали религию. Вот потому происшествие это и смешало все представления о жизни и нравственности не только у Солона, но и у многих других юных граждан Сегукита; однако не всех это привело к столь душеспасительным результатам. Суть в том, что в Солоне, если не от природы, то благодаря воспитанию, сильно было религиозно-нравственное начало; из сверстников же его многие росли без твердого духовного руководства. В силу этого поначалу большинство мальчиков и девочек отнеслось к делу не столько с возмущением, сколько с любопытством: во всем, что было связано с полом, они усматривали приятно волнующую тему, а отнюдь не источник зла.

Даже в таком маленьком городке, как Сегукит, существовали свои разногласия. Сторонники обучения в городской школе, например, не одобряли духа, царившего в школе квакерской общины, считая, что она воспитывает детей сектантами и догматиками. Квакерская простота в одежде, квакерское обращение на «ты» ко всем без разбора не вязались с ходовыми представлениями об американском духе и американской демократии.

Северная окраина Сегукита носила название «фабричной стороны», потому что там были расположены две маленькие фабрички — одна шляпная, другая обувная. Только административный персонал этих фабричек состоял из уроженцев Новой Англии, работали же там главным образом канадские французы, жалкая, невежественная беднота, которая прибилась сюда в чаянии пусть грошового, но верного заработка и более дешевой, хоть и далеко не лучшей жизни, чем в Канаде. Прочее население Сегукита смотрело на этих канадцев свысока, считая их привычки и нравы низменными и недостойными, а собственные привычки и нравы — даже недоступными их пониманию.

Близ фабрик и деревянных бараков, в которых ютились рабочие, внося за это плату, еще увеличивавшую хозяйские барыши, открылись два маленьких бара, и — что хуже всего — нашлись в городе дурные, распутные люди, которые не видели ничего плохого в существовании этих заведений и даже сами охотно там развлекались. Мало того: здесь же, неподалеку, помещались два притона, из тех, что называются веселыми домами, и ходили слухи, что не только в будни, но даже по воскресеньям там собираются самые отпетые из числа рабочих-канадцев; да и кое-кто из лицемерных американских обитателей центральной части города захаживает туда.

Это было действительно большое зло, и для борьбы с ним потребовались усилия не только Общества друзей, но и других сект. С полгода шли толки и пересуды, а дурное влияние тем временем все распространялось; но наконец возникла настоящая война, окончившаяся тем, что в один прекрасный день оба бара и оба веселых дома были подожжены и сгорели дотла. А несколько дней спустя пожар уничтожил семь домов в городе. Это были дома тех горожан, которые особенно яростно преследовали грешников, и, конечно, их подожгли в отместку. Руфус Барнс тоже получил грозное предупреждение в записке, подсунутой под дверь. Страсти улеглись лишь после того, как на место прибыл окружной шериф и с помощью понятых принялся за розыск виновных; впрочем, виновные к тому времени уже успели исчезнуть.

Все время, пока длилась эта скандальная история, — пять или шесть месяцев, — в городе не прекращались толки. И родители Солона, и другие почтенные жители Сегукита открыто и громко выражали свое неодобрение. Немудрено, что и дети горячо обсуждали все перипетии этого события, воспринимая его каждый в соответствии со своим характером и темпераментом. Что касается Солона, то он слишком много слышал разговоров о добре и зле и слишком мало знал действительное зло в той форме, в которой оно на этот раз проявилось, а потому, разумеется, не способен был заглянуть поглубже в суть дела и распознать действовавшие тут подспудные силы — нищету, невежество, отсутствие тех сдерживающих и в то же время облагораживающих влияний, среди которых протекала его собственная жизнь. Он понятия не имел обо всем том, что с детства окружало этих темных, забитых людей. Он совсем еще не знал жизни. Для него все было просто: кто согрешил — тот дурной человек и ему нечего надеяться на блаженство души.

Эти впечатления детских лет, а также строгое воспитание в духе благочестия и нравственной чистоты и, наконец, пониженная от природы чувственность — все вместе привело к тому, что влечение Солона к Бенишии носило чисто романтический характер. Он дорожил каждой встречей с нею — но только как романтический влюбленный, для которого красота возлюбленной не связывается с ее плотским существом. Мечты его были скромны. Пройтись с нею рядом. Получить позволение дотронуться до нее или взять ее под руку. Удостоиться улыбки, исполненной ласки и значения!..

ГЛАВА IX

К середине последнего года своего пребывания в школе Солон окончательно решил, что дальше учиться не пойдет. Ему уже исполнилось шестнадцать лет, отец постоянно твердил, что нужно глубже вникать в то дело, заниматься которым ему

предписывали обстоятельства, да и самому Солону нравилось работать с отцом. С каждым днем он все больше убеждался, что практическое воспитание, которое дал ему Руфус, помогает понимать, что от него требуется, и правильно выполнять поручения. Геометрия, физика, химия — все это, бесспорно, вещи важные, но стоит ли тратить на их изучение еще три-четыре года, если в будущем он не желал для себя ничего иного, как только работать вместе с отцом? Он поделился своими мыслями с отцом и матерью, и те согласились, что ему едва ли имеет смысл учиться дальше — разве только если он заинтересуется какой-нибудь специальной отраслью практических знаний, которая в будущем помогла бы ему более успешно продолжать отцовское дело.

Но тут Синтия сообщила Солону новость, заставившую его призадуматься. Выяснилось, что Бенишия Уоллин на следующий год уже не вернется в даклинскую школу: осенью она поступает в Окволд — закрытое учебное заведение для юношей и девушек близ Филадельфии. Рода и Лора также собираются туда, и сама Синтия надеется через год последовать их примеру.

Казалось бы, Солону это должно быть безразлично, — ведь все его отношения с Бенишией до сих пор сводились к тому, что он издали любовался ею, когда она в перемену прогуливалась с другими девочками по двору, и раскланивался с ней, встречаясь у школьных ворот до или после занятий. Но она словно излучала какое-то таинственное обаяние, и он, душой и телом поддаваясь этому обаянию, всегда пребывал в нервно-возбужденном состоянии, точно больной, которого треплет лихорадка. В просторном школьном помещении, где одновременно занимались все классы, его взгляд был постоянно прикован к ней. У нее были такие блестящие иссиня-черные волосы, такие глубокие глаза, такая нежная кожа; она казалась такой хрупкой по сравнению с ним. И столько грации было в ее движениях, когда она выходила на середину класса прочесть стихи или шла к доске решать арифметическую задачу, что Солона захлестывало томительное чувство, в котором смешивались любовь, восторг, желание и ощущение, что он во всем, решительно во всем безнадежно недостоин ее.

Таким образом, последнее полугодие, проведенное Солоном в даклинской школе, стало для него порой бесконечных тайных мук, которые еще усилились, когда он узнал от Синтии, что Бенишия расстается со школой. Будь он похитрее, он, может быть, разыграл бы внезапно проснувшийся интерес к знанию и добился, чтобы его тоже послали учиться в Окволд. Но ему это не приходило в голову. Как ни силен был в нем любовный жар, он понятия не имел о тех уловках и ухищрениях, на которые способна любовь. Он только бродил и размышлял или же трудился над счетными книгами отца, в то же время мечтая о Бенишии.

Между тем Бенишия, хоть и не видела никаких знаков особого внимания со стороны Солона, сама все чаще и чаще задумывалась о нем. Но ей казалось, что девушки его вообще не занимают.

ГЛАВА X

Отец Бенишии, Джастес Уоллин, был человек умный, способный и от природы деятельный, хотя значительное состояние, доставшееся ему по наследству, позволяло вести жизнь спокойную и праздную. Он не видел греха в том, чтобы упрочивать и умножать свой капитал, поскольку он при этом оставался верен заветам Джорджа Фокса и «Книги поучений», где под заголовком «Торговля» можно найти следующее предостережение: «Если кто станет обладателем большого достатка, пусть не забывает, что он — лишь управитель, обязанный отчитаться в справедливом употреблении доверенных ему благ».

Бенишия была единственной дочерью Уоллина, и к ней должно было перейти все накопленное им богатство, но она явно была не из тех, кого привлекают деньги. Тихая, кроткая девушка, Бенишия казалась созданной для любви и скромного семейного счастья, а не для суетности и показного блеска; и Джастес и его жена понимали и высоко ценили эти ее качества, но с тем большей тревогой задумывались они над тем, кто же станет ее избранником и мужем. Они от души желали, чтобы ей повстречался честный и энергичный человек, достойный ее любви и способный ответить ей такой же любовью, человек, в чьи руки они спокойно могли бы передать все то, что должно было обеспечить благосостояние ей и ее мужу, а там, быть может, и детям. Впрочем, пока это еще оставалось делом далекого, туманного будущего.

Однако на благополучном пути Уоллина встречались и тернии, уколы которых были довольно чувствительны. Прежде, в молодые годы, он очень страдал от своего малого роста и даже завидовал втихомолку высоким мужчинам; теперь источником беспокойства служили постоянные толки среди жителей округи: многие из них, квакеры и не квакеры, склонны были осуждать верхушку местной общины, к которой, по своему имущественному положению, принадлежал и он, не только за растущее благосостояние, но и за известную косность житейских представлений. А между тем Джастес, с его живым умом и природной демократичностью, был чужд всякого снобизма и отнюдь не склонен заблуждаться относительно прочности земных, материальных благ. Как и Руфус Барнс, он получил религиозное воспитание, веровал искренне и глубоко, и ему было неприятно, когда люди сомневались в неподдельности его квакерского благочестия, тогда как он в самом деле старался со всеми поступать по справедливости. Богатство и положение в обществе он приобрел не обманом или хитростью, а благодаря своим деловым способностям и уменью быть полезным другим.

Но, так или иначе, он был богат, а среди местных квакеров многие относились к богатству недоброжелательно, о чем ему было известно, и потому он всегда чувствовал как бы некоторую потребность в самозащите, особенно на молитвенных собраниях в День первый, которые он исправно посещал. Среди присутствующих на собрании всегда находилось немало бедных, больных

или плохо одетых членов общины, и нередко бывало, что кто-либо из них тут же вставал и обращался к Внутреннему свету, прося наставить его в час испытания. И, надо сказать, Уоллин всегда проявлял чрезвычайную отзывчивость к людям. Он не только выполнял поручения комитета старейшин даклинской общины, членом которого был, но и, никому о том не говоря, старался по возможности удовлетворять нужды беднейших, не поощряя при этом нахлебничества или праздности.

Однако даже сам он чувствовал, что это еще не разрешает проблемы богатства — богатства, которое так необходимо для личного благополучия. Ему не давали покоя строки из «Книги поучений», в которых осуждалась «чрезмерная приверженность к земным благам» и говорилось о том, что подобные чувства «сковывают и принижают дух». Ему, Джастесу Уоллину, принадлежало большинство акций Торгово-строительного банка, треть всего капитала Филадельфийского страхового общества, дом на Джирард-авеню в Филадельфии, стоивший не менее сорока тысяч долларов, дом и земли при нем в сорок акров здесь, в Дакле, и еще немало движимого и недвижимого имущества; не следовало ли все это считать «сковывающим и принижающим дух»?

А с другой стороны, разве мало добра он делает с помощью своего богатства? Разве он не член попечительского совета своего прежнего учебного заведения, Окволда? Разве он не оказывает ему постоянную поддержку щедрыми приношениями? Не финансирует любое начинание, возникающее в его стенах? Да, все это верно. А разве не с его помощью, денежной, конечно, построен новый молитвенный дом и школа в Дакле? Да, верно и это.

Так, размышляя о своем все растущем богатстве, Уоллин наконец пришел к мысли, которая ему самому показалась разумной: что торговля и предпринимательство созданы господом богом специально для того, чтобы способствовать просвещению, образованию и общему благополучию всех людей на земле. Эту мысль он иногда высказывал вслух на молитвенном собрании, стремясь оградить себя от возможных упреков и в то же время оправдаться нравственно и перед богом и перед собратьями по общине; чаще всего это бывало в тех случаях, когда к нему обращались за денежной помощью — но уже после того, как он такую помощь оказал. Члены общины отлично понимали, в чем тут дело; но, зная его щедрую и широкую натуру, охотно верили в его искренность и соглашались признать за истину его постоянное утверждение, что он, как и всякий, кто занят каким-нибудь полезным делом на земле, — не хозяин своего имущества, вольный распоряжаться им к своей выгоде, но скорей лишь управитель или приказчик, выполняющий волю творца.

Этим мыслям Джастеса Уоллина суждено было способствовать осуществлению мечты Солона, хотя последний — в то время во всяком случае — меньше всего думал об Уоллине и о его умонастроениях. И сам Джастес, и его жена, и дочь теперь редко показывались в Дакле. Жили они большею частью в Филадельфии, в своем доме на Джирард-авеню, неподалеку от конторы Уоллина, и посещали молитвенный дом на Арч-стрит. И вот впервые в жизни Солон узнал, что значит тосковать в разлуке. Но ни отец, ни мать, ни сестра — никто не догадывался о его тайной привязанности. Скрытный и замкнутый, он ничем себя не выдавал.

Тем временем и Бенишия все чаще и чаще задумывалась о Солоне, сама не зная почему — ведь он никогда не выказывал ей каких-либо знаков нежного внимания. Но этот юноша, сильный, смелый, серьезный, прилежный, обходительный, — каким он ей казался, — невольно привлекал ее мысли. У него были такие ясные серые глаза и он так отличался от окружавших ее молодых людей, которые больше всего заботились о своих костюмах и кичились богатством и общественным положением своих родителей. Но, к сожалению, его, видно, не интересовали девушки.

По странному стечению обстоятельств в семействе Барнсов нашелся еще человек, вызвавший симпатии одного из Уоллинов, и этим человеком была Ханна Барнс. Как-то раз Руфусу Барнсу пришлось поехать в Сегукит для выяснения некоторых деловых вопросов, связанных с его старой фермой, и Ханна отправилась на молитвенное собрание вдвоем с Солоном. Случилось так, что Джастес Уоллин, находившийся в это время в Дакле, тоже решил посетить молитвенный дом даклинской общины, в котором давно уже не бывал. Как почетный член общины, немало сделавший для нее в прошлые годы, он был приглашен занять место среди наставников и старейшин, которые сидели на возвышении, лицом к остальным, и таким образом не мог не увидеть Ханну и Солона, сидевших в одном из первых рядов.

Если не в Солоне, то в Ханне, во всяком случае, было что-то, невольно привлекавшее взгляд каждого вдумчивого человека. От всего ее облика, ничуть не старомодного, веяло спокойствием и сосредоточенностью, этому способствовало одухотворенное выражение, присущее ей не только в час молитвы. Она не была красива в общепринятом смысле этого слова, но ее отличало какое-то особое, внутреннее обаяние. Ибо мысли ее всегда были заняты нуждами других людей — о собственных нуждах она не думала. Она располагала к себе проникновенным взглядом темных, широко поставленных глаз, энергичной и в то же время ласковой складкой губ, порой шевелившихся, словно в беззвучной молитве, — чаще всего это бывало в те минуты, когда она задумывалась о бедах и несчастьях, постоянно подстерегающих живые существа, и скорбела душой не только за людей, но и за животных.

Очень долго — не меньше часу — длилась тишина. Никто, видимо, еще не почувствовал, что Внутренний свет велит ему встать и заговорить. Уоллин раздумывал, не встать ли ему и не обратиться ли к присутствующим с кратким словом о сущности богатства и о роли богача как управителя, выполняющего божью волю. Уже около года он не был на молитвенном собрании даклинской общины, и за это время здесь появилось немало новых лиц. Но только он принял решение, как в задних рядах

поднялась пожилая, болезненного вида женщина в чепце и в шали из дешевой серой материи; она устремила взгляд в потолок и заговорила дрожащим, надтреснутым голосом:

— Пусть Внутренний свет поможет мне и наставит на путь истины. Сын мой, Уильям Этеридж, которого многие из вас знают, — он работал здесь, в Дакле, несколько лет назад, — вернулся ко мне беспомощным калекой: в чужих краях он потерял правую руку, а теперь его мучает какая-то непонятная болезнь. Доктор Пэйтон, один из наших Друзей, лечит его; но боюсь, он не выживет. Я знаю, он не всегда был хорошего поведения, и здесь, верно, найдутся люди, которым есть в чем его упрекнуть. Но он мой единственный сын, и Внутренний свет, к которому я всегда старалась обращаться, говорит мне, что мать не должна отнимать у сына свою любовь. Я сама долго болела, и мне теперь живется нелегко, но я прошу вас всех об одном — помочь мне своей верой и своими молитвами, потому что мой сын очень болен.

Она тяжело опустилась на свое место; но казалось, сама ее телесная слабость в сочетании с той силой и мужеством духа, которые давала ей вера, возвышает эту маленькую, тщедушную женщину над окружающими. Члены общины, взволнованные и растроганные, благоговейно молчали. Джастес Уоллин хотел было встать и вслух выразить свою уверенность в том, что старейшины общины не замедлят помочь миссис Этеридж в ее беде, но тут он увидел Ханну Барнс. Она стояла бледная, исполненная чувства религиозного и общественного долга по отношению к ближнему, которое в ней было так сильно. Постояв немного, она сказала:

— И я, как миссис Этеридж, в свое время искала поддержки Внутреннего света, и потому уверена, что ее молитва будет услышана. Ее великая вера спасет ее сына. Я знаю это по себе. Когда моему сыну Солону, который сейчас сидит здесь, с нами, шел восьмой год, ему случайно вонзился в ногу топор; рана воспалилась, и он был при смерти. От страха и боли он горько плакал, и я сама готова была отчаяться. Но, веря в безграничную мудрость и милосердие господа, я всем сердцем обратилась к нему — так же как миссис Этеридж, — и в то же мгновение мой сын исцелился. Он сам может подтвердить это. Страх его прошел. Боль в ране утихла. Он стал улыбаться, и в моей душе наступил полный покой и просветление. Тогда я поняла, что бог услышал молитву и даровал исцеление моему сыну и мне. И вот сейчас, вместе с горячей благодарностью, я чувствую непоколебимое убеждение, что господь сделает для миссис Этеридж и ее сына то же, что сделал для меня и моего мальчика. Разве когда-нибудь он оставался глух к тем, кто прибегал к нему с любовью и верой? — С этими словами она села на место.

Тогда в приливе сыновней любви и преданности встал Солон; дождавшись, когда шум и движение в комнате стихли, и, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, так, чтобы ясно было, что речь его обращена ко всем присутствующим, он сказал:

— Моя горячо любимая мать говорит истинную правду. Я был на пороге смерти и чувствовал ее приближение. Я видел, как мать молилась у моего изголовья. Я слышал слова, с которыми она потом обратилась ко мне, — о том, что господь поручил мою жизнь ее заботам. И вдруг боль исчезла. Мне сделалось как-то необъяснимо хорошо. Через три дня моя рана, которая была очень серьезна, почти затянулась. А через неделю я уже мог ходить и чувствовал себя совершенно здоровым. И я готов подтвердить, что молитва, обращенная к богу, не остается без ответа.



Он обвел взглядом всех, затем с нежностью посмотрел на свою мать и сел.

На Джастеса Уоллина все это произвело сильное впечатление, хотя на собраниях квакеров не в редкость были подобные речи. Он был глубоко тронут горем и нуждой миссис Этеридж, ее искренней любовью к сыну, не мешавшей ей с горечью признавать его недостатки; но едва ли не больше всего поразила его вдохновенная человечность и отзывчивость миссис Барнс, ее чистосердечный рассказ о чудесном исцелении сына, который тут же подкрепил этот рассказ своим свидетельством.

Какая сила чувствуется в этой женщине, сколько в ней простоты и в то же время какого-то своеобразного обаяния — в ее высокой, статной фигуре, уверенных движениях, безыскусственной манере говорить и держаться! Какой прекрасный пример силы квакерского учения! И как хорошо, что он, Джастес, не успел выступить со своим излюбленным тезисом о сущности богатства! Ну пусть богач — управитель земных благ, творящий божью волю; какое значение это может иметь перед лицом такой веры, рядом с такими доказательствами снисхождения творца к человеческим нуждам? Разве богатством можно исцелить человека, умирающего от тяжелой раны? Джастес Уоллин был настолько взволнован всем услышанным, что как только старейшины, сидевшие на возвышении, встали и начали прощаться, возвещая этим, что собрание окончено, он спустился вниз и

подошел к Ханне, которую уже окружили другие члены общины, взволнованные не меньше его. Успев от соседа по скамье узнать ее имя, он взял ее за руку и спросил:

— Тебя зовут Ханна Барнс, не так ли? — И, получив утвердительный ответ, сказал: — Я — Джастес Уоллин.

Солон, стоявший в двух шагах от них, вздрогнул: он понял, что перед ним отец Бенишии.

— А это, как видно, твой сын, — продолжал Уоллин, повернувшись к Солону и протягивая ему руку.

— Да, это Солон, мой единственный сын, — ответила Ханна. — Мой муж Руфус на несколько дней уехал в Сегукит, штат Мэн. Мы раньше жили в этом городе, и у него еще остались там кое-какие неулаженные дела.

— Значит, ты человек новый в Дакле и в даклинской общине, — не унимался Уоллин.

Личность Ханны произвела на него сильное впечатление. Да и Солон тоже ему понравился — он так горячо и искренне говорил, подтверждая слова матери.

— Да, мы здесь всего полтора года. После смерти Энтони Кимбера, мужа моей сестры, — он умер около двух лет тому назад, — мой муж взял на себя заботу о ее имуществе. Но прости меня. Я боюсь, что миссис Этеридж уйдет, а мне хотелось бы поговорить с ней. Меня так тронуло ее горе.

— О, пожалуйста, пожалуйста! Извини, что я тебя задержал. — Уоллин поспешил посторониться. — Я сам хочу помочь этой бедной женщине, хотя, надо думать, община позаботится о ней. — Он сердечно пожал ей руку, и Ханна поспешила вдогонку за миссис Этеридж, чтобы спросить, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Имя Уоллина ничего ей не сказало, она не знала ни о том, что у него есть дочь, ни о любви своего сына к этой дочери.

А Солон так и остался стоять, совершенно растерявшись от этого неожиданного внимания, проявленного Уоллином к его матери и к нему самому.

— На меня большое впечатление произвело то, что рассказывала твоя мать и ты, — сказал ему Уоллин. — Я хотел бы узнать об этом поподробнее. Прошу тебя, передай матери, что, когда твой отец вернется, моя жена и я были бы очень рады видеть вас всех у нас. Ты, вероятно, знаешь наш дом — большой, серый, в конце Марр-стрит. Дела заставляют меня жить больше в Филадельфии, там у нас тоже дом, на Джирард-авеню, но мы охотно приезжаем в Даклу, когда только возможно.

Он приветливо улыбнулся и протянул Солону руку. Солон, занятый мыслями о Бенишии, и только о ней одной, схватил эту руку и изо всех сил пожал, благодаря в душе судьбу, счастливый случай или Внутренний свет за то, что все так удачно вышло.

ГЛАВА XI

Знакомство с Джастесом Уоллином не замедлило сказаться на жизни Ханны: по его предложению она была избрана членом женского комитета даклинской общины (при каждой общине имелись мужские и женские комитеты помощи нуждающимся; члены их должны были навещать больных и бедных и оказывать им посильную помощь).

Уоллин был немало удивлен, узнав о родстве Руфуса Барнса с Энтони Кимбером; Кимбера он хорошо знал при жизни, и часть состояния покойного до сих пор была застрахована в компании, где Уоллин был одним из главных воротил.

Примерно через неделю после случая в молитвенном собрании Уоллин с женой заехали в бакалейную лавку Эдварда Миллера, помещавшуюся на главной улице городка, — сделать кое-какие закупки на воскресенье. Миллер, один из самых зажиточных квакеров Даклы, был по природе человек общительный и всегда старался заручиться личным расположением своих сограждан. Так и на этот раз, увидя Уоллина, он рассыпался в приветствиях:

— Кого я вижу! Друг Уоллин! Как поживаешь? Что-то ты стал забывать свой даклинский дом.

Уоллин пояснил: Бенишия теперь учится в Окволде и не всегда приезжает домой даже на субботу и воскресенье, а потому они предпочитают проводить это время с ней, в специально отведенных для гостей помещениях.

— Кстати, друг Уоллин, — продолжал Миллер, — знаешь, у тебя тут появился конкурент, который тоже утверждает, что всякая выгода и всякое богатство ниспосланы господом для блага всех людей. Это некий Руфус Барнс. Он сюда приехал из Сегукита, штат Мэн.

Заметив, что Уоллин заинтересован, словоохотливый Миллер пустился в подробности.

— Этот Руфус Барнс, видишь ли, является душеприказчиком покойного Энтони Кимбера по управлению его имениями, но вместо того, чтобы прижимать должников, друг Барнс с сыном взялись учить их, как лучше вести хозяйство, чтобы легче было платить по закладным. Мало того, он хлопочет о сбыте, о том, чтоб людям было где продавать все то, что они выращивают по его наставлениям. Сам он поселился в старой усадьбе Торнбро — милях в трех к востоку отсюда, и, знаешь ли, творит там чудеса. Усадьба стала просто украшением наших мест. У этого Барнса двое детей — сын по имени Солон и дочь. Мне он нравится, хороший человек.

— А как зовут его дочь? — спросила миссис Уоллин.

— Кажется, Синтия, — сказал Миллер. — И сын и дочь, оба ходили в местную школу в прошлом и в запрошлом году. А теперь, слыхал я от моей дочки Мэри, девочка собирается в Окволд вместе со своими двоюродными сестрами, дочерьми миссис Кимбер.

— Да, да, это очень интересно, — прервал его Уоллин. — Рад слышать, что у меня нашелся единомышленник. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей, особенно из членов нашего Общества, прониклись этой идеей и руководствовались бы ею в жизни. Мое глубокое убеждение, что все мы — лишь управители при господе боге, — заключил он, и Миллер поспешил поддакнуть:

— Разумеется, ты прав, друг Уоллин.

Но при этом он невольно подумал, что, пожалуй, управитель, как называл себя Уоллин, не так уж обязан столь упорно заботиться о приумножении своих богатств.

Спустя несколько дней, отправляясь по делам в Трентон, Уоллин, подстрекаемый любопытством, велел кучеру проехать мимо Торнбро, чтобы хоть издали взглянуть на усадьбу. Он помнил ее с детства, и как только за поворотом дороги открылись знакомые места, ему сразу же стало ясно, что к Торнбро вернулась вся былая прелесть. Да, этот Руфус Барнс, простой фермер из мэнского захолустья, видно, человек со вкусом, — судя по тому, что́ он сумел сделать из старого, полуразвалившегося строения и заброшенного участка земли.

Уоллин ехал в Трентон в мечтательном, праздничном настроении, и всю дорогу его искушала мысль: а что, если нанести визит Барнсам? В конце концов ведь он же познакомился с Ханной и Солоном на молитвенном собрании общины. Не раз с тех пор мать и сын приходили ему на память. Уж не связывает ли он мысль об этом славном юноше со своей дочерью, Бенишией? Что за глупости! Ведь они оба еще дети. А все-таки надо будет, не откладывая, пригласить все семейство в гости. Однако прежде ему следует поинтересоваться судьбой миссис Этеридж и ее сына.

Лия Этеридж, бедная швея, жила с сыном в убогом, покосившемся домишке на далекой окраине, почти у самой железной дороги. Дом был сколочен из тонких сосновых досок, во все щели дуло, черепица на крыше почернела от времени. Миссис Этеридж, худая, высохшая женщина, пригласила Уоллина войти и представила ему своего сына, чахлого молодого человека лет двадцати трех, который сидел, обложенный подушками, на кровати, занимавшей целый угол в одной из двух комнат домика; другая служила его матери мастерской.

Оказалось, что Уильям Этеридж чувствует себя лучше, но Уоллина поразил не столько самый факт, сколько то обстоятельство, что улучшение, по словам Лии и ее сына, началось сразу же после того, как Ханна произнесла свою памятную речь.

На вопрос Уоллина, когда именно Уильям почувствовал себя лучше, молодой человек отвечал совершенно точно:

— Это случилось, когда матушка находилась в молитвенном собрании.

— А когда вас навестил мой доктор? — спросил Уоллин; он просил врача, постоянно пользовавшего в Дакле все его семейство, осмотреть больного.

— В День третий, — сказала миссис Этеридж. — Он дал Уильяму пилюли, и Уильям их аккуратно принимает.

Ему стало лучше в Первый день, а пилюли врача он принимает лишь с Третьего, подумал Уоллин, но вслух ничего не сказал. Ему вспомнилось одухотворенное выражение лица Ханны, когда она говорила на молитвенном собрании, потом мысль его перескочила на Лию Этеридж, на ее горячую любовь к сыну, который явно того не стоил. Матери, матери! А впрочем, кто он, чтобы судить их?

— Рад, очень рад, что твоему сыну лучше, — сказал он. — Я велю своему врачу, чтобы он и впредь навещал его. — И тут же он подумал, что в сущности незачем беспокоиться о враче, когда юноша в таких надежных руках — ведь о нем заботятся и миссис Этеридж и Ханна. Разве улучшение в здоровье больного не было прямым откликом на их обращение к богу, вдохновленное искренней верой? Уоллин твердо был убежден в этом.

Неприятно пораженный нищенской обстановкой дома, Уоллин, уходя, сделал миссис Этеридж знак следовать за ним. Притворив дверь, он вынул бумажник и достал из него несколько банкнот. Но женщина отстранила его руку и взволнованно зашептала:

— Нет, нет, нет! Не надо! Я не возьму, я не могу взять!

— Ты должна принять от меня эту помощь, миссис Этеридж, — торжественно произнес Уоллин. — Глас веры, глас божий велит мне оказать ее. Что же, ты хочешь отринуть волю создателя?

При этих словах выражение ее лица изменилось. Она внимательно посмотрела на него. В конце концов ведь он — член Общества друзей, такой же, как и она сама. Она беспомощно улыбнулась, и он вложил деньги ей в руку.

— Наша вера тем и сильна, что она учит нас помогать друг другу в час нужды, — и Уоллин поставил ногу на единственную ступеньку крыльца. — Если тебе кажется, что врач не нужен, скажи ему, чтоб больше не приходил. Миссис Барнс помогла мне понять, что в боге наше истинное прибежище и наша сила.

Он торопливо прошел через двор и сел в свой экипаж. Им владело незнакомое прежде чувство духовного просветления. Мысль работала лихорадочно и напряженно. Нужно научиться по-другому думать, по-другому жить. Нужно укрепить в себе веру. Ханна Барнс — вот чья жизнь воистину озарена Внутренним светом. С этой семьей нужно познакомиться поближе. В таком настроении он ехал домой, торопясь рассказать жене о событиях этого дня.

ГЛАВА XII

Дом Уоллина в Дакле был обширных размеров и прочной, добротной стройки: нижний этаж каменный, из серого плитняка, столь излюбленного некогда строителями Пенсильвании и Нью-Джерси; верхний — деревянный, с резными украшениями и большой верандой на западной стороне, откуда открывался красивый вид на окрестности. При доме был сад величиной около двух акров, обнесенный невысокой плитняковой оградой, — с цветочными клумбами и симметрично расположенными дорожками, вдоль которых стояли каменные скамейки. Но всему этому недоставало той естественной прелести, которою отличалась усадьба Торнбро. Сразу было видно, что дом Уоллина обошелся куда дороже — об этом говорило все, от кладки стен до наружной отделки; но стоило только представить себе Левер-крик и его берега, усеянные цветами, увитую зеленью беседку в старинном духе, чугунную решетку, так красиво сочетающуюся с выбеленными стенами старого дома Торнбро, и становилось ясно, что эти два жилища и сравнивать нельзя. И дело тут было не в том, что Руфус обладал более утонченным вкусом, чем Уоллин. Не так уж далеко один ушел от другого в этом отношении. Но дом в усадьбе Торнбро был построен архитектором, понимавшим и ценившим красоту гораздо больше их обоих. Его чувство прекрасного и помогло ему осуществить то, что, по счастью, сумел подметить и воссоздать в своем воображении Руфус и к чему сейчас не остался глух Уоллин.

Вернувшись после поездки по окрестностям Торнбро и посещения миссис Этеридж, Уоллин рассказал жене обо всем, что так сильно затронуло его эстетическое и религиозное чувство. Он поделился с ней впечатлением, которое произвела на него усадьба Торнбро, восстановленная в своем прежнем виде, потом описал свое пребывание у миссис Этеридж и высказал глубокую уверенность в том, что это Ханна Барнс и сама миссис Этеридж силою своей веры содействовали чудесному исцелению Уильяма Этериджа. Миссис Уоллин, женщину глубоко религиозную, заинтересовал и взволновал рассказ мужа, и она согласилась, что хорошо было бы поближе познакомиться с семейством Барнсов. А потому не прошло и недели, как Уоллины явились с визитом в усадьбу Торнбро, где Руфус и Ханна оказали им самый сердечный прием, — Руфус, надо сказать, был немало польщен вниманием Уоллина к нему и к его семье.

Так было положено начало знакомству, скоро перешедшему в дружбу между семьями Уоллинов и Барнсов. Спустя некоторое время Руфус и Ханна получили от Уоллинов письмо с приглашением отобедать у них в Дакле всем семейством; дело происходило в День первый, и Синтия, как и Бенишия, приехала из Окволда домой.

На всех Барнсов, кроме разве Ханны, большое впечатление произвела роскошь уоллиновского дома — массивная мебель красного дерева, украшенная затейливой резьбой, ковры и звериные шкуры на паркетных полах, большие красивые вазы с цветами и декоративными растениями. Вскоре после того как все общество расположилось в гостиной, вошел лакей, неся серебряный поднос, уставленный высокими бокалами с фруктовым соком, что весьма удивило и даже несколько смутило не искушенных в светских обычаях Барнсов.

Корнелия Уоллин сразу почувствовала сердечное расположение к Ханне Барнс. А Джастес Уоллин, беседуя с Руфусом, все больше и больше изумлялся искренности и простоте, отличавшими этого человека. Солон тоже понравился хозяину дома своими скромными, сдержанными манерами, своим немногословием. Он, видимо, был вдумчив по натуре; когда к нему обращались с вопросом, требовавшим сложившегося мнения или точного знания фактов, он слегка щурил глаза и морщил лоб, потом, если не мог найти быстрого и убедительного ответа, улыбался милой, подкупающей улыбкой и говорил:

— Сэр, я недостаточно знаю этот предмет, чтобы говорить о нем с уверенностью.

Иногда он прибавлял:

— Могу только сказать, что мне кажется так-то и так-то.

Или:

— Позволь мне подумать, прежде чем ответить.

Такая осмотрительность была по душе не только Джастесу, но и родителям юноши.

Впрочем, при всей своей выдержке и кажущемся спокойствии Солон очень волновался, так как мать сказала ему, что Бенишия тоже будет на обеде. А он, с самой первой их встречи, и надеялся понравиться ей, и в то же время мучительно опасался, что надежда эта не сбудется. Она казалась ему такой прекрасной, такой привлекательной — и, надо сказать, о том, что она дочь богатого отца, он вовсе и не думал; только вот сейчас ему пришло в голову, что ей скорее может понравиться юноша, более близкий по положению — тоже сын какого-нибудь богача. Эта мысль показалась ему настолько невыносимой, что он не мог усидеть на месте, встал и принялся ходить из угла в угол, что вообще было не в его привычках, однако сейчас неожиданно послужило ему на пользу, так как Уоллин увидел в этом проявление пытливого ума, — качества, по его давним, хотя, может быть, и не вполне верным наблюдениям, весьма ценного для делового человека.

Но тут в комнату вошла Бенишия с книгами под мышкой, свежая, улыбающаяся, одетая удивительно к лицу. Во всяком случае, Солону, увидевшему ее даже раньше, чем отец и мать, она показалась очаровательной в своем простеньком синем с голубым платье, сером корсаже и квакерском чепчике. В ее матовой бледности не было ничего болезненного. Темные глаза казались совсем фиалковыми. А белизна ее рук! А эта улыбка, которой она улыбнулась отцу и матери, еще не успев увидеть гостей! Тем более что Солон, заслышав ее шаги, поспешил забиться в самый дальний угол гостиной, где стояла этажерка с книгами, взял в руки одну из них, «Дневник» Джона Вулмэна, и сделал вид, что читает.

Однако, услыхав свое имя, произнесенное Уоллином, он отложил книгу, вышел на середину гостиной и, глядя на Бенишию с благоговением и чуть ли не со страхом (почему — этого он сам бы не сумел объяснить), сказал:

— Как поживаешь? Я очень рад тебя видеть.

Бенишия в первый раз за все их знакомство ласково улыбнулась ему, и Солон с восторгом почувствовал, что его присутствие не раздражает ее, а напротив, даже чем-то ей приятно.

— Бенишия, — сказал Джастес, — ты ведь знакома с этим молодым человеком? Вы как будто ходили в одну школу? И сестру его, Синтию, ты тоже знаешь?

— Ну еще бы, — отвечала Бенишия. — Мы с Синтией вместе учимся в Окволде.

Любезность Уоллина и ласковый взгляд Бенишии подбодрили Солона, и он нашел в себе силы выговорить:

— Я тоже собирался поступать в Оквολд, но я нужен отцу дома, пока во всяком случае. Может быть, поступлю поздней.

Уоллин между тем снова подсел к Барнсу и завел с ним беседу о кое-каких старых домах в округе, которые стоило бы приобрести, с тем чтобы, произведя необходимый ремонт, пустить в продажу, а Корнелия с Ханной углубились в обсуждение деятельности местной общины. Бенишия, чувствуя себя обязанной занимать Солона, поддержала начатый им разговор.

— Тебе бы, наверно, понравилось в Окволде, — сказала она. — Лекций много, и они очень разнообразны. — Она перечислила несколько предметов, которые там изучали. — Разумеется, молодые люди отделены от девушек; у нас свои дортуары и аудитории, у них свои, но мы сходимся вместе на утреннем чтении Библии, и некоторые специальные лекции тоже слушаем вместе. А вообще там очень славно, почти как дома. Есть особые помещения для гостей, очень уютные, и ко многим по праздничным дням приезжают родители. Мои папа и мама тоже часто навещают меня, и я слыхала, твоя тетя Феба собирается в гости к твоим двоюродным сестрам.

Бенишии хотелось добавить, что и он мог бы как-нибудь приехать вместе с родителями в гости к Синтии или присоединиться к тетушке Фебе, когда та отправится навестить своих дочерей, но ей припомнились отцовские наставления насчет знакомств с молодыми людьми, и она решила посоветоваться прежде с матерью.

У Солона не хватило смелости заговорить с нею о новой встрече, так что дело у них, казалось бы, ничуть не подвинулось. Однако при мысли, что, может быть, он не скоро ее опять увидит, все его радостное настроение улетучилось. Лицо его так уныло вытянулось, что Бенишия, чутьем угадывая причину, отказалась от принятого было решения и сама предложила ему как-нибудь приехать в Окволд. Эта неожиданная смелость с ее стороны и удивила его и привела в восторг; он мгновенно просиял, и уже весь вечер с его лица не сходила благодарная улыбка. Бенишия сразу заметила в нем перемену, — трудно было этого не заметить, — и порадовалась за него, но в то же время и встревожилась: она вдруг поняла, как много она для него значит. Ей стало стыдно за свое притворное безразличие, и она постаралась загладить его если не словами, то всем своим поведением. Ее глаза смотрели на Солона ласково, губы нежно улыбались.

Вошел дворецкий и торжественно объявил, что кушать подано. Никому из Барнсов до сих пор еще не доводилось присутствовать при такой церемонии. Уоллин подошел к Бенишии и Солону и с улыбкой спросил:

— Ну как, у вас, видно, нашлось о чем поговорить?

— Конечно, нашлось, папа, — с живостью ответила Бенишия. — Я рассказывала Солону про Окволд и про то, как вы с мамой приезжаете туда ко мне в гости. Он бы тоже мог как-нибудь приехать с вами, повидать свою сестру и кузин.

— Отчего же, разумеется, — радушно согласился Уоллин. — Места сколько угодно, и это очень приятная поездка.

— Вот и чудесно, папа! — весело вскричала Бенишия.

И Солон, ободренный столь благоприятным оборотом дела, вежливо поблагодарил Уоллина за приглашение.

— Тебе не меня надо благодарить, а мою дочку, — сказал Уоллин, обнимая Бенишию за плечи. — Ведь это она первая придумала. Но мне эта мысль нравится не меньше, чем вам обоим.

ГЛАВА XIII

Любезный прием, оказанный Уоллином гостям, объяснялся не только искренним удовольствием, которое ему доставляла дружба, установившаяся между обеими семьями и, в частности, между Солоном и Бенишией. Руфус с сыном навели его на мысль о том, как можно практически разрешить одну стоявшую перед ним задачу. Дело в том, что за последнее время в Дакле все больший размах приобретала финансовая деятельность — страховое дело, операции по ссудам и по закладным. И вот ему пришло в голову, что неплохо бы поручить двум таким честным и работящим людям — к тому же квакерам, как и он, — представлять здесь его деловые интересы.

План был прост: Руфус открывает в Дакле контору, сажает туда своего сына и выступает в качестве представителя банка и страховой компании Уоллина; Уоллин готов был взять на себя расходы по найму помещения в первый год, а если дело окажется выгодным, то и в дальнейшем. Ему все сильнее нравился Солон, и, поскольку родного сына у него не было, он стал подумывать о том, чтобы, приучив этого мальчика к делу, взять его потом в свой банк в Филадельфию. Еще до описанного обеда он поделился своими планами с Руфусом и встретил полное одобрение; Руфус даже сказал, что у него есть на примете подходящее место для конторы.

В ближайшие две недели все было подробно обсуждено и вырешено, и Руфус с сыном сделались служащими Джастеса Уоллина. Руфус снял половину пустовавшего склада неподалеку от городской почты, и Солон вместе с маляром и плотником немало потрудились над тем, чтобы придать помещению как можно более солидный вид. Уоллин прислал из Филадельфии три

конторки, два стола, несколько стульев и картотечных шкафов — все это вышло из употребления в его банке, но вполне могло пригодиться здесь. В результате их общих стараний в Дакле появилось новое агентство по продаже и покупке недвижимости, занимавшееся также страховыми и ссудными операциями, что, несомненно, подняло деловой престиж городка.

Все эти перемены в жизни Солона, возбуждая его энергию, в то же время нарушили его душевное равновесие. Его теперь постоянно преследовал образ Бенишии, ее лицо, ее улыбка, звук ее голоса. Он молча хранил все это в себе, хотя бывали минуты, когда ему мучительно хотелось поговорить о ней с кем-нибудь, и прежде всего — со своей матерью. Но как ни сильно было его увлечение, оно не могло вытеснить заветов квакерской веры, внушенных ему с детства, и потому при первом же посещении дома Уоллинов его поразило несоответствие между богатством этого дома и той простотой жизненного уклада, к которой он привык. Правда, и нынешний дом Барнсов, после всего, что там сделал его отец, не вполне соответствовал этому идеалу простой жизни. Но, с другой стороны, Солон хорошо знал, как трудно жилось его горячо любимой матери в Сегуките; неужели же все эти годы любви и беззаветного служения не дали ей права на более красивое и удобное жилье, чем обветшалая, невзрачная сегукитская ферма, тем более что у многих их собратьев по вере дома гораздо лучше? И ему ли требовать от Уоллинов, чтобы они изменили свой образ жизни согласно «Книге поучений»? Ведь теперь и он сам и его отец трудятся изо дня в день для того, чтобы заработать Уоллину побольше денег, и за это он получает пятнадцать долларов в неделю, а его отец — процент с оборота. Где еще он, в свои годы, мог бы занимать такое положение? Да и отец его тоже.

Спустя короткое время Уоллин стал уговаривать Руфуса заменить свой старомодный шарабан и кобылу новым выездом, и Руфус с Солоном не нашли что возразить, поскольку Уоллин брал на себя всю разницу между стоимостью старого экипажа и нового. При этом он сказал Руфусу:

— Ты же знаешь, как много я выиграл от того, что ты передал страховку и все закладные Кимбера в мою фирму. Да, можно рассчитывать, что дела у нас здесь пойдут неплохо. И должен тебе сказать, Руфус, сын у тебя — просто клад.

Эта похвала до того растрогала Руфуса, что вечером, перед тем как сесть за обеденный стол, он прочитал в семейном кругу 33-й псалом:

«Благословляю господа во всякое время; хвала ему непрестанно в устах моих».

И голос его дрогнул от избытка благодарного чувства. А ведь он еще не подозревал о влечении Солона к Бенишии и ее ответной склонности, не знал он и тех планов относительно этой пары, которые уже шевелились в голове Уоллина.

Решение Уоллина взять на службу Руфуса и Солона сразу же оправдало себя. Не прошло и месяца, как Руфус уже отыскал в округе три больших дома, которые с помощью несложных перестроек можно было превратить в удобные загородные виллы. Что касается Солона, то на его попечении находились все приходно-расходные книги; кроме того, он вел переговоры с намечаемыми клиентами по указанию отца или главной конторы в Филадельфии, а иногда и по собственной инициативе. К этим своим обязанностям он относился особенно ревностно и, только учуяв где-либо возможность завербовать нового страхователя или иного клиента, рвался вперед, точно гончая за зайцем.

Но как он ни был занят работой, он все же находил время томиться и мечтать о Бенишии. Это превратилось для него в настоящую пытку. Неделя за неделей проходила после того знаменательного обеда у Уоллинов, а от нее все не было вестей. Любопытно, что именно в эту пору, когда он почитал себя забытым и покинутым, ему удалось совершить два поступка, которые хоть и не имели прямого отношения ни к любви, ни к деловой карьере, однако сразу же продвинули его к цели и в том и в другом.

Как-то раз, проходя мимо недавно открывшейся в Дакле книжной лавки, он увидел в витрине Библию небольшого формата. Склонный от природы к благочестивым размышлениям, он приобрел эту Библию и принес ее не домой, где имелся старый и довольно потрепанный экземпляр, а в контору. До сих пор ему не доводилось еще самостоятельно выступать в молитвенном собрании общины, не считая того раза, когда он поднялся вслед за матерью, чтобы подтвердить ее слова; но после этого случая у него появилось желание подготовиться к тому, чтобы когда-нибудь встать и рассказать членам общины об озарениях Внутренним светом, которые у него подчас бывали и которым он готов был приписать правильность тех или иных своих поступков и суждений как о людях, так и о делах. Купленную Библию вместе со старенькой «Книгой поучений», давним подарком матери, Солон держал в дальнем углу своей конторки, но тем не менее очень скоро они попались на глаза его отцу. Тот, однако, лишь порадовался этому, как доказательству, что его сын, ведомый Внутренним светом, на верном пути, — и ничего не сказал. Напротив, лицо его просияло от удовольствия, и он мысленно возблагодарил бога за руководство помыслами юноши. Затем, надев шляпу, он вышел пройтись, чтобы не смущать Солона, когда тот вернется в контору; с тех пор как семья переехала в Даклу и сын мало-помалу сделался его незаменимым помощником во всех делах, Руфус стал относиться к нему с искренним уважением, ценя его энергию, его ум, его сыновнюю привязанность и честный, справедливый подход к людям.

Немного спустя Солон, часто вспоминавший «Дневник» Джона Вулмэна, который он в замешательстве листал в гостиной Уоллинов, ожидая появления Бенишии, решил приобрести и эту книгу и выписал ее из Филадельфии. История удивительной

жизни этого человека оказалась весьма занимательным чтением; написанная в форме связного повествования, она воспринималась легче, чем Библия или «Книга поучений». К тому же он знал, что и Бенишия читала эту книгу, и ему хотелось непременно прочесть ее до их новой встречи.

Уоллин часто наведывался в даклинское агентство, чтобы посмотреть, как там идут дела. В одно из своих посещений он заметил книги, лежавшие на конторке Солона. Это лишь подтвердило первое впечатление, которое произвел на него молодой Барнс, и укрепило его в мысли, что юноша заслуживает всяческой помощи и практической поддержки. Тем более что и Бенишии он нравился. Со слов жены Уоллин знал, что Бенишия откровенно призналась в своей склонности к Солону и просила как-нибудь захватить его с собой, когда они поедут в Окволд.

И вот наконец после долгих недель терпеливого ожидания Солон получил приглашение сопутствовать Уоллинам в их поездке в Окволд в ближайший же День первый, который пришелся на седьмое апреля.

ГЛАВА XIV

Ханна Барнс, узнав об этом приглашении, не столько удивилась, сколько встревожилась, увидя в нем предвестие перемен в положении семьи, перемен, к которым она не считала себя и своих близких подготовленными.

В Сегуките они с Руфусом вели нелегкую, трудовую жизнь, но, на взгляд Ханны, им жилось там достаточно хорошо. Когда ее сестра Феба вышла замуж за Энтони Кимбера, все кругом сочли это большой удачей, и только Ханне казалось, что Феба отчасти утратила природную скромность и простоту, которые так высоко ценились в квакерской среде. Разве теперь, после замужества, Внутренний свет ярче воссиял в ее душе? При всей своей любви к сестре Ханна знала, что это не так. Вот и сейчас — хотя Корнелия Уоллин сразу же внушила ей симпатию, да и сам Джастес тоже, — тем более что она угадывала его душевное смятение и считала, что он особенно нуждается в руководстве свыше, — она искренне желала им уразуметь, какие серьезные испытания для души несет с собою богатство.

А Уоллину, видимо, не терпелось увеличить свои владения в округе Бартрем, — не для того ли он предложил обоим Барнсам работать у него? Конечно, Солону, как и Руфусу, нужна прилично оплачиваемая работа, и потому следовало бы, пожалуй, посоветовать Солону принять это крайне любезное приглашение; но в ночь после того, как оно было получено, Ханне приснился сон, который ее озадачил и смутил.

Около четырех часов утра Ханна внезапно проснулась, вся под впечатлением напугавшего ее сна. Ей привиделся большой огороженный луг, на котором паслась красивая черная кобыла. И вот появляется Солон, через плечо у него перекинуты нарядная уздечка и седло темно-коричневой кожи. Повесив то и другое на столбик, он перепрыгивает через изгородь и негромко свистит, подзывая кобылу. Та поднимает голову и рысцой бежит на зов. Пока Солон седлает и взнуздывает ее, она стоит смирно, только роет землю левым передним копытом. Но вот все готово, Солон легко вскакивает в седло, держа в руке повод, — и тотчас кобыла начинает брыкаться, словно взбесившись. Она кидается в одну сторону, потом в другую, неистово мотает головой, то взвивается на дыбы, то приседает на передние ноги, а задними в это время отчаянно бьет, стараясь сбросить Солона. Но он сидит так крепко, что ей это не удается. Тогда, разъяренная, она устремляется прямо на изгородь; сила толчка выбрасывает Солона из седла, он перелетает через изгородь и ничком падает на землю, разметав руки в стороны. Его неподвижность, вся его поза говорят о том, что он без сознания и, вероятно, серьезно ранен...

Тут Ханна и проснулась, вся в холодном поту от пережитого страха. Она тотчас же встала и, засветив лампу, поспешила в комнату Солона. Но еще с порога она увидела, что он мирно спит в своей постели, живой и невредимый; до нее доносилось его ровное, спокойное дыхание. Стараясь не потревожить его, она тихонько притворила дверь и вернулась к себе; но до утра пролежала подле Руфуса, не смыкая глаз и думая о том, к чему бы этот странный сон — прекрасное животное, такое кроткое и покорное, и этот внезапный приступ непонятной, губительной ярости. А ведь Солон, пока не очутился в седле, казалось, был так уверен в добром нраве кобылы и ее послушании.

Что бы все это могло значить? Ханна решила никому не рассказывать о своем сне, но она не могла отделаться от чувства, что каким-то образом он связан с предстоящей поездкой Солона в Окволд в обществе Уоллинов. Или во всяком случае с неожиданной переменой в материальном и общественном положении семьи.

Что касается Солона, то его эта поездка в Окволд привлекла только потому, что сулила ему встречу с Бенишией. В Окволде жило и училось около двухсот человек молодежи, все — сыновья и дочери филадельфийских и окрестных квакеров, разумеется, юноши и девушки были отделены друг от друга, и это разделение строго соблюдалось: не только их дортуары и столовые находились в разных зданиях, но они не встречались даже в часы отдыха и приготовления домашних заданий. Вот почему девушки особенно дорожили посещениями родных: под родительским присмотром можно было приглашать в гости нравившихся им молодых людей из числа однокашников. Бенишия относилась к этому равнодушно; она от природы была застенчива, и молодые люди ее не интересовали — за исключением Солона.

Однако в день его приезда она тоже решила воспользоваться присутствием родителей и позвать гостей. В числе приглашенных были двое красивых юношей, отпрыски богатых уилмингтонских семейств, успевшие заслужить благосклонность сестер Кимбер, хорошенькая темноглазая девушка по имени Сьюзен Скэттергуд, приятель Синтии, Барнабас Литтл, и еще двое молодых людей, Коггсхолл и Паркер. Обоим очень нравилась Бенишия, но так как все ее внимание было поглощено Солоном, им пришлось ухаживать за Лорой Кимбер. Окволдская молодежь очень любила такие сборища, позволявшие им хоть на несколько часов вырваться из благочестивого однообразия школьной рутины. Конечно, ни музыки, ни танцев, ни сколько-нибудь азартных игр тут не допускалось. Да и наряды собравшихся мало чем отличались от традиционной квакерской одежды, которую они носили в будни.

Особенно запомнилась Солону в этот день затеянная кем-то игра в «веревочку». Веселая вереница играющих растянулась по просторной зеленой лужайке, окружавшей павильон для гостей. Солон побежал было, чтобы встать рядом с Бенишией, но Коггсхолл и Паркер оказались проворнее его. Лора Кимбер, стоявшая первой, оказалась без пары; Солон подошел и взял ее за руку. Оба его соперника вместе с Бенишией стояли довольно далеко, и это обстоятельство немало раздосадовало Солона.

— Слушай, — сказал он Лоре, становясь с нею рядом, — как только я обниму тебя за талию, сейчас же отпусти руку соседа.

Наконец все встали по местам. Солон крикнул: «Вперед!» и бросился бежать, увлекая за собой всю вереницу. Он бежал зигзагами и петлями, делая неожиданные и резкие повороты, и согласно правилам игры все должны были следовать за ним, стараясь не оторваться. Наконец он заметил, что Бенишия уже с трудом поспевает за остальными. Этого-то он и дожидался. Круто завернув назад, к хвосту вереницы, где было место Бенишии, он шепнул Лоре:

— Отпускай! Я тебя удержу!



Она сразу вырвала у соседа руку. Все остальные по инерции еще продолжали бежать вперед, но порядок нарушился, и задние наскакивали на передних. Солон подскочил к Бенишии, беспомощно цеплявшейся за Коггсхолла и Паркера, обхватил ее за талию и помог устоять на ногах.

— Ах, ты меня просто спас! — с благодарностью воскликнула она. — Еще секунда — и я бы упала и разбила себе нос.

— А я знал, что ты не упадешь, — сказал он.

— Как же ты мог знать? Ты был так далеко от меня.

— Если ты обещаешь не выдавать меня, я тебе скажу.

— Обещаю, — заверила Бенишия, польщенная и тронутая его вниманием, но в то же время заинтригованная неожиданно проявившейся в нем хитростью.

— Я нарочно свернул, чтобы оказаться поближе к тебе, когда все начнут падать, — сказал он, указывая на остальных участников игры, которые в это время поднимались с земли и отряхивали запачкавшуюся одежду.

— Так, значит, ты это все подстроил ради меня? — сказала она, и в ее голосе прозвучала нежность, похожая на любовь. — Какой ты сильный — всех перетянул!

— Но ты не сердишься на мою проделку? — Он посмотрел на нее умоляюще. — Я просто не мог удержаться.

— Солон! — Она как-то особенно ласково произнесла его имя. — За что же мне сердиться? Ведь это игра!

Он помолчал, как будто ему трудно давались слова, которые он хотел сказать.

— Если бы... если бы я... — начал он и запнулся.

— Что, Солон?

— Бенишия... — вымолвил он робко. — Я не могу. Я тебе скажу в другой раз.

Их окружили остальные, и разговор поневоле сделался общим.

ГЛАВА XV

Это взаимное полупризнание явилось полной неожиданностью и для Бенишии и для Солона; оба были смущены и даже потрясены тем, что сорвалось у них с губ во время краткой сцены на лужайке. Бенишию помимо всего тревожила мысль о том, что скажут отец и мать, если они заметят все растущую взаимную склонность ее и Солона.

Что до Джастеса Уоллина, то он пока не был расположен поощрять Солона в чем-либо, не имеющем прямого отношения к делам фирмы. Он считал, что Бенишия еще слишком молода, да и Солон тоже. Мальчик старается, но нужно еще посмотреть, что из него выйдет. Таким образом, после возвращения в Даклу и до самого конца учебного года в Окволде, то есть до последней недели мая, Солон не имел никаких известий о Бенишии, разве только его сестра Синтия иногда упоминала о ней.

Но на помощь ему неожиданно пришли иные силы. Роде Кимбер к тому времени исполнилось уже шестнадцать лет; это была хорошенькая девушка живого и бойкого нрава. Квакерское воспитание не мешало ей инстинктивно чувствовать, какую большую роль играют в жизни отношения между полами, и в ней уже сильна была потребность кое-что испытать, побуждавшая ее откликаться на такую же потребность в существах другого пола, — хоть дело и не шло дальше приветливых улыбок, расточаемых юношам одного с ней или даже более высокого общественного положения. Как и ее покойного отца, Роду влекло к беспечной жизни, к роскоши, которая лишь в очень умеренной степени допускалась у них в доме и в других квакерских домах округи, но зато бросалась в глаза у богатых соседей не из квакеров, щеголявших дорогими лошадьми и экипажами, пышностью обстановки, изысканными, модными нарядами.

Рода сознательно предпочитала этот мир роскоши и богатства. Стремления квакеров к строгой простоте были вовсе не по ней, и она твердо надеялась со временем посредством замужества вырваться из привычной среды. Она не без интереса отметила, как ласкова была Бенишия с Солоном, когда он приезжал в Окволд; не укрылась от нее и все растущая близость между семьями Уоллинов и Барнсов. И вот, горя желанием поскорее начать светскую жизнь, она задумала устроить домашнюю вечеринку, пригласив Солона — в качестве приманки для Бенишии — и трех или четырех молодых людей из Окволда, в частности Айру Паркера, который ей давно уже нравился.

Но тут возникала основная или, вернее, дополнительная проблема — где именно устраивать вечеринку. Дело в том, что дом Кимберов в Трентоне не мог и сравниться с особняком Уоллинов. Он стоял на одной из лучших улиц в городе и был хорошо обставлен, но не велик и с обеих сторон зажат другими такими же домами. Здесь не приходилось и думать о каких-либо развлечениях на свежем воздухе, что так легко было бы устроить в саду при даклинском доме Уоллинов или на просторах усадьбы Торнбро. И зачем только матери вздумалось отдать эту чудесную усадьбу дяде Руфусу? Правда, когда Роде случалось проезжать с матерью мимо Торнбро до того, как там поселился Руфус, запущенная, полуразрушенная усадьба вовсе не казалась ей чудесной. Но в нынешнем своем виде это было просто идеальное место для осуществления ее затеи! Можно будет объяснить Айре Паркеру, что Торнбро подарен тетке Ханне и дяде Руфусу ее матерью, это даже поднимет семейство Кимбер в его глазах.

Единственное, что не нравилось Роде в Торнбро, это библейские тексты на стенах. Но в конце концов и это не так уж важно, поскольку все гости будут из квакерской среды.

Оставалось одно: уговорить Синтию подать мысль насчет того, чтобы устроить праздник в Торнбро. Солон, в своем увлечении Бенишией, разумеется, возражать не будет. И в конце концов все вышло именно так, как хотела Рода. Солон втайне радовался ее затее, а Ханна нашла ее вполне естественной и одобрила. Бенишия, думая о Солоне, охотно согласилась принять участие, и вскоре все было решено окончательно: праздник должен был состояться в первую субботу июня.

ГЛАВА XVI

Трудно было представить себе более красивое и более располагающее к веселью место, чем усадьба Торнбро, — так по крайней мере казалось всем этим юношам и девушкам, еще только вступающим в жизнь. В парке было множество поэтических уголков, особенно по берегам Левер-крика. Беседка из зелени, с ее скамейками в узорной тени молодой листвы, казалась словно созданной для игр или флирта. Тетушка Феба, восхищенная успехами Руфуса и Солона, а также из желания сделать приятное дочери, позаботилась о том, чтобы в развлечениях не было недостатка. Она распорядилась расчистить в парке площадку для тенниса, привезла из города сетку, ракетки и мячи, а для желающих — крокет. Ей же пришло в голову заготовить с десяток сачков на длинных палках, на случай если найдутся охотники половить не слишком расторопную рыбешку, водившуюся в Левер-крике. По просьбе Роды были куплены также шахматы, шашки и домино. О картах, разумеется, не могло быть и речи.

День выдался солнечный и теплый, и молодежь веселилась от души. Рода, помня о новых жизненных перспективах, открывавшихся Солону, изощрялась перед ним в любезности и остроумии, чем повергла его в немалое недоумение. Не мог же он знать, что все это предназначалось не столько для его ушей, сколько для ушей Айры Паркера. Рода не преминула поставить этого молодого джентльмена в известность о том, что Уоллины специально привезли на этот день Бенишию из Филадельфии, а вечером заедут за ней и отвезут в свой даклинский дом.

Что касается Солона, то с той минуты, как появилась Бенишия, он уже ни о чем и ни о ком не мог думать. Она была так прелестна в своем бледно-голубом муслиновом платье, — настоящее воплощение весны. Ее личико, точно цветок, выглядывало из синего квакерского чепца, к корсажу был приколот букетик полураспустившихся роз. Из-под длинной, доходившей до щиколоток юбки порой мелькали серые с синим туфельки. Она приехала вскоре после полудня в сопровождении отца и матери, и Солон тотчас же вызвался показать ей дом и парк; впрочем, за ними увязалось еще несколько девушек и молодых людей. Бенишия от всего приходила в восторг; она помнила Торнбро обветшалым и заброшенным, каким оно было несколько лет назад, и изумлялась тому, что его удалось так хорошо восстановить.

В доме внимание Бенишии привлекли цитаты из Библии, выведенные на стенах.

— Ах, как мне нравятся здесь эти библейские тексты! — воскликнула она. — Кто это придумал?

— Придумал мой отец, — сказал Солон. — Но выбирать тексты помогала мама.

— И моя мама тоже, — ревниво поспешила вставить Рода, уязвленная нескончаемыми похвалами, которые Бенишия расточала по адресу Руфуса.

— Да, правда, — скромно подтвердил Солон. — Видишь ли, после смерти дяди Энтони тетушка Феба пожелала, чтобы мой отец взял на себя управление ее имениями, — только благодаря этому мы и попали в Даклу. Отец не хозяин здесь. Если бы не тетушка Феба, мы бы и мечтать не могли о том, чтобы жить в таком доме. А вообще он у нас в конторе числится как продажный, и любой, у кого хватит средств, может приобрести его.

Рода осталась очень довольна таким объяснением, как нельзя лучше, по ее мнению, обрисовывавшим суть отношений между семьями Барнсов и Кимберов. Но Бенишию неприятно кольнуло это явное желание Роды принизить своего двоюродного брата, тем более что, как не трудно было заметить, мать Роды больше всех выиграла от управительства Руфуса. Вслух Бенишия ничего не сказала, ничем не выдала своих мыслей, но Рода с этой минуты стала ей гораздо менее симпатична.

Солон недаром в последнее время усиленно читал «Дневник» Джона Вулмэна; он больше всего боялся показаться корыстным и себялюбивым и потому, как только они с Бенишией остались одни, вернулся к этому вопросу, желая представить себя и своих родителей в истинном свете.

— Знаешь, Бенишия, — начал он, — перед тем, как переехать в Даклу, мы жили на ферме в Сегуките, в простом деревенском доме. Да еще у отца была в городе небольшая фуражная лавка. Я не хочу, чтобы ты обманывалась относительно нашего положения. Мы действительно очень многим обязаны тетушке Фебе. Если нам так хорошо живется здесь, то лишь благодаря ее доброте и заботам.

Бенишия ответила не сразу.

— Не надо, Солон, — сказала она наконец с глубоким чувством в голосе. — Ты мне ничего не должен объяснять. Ты сам знаешь, как мы все к тебе относимся. У нас в доме очень часто говорят о тебе, и отец и мать. А я... — она запнулась и вся порозовела от смущения.

— Бенишия! — Голос Солона взволнованно задрожал. — Что — ты, Бенишия?

Но Бенишия молчала. Они приближались к берегу Левер-крика, а там, в тени раскидистого дерева, среди травы и цветов сидели Рода и Айра Паркер.

— Идите сюда, глядите, сколько здесь рыбок! — позвала их Бенишия; она остановилась на мостике, перекинутом через ручей, и смотрела, как бурлит вода у большого камня.

Но Рода продолжала начатый разговор.

— Когда дядя Руфус приехал сюда, — рассказывала она, обращаясь к Айре Паркеру, достаточно, впрочем, громко, чтобы Бенишия могла услышать ее, — ручей был полон тины, а дно все завалено камнями и корягами, но мама велела его вычистить, и вот теперь видишь, какой он стал красивый! Да, кстати, Солон, где те сачки, которые мама купила в Филадельфии? Принес бы ты их сюда, мы бы попробовали половить пескарей — это очень весело.

Сквозь прозрачную воду было отчетливо видно, как между островками водорослей снуют серебристые, серые, красноватые рыбки. Попадались и пескари и рыба покрупнее; одни проворно шныряли от островка к островку, другие словно дремали в тихо катящихся струях.

— Я сейчас сбегаю, — вызвался Паркер, вскочив на ноги. — Где они?

— Нет, я пойду сам, — сказал Солон. — Ты не найдешь. — И он бегом пустился к дому.

Через несколько минут он вернулся с сачками, дал по одному Бенишии, Роде и Айре Паркеру, а остальные положил на видном месте, на случай, если найдутся еще любители рыбной ловли. Бенишия перешла на другой берег, и Солон последовал за ней.

— Только не нужно надолго вынимать рыбок из ручья, — говорила она, наклоняясь со своим сачком над водой. — Я как поймаю, сейчас же брошу обратно. Это им пойдет на пользу: научатся быть осторожнее.

Солон рассмеялся.

— Хлопотливое занятие ты себе придумала — внушать пескарям осторожность! — заметил он.

Тут их окликнул один из гостей, юноша по имени Адлар Келлес. Он лежал на самом берегу чуть выше по течению. В руке у него был сачок, в котором билась довольно крупная рыба. Он выхватил ее из сачка и бросил на траву позади себя.

— Видали? — закричал он. — Окунек порядочный! Таких с десяток поймать — вот и ужин готов!

Бенишия едва не уронила свой сачок в воду.

— Ах, нет, нет! — взмолилась она. — Не надо! Пожалуйста, брось его назад, пока он еще жив. Ты все равно не станешь его есть!

Адлар Келлес пропустил бы мимо ушей эту просьбу, но к звенящему голоску Бенишии и ее хорошенькому личику он не мог остаться равнодушным.

— Ну, ну, ладно, — он вскочил на ноги, размахнулся и бросил рыбу в ручей. — Не такой уж я изверг, Бенишия Уоллин, честное слово. Просто окунь, говорят, очень вкусная рыба, ну, я и думал попробовать. А если тебя это так огорчает, пусть себе живет на здоровье.

Вид у него при этом был в самом деле смущенный и даже покаянный.

Рода и Паркер, с интересом наблюдавшие эту сцену, расхохотались.

— Зачем же тогда вообще ловить рыбу, если ты только смотришь на нее и бросаешь обратно? — спросила Рода, и Солон по своей природной честности должен был признать, что это замечание не лишено здравого смысла. Но Бенишия сделала вид, будто не расслышала, и Солон предложил ей переменить место, чтобы уйти подальше от Роды и ее замечаний. Они поднялись немного выше по течению ручья. Бенишия принялась высматривать в воде рыбок покрупнее, которым не причинил бы вреда ее сачок. Солон глядел на нее, взволнованный ее красотой, ее близостью, и ему вдруг неудержимо захотелось сказать ей о том, как она хороша и как дорога ему. Но тут, впервые в жизни, он словно лишился дара речи и беспомощно мямлил, не находя нужных слов.

— Мисс Бени... то есть Бенишия...

— Да, Солон? — Она оглянулась, словно желая подбодрить его. — Ты о чем? — Она вдруг увидела, что губы у него побелели и слегка дрожат. — Говори, Солон, говори все, что хочешь, ведь ты же знаешь, я... я... — Тут она осеклась, точно испугавшись собственных слов.

Как можно было так забыться, подумала она с ужасом. Где ее девическая скромность? Она похолодела, какая-то непонятная слабость охватила ее, и ей вдруг захотелось вскочить и убежать; но она видела перед собой эти дрожащие губы и понимала, что никуда не убежит. Никуда. Она глядела на него и думала: вот он, ее Солон, такой сильный, красивый, благородный, мужественный — и такой слабый сейчас, потому лишь, что он ее любит. Она не знала, как помочь ему. Но тут он заговорил, и в ту же минуту она почувствовала, как его рука сжала ее руку.

— Бенишия, — сказал он. — Бенишия, я люблю тебя. Может быть, мне не следовало говорить это, но я не могу иначе. Я робел перед тобой, но только потому, что боялся тебя обидеть. Если б ты знала, как я тосковал по тебе все это время, как мне тебя недоставало! Несколько раз я принимался писать тебе, но у меня не хватало мужества. И пусть даже я тебя больше никогда не увижу, я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя. Может быть, я тебе не нужен, но все равно я буду любить тебя всегда, всю жизнь.

Она стояла перед ним, склонив голову, и ему показалось, что она плачет. В испуге он воскликнул:

— Бенишия, прости, прости меня! Не сердись на мою дерзость!

— Что ты, Солон! Я плачу не потому, что сержусь. Я плачу от счастья, потому что я тебя тоже люблю. Разве ты не видишь? Мне кажется, я тебя всегда любила, с самой нашей первой встречи. Я люблю тебя, и я...

Но тут она увидела, что через мостик идут к ним Рода и Айра Паркер, и, оборвав себя на полуслове, поспешно наклонилась к воде, словно ее внимание привлекла какая-то рыба. Солон, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение, повернулся к подходившей парочке и сказал как можно небрежнее:

— Очень уж они тут пугливые.

Бенишия между тем выпрямилась и пошла к мостику. Что-то попало ей в глаз, сказала она; нужно промыть его чистой водой.

ГЛАВА XVII

В эту ночь Солон спал очень мало. Он проснулся в три часа, просыпался и в четыре, в пять; наконец в половине восьмого встал, оделся и вышел побродить в прохладе ясного июньского утра по тем местам, где вчера произошли столь важные для него события. Был День первый, и он знал, что завтрак будет не раньше девяти часов. Мать слышала, когда он вышел, и из своего окна видела, как он беспокойно кружит по лужайке. Она наблюдала за ним с тревогой: болен он, или какая-нибудь забота не дает ему покоя? Если бы только она могла помочь ему!

Солон между тем направился к мостику и, перебравшись через ручей, дошел до того места на берегу, где он сказал Бенишии, что любит ее. Какой трогательно юной она казалась в ту минуту, склонившись над водой с сачком в руке! И здесь же, в этом живописном местечке, у самой воды, среди июньских цветов, она призналась ему в ответной любви. Но что же делать теперь, когда их взаимное чувство перестало быть тайной для обоих? При нравах, царивших тогда в квакерской среде, нечего было и мечтать, чтобы семнадцатилетней девушке — да еще наследнице богатых родителей — позволили выйти за такого, как он, почти еще мальчика и без всякого положения в обществе! Он круто повернул и направился к дому — воспоминание слишком жгло его.

После завтрака он вместе со всей семьей отправился в Даклу, в молитвенное собрание. Может быть, господь укажет ему путь. И Бенишии тоже. Но, войдя в дом, он сразу же заметил, что Уоллинов нет среди собравшихся. Вероятно, они вернулись в Филадельфию. Уж не рассказала ли Бенишия родителям? Уж не увезли ли ее нарочно? В зале стояла тишина, желающих встать и обратиться со словом к присутствующим пока не находилось, и Солон, сидя в уголке, тоскливо размышлял о своем.

Наконец один из мужчин нарушил затянувшееся молчание.

— Господь велит мне поделиться с вами такими мыслями, — начал он. — Кто верит в чистоту и справедливость своих помыслов, каковы бы они ни были, пусть уповает на творца, ибо он не даст ему сойти с пути истины. Не сказано ли в Евангелии от Иоанна, глава четырнадцатая, стих тринадцатый: «И если чего попросите во имя мое, то сделаю». И далее: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди».

Солон подумал о том, как мало подходит внешний облик говорившего для роли проповедника слова божия. Оливер Стоун, местный торговец скобяным товаром, был малорослый седой человек с изборожденным морщинами лицом. Правое плечо у него поминутно дергалось от нервного тика. И все же к словам, произнесенным этим человеком, Солон, думавший о своем, отнесся с величайшей серьезностью и вниманием; казалось, они недаром прозвучали именно сейчас, когда у него было так тяжело на душе. Он сразу приободрился, даже мать, наблюдавшая за ним с дальней скамьи, заметила это и порадовалась за него.

Но на следующее утро, по дороге в контору, он снова с тревогой задумался о тех последствиях, которые могли иметь его объяснение в любви и ответное признание Бенишии. Обычно по утрам он заходил на почту за корреспонденцией. На этот раз он зашел туда с тайной мыслью, что, может быть, найдет весточку от Бенишии или письмо от Джастеса Уоллина с суровой отповедью за то, что он осмелился говорить дочери Уоллина о своих чувствах. Но среди немногих писем, адресованных конторе, он не нашел ни одного на свое имя; зато был там запрос от какого-то фермера об условиях получения ссуды в пятьсот долларов, — Солон знал, что этот запрос очень порадует и Уоллина и отца.

У самой конторы Солона остановил Мартин Мейсон, председатель правления единственного даклинского банка, который вот уже двадцать лет вел все дела с окрестными фермерами и торговцами. После обычных приветствий и расспросов о здоровье отца и матери Солона Мейсон вдруг выступил с неожиданным предложением: не согласится ли Солон перейти на службу в его банк, на должность главного конторщика и помощника кассира с окладом двадцать пять долларов в неделю. Мейсон умолчал о том, что его все больше и больше беспокоит деятельность содружества Барнс — Уоллин, вторгавшегося в сферу влияния банка там, где дело касалось ссуд и закладов. Однако он заявил без обиняков, что и Руфус мог бы найти у него работу на более выгодных условиях, чем те, которые он имеет у Уоллина.

Солон, чрезвычайно удивленный этим разговором, поблагодарил и сказал, что не может пока дать определенного ответа и тем более не берется говорить за отца, но непременно попросит его зайти к мистеру Мейсону. На всякий случай юноша все же упомянул о глубокой признательности, которую он и его отец питают к мистеру Уоллину, так много сделавшему для них обоих.

Нужно сказать, что как раз в это время сам Уоллин, чрезвычайно довольный успехами предприятия Барнс — Уоллин и усердием Солона, немало способствовавшим этим успехам, подумывал о том, чтобы повысить Солону жалованье до двадцати долларов — что, по всей вероятности, немало удивило и смутило бы Солона, если бы он об этом знал. Таким образом, несмотря на все тревоги и опасения, обстоятельства складывались для него самым благоприятным образом, а на следующий день он получил от Бенишии письмо, в котором она сообщала, что, пораздумав, решила ничего пока не говорить родителям об их взаимной любви, и просит его тоже хранить молчание впредь до получения от нее новых вестей.

ГЛАВА XVIII

Когда Солон передал отцу свой разговор с мистером Мейсоном, Руфусу прежде всего пришло в голову, что не худо бы как-нибудь довести содержание разговора до сведения Уоллина, — это может пойти на пользу и ему и сыну. А потому он решил повидать Мейсона и устроить так, чтобы тот повторил свое предложение в письменной форме. Такое письмо вполне естественно будет показать мистеру Уоллину, разумеется, дав при этом понять, что ни у Солона, ни у самого Руфуса нет ни малейшего желания нарушать ныне существующее благотворное содружество.

Не откладывая дела в долгий ящик, Руфус назавтра же отправился к Мейсону, и результатом их свидания явился обстоятельный документ, содержащий все предлагаемые условия: Солону — двадцать пять долларов в неделю жалованья, а Руфусу — пятнадцать процентов комиссионных с каждой сделки, заключенной им в интересах банка Мейсона.

Между тем Уоллин, который давно уже считал, что Солон заслуживает прибавки к жалованью, именно в этот день решил объявить ему приятную новость. Застав юношу в конторе одного, он ласково приветствовал его:

— Здравствуй, Солон, ну, как дела? Отец и мать здоровы? Моя дочка в таком восторге от своей поездки в Торнбро, что только об этом и говорит.

И тут же, выслушав от Солона выражения признательности, перешел к разговору о делах.

После этого обмена любезностями перспектива перейти на службу к Мейсону показалась Солону еще менее заманчивой, и в то же время он почувствовал, что нельзя ни минуты скрывать от Уоллина полученное предложение. Что, если сейчас войдет отец и, прежде чем Солон успеет рот раскрыть, положит перед Уоллином письмо Мейсона? Нет, нет, нужно без промедления, не дожидаясь прихода отца, все рассказать самому.

Уоллин, услышав новость, ничуть не рассердился; но это подтолкнуло его принять решение, которое с недавних пор зрело в его мозгу. Речь шла о том, чтобы перевести Солона на работу в банк Уоллина в Филадельфии, где юноша мог бы серьезно изучать банковское дело к выгоде своего хозяина. Времена менялись, развитие страны шло полным ходом, все виды коммерческой деятельности процветали, и хотя Уоллин, по его собственному убеждению, сумел окружить себя толковыми и преданными людьми, все же Солон своей энергией и добросовестностью выделялся среди прочих. Ведь вот и Мейсон, несомненно, разглядел в нем человека многообещающего. А Руфус, надо думать, согласится на такое предложение; в конце концов подыскать кого-нибудь на место Солона в даклинской конторе не составит особого труда.

Всеми этими соображениями Уоллин тут же поделился с Солоном, и того совершенно ослепил блеск открывшихся перед ним перспектив — увеличение жалованья, место в банке Уоллина, а главное, переезд в Филадельфию и возможность хотя бы изредка видеться с Бенишией. Все эти и еще многие другие мысли вихрем закружились у него в голове.

И вот, после совещания с Руфусом, сразу же одобрившим этот план, было решено, что Солон переходит на работу в филадельфийский банк, на жалованье в двадцать пять долларов плюс путевые расходы, а Руфус остается единоличным представителем всех интересов фирмы Уоллина в Дакле.

Теперь, казалось Солону, самые его безумные мечты, связанные с Бенишией, близки к осуществлению. И он решил тотчас же написать ей в Окволд о неожиданно привалившей ему удаче.

ГЛАВА XIX

В то самое время, когда Солон обдумывал свое послание к Бенишии, Ханна Барнс получила от нее письмо — обычную предусмотренную долгом вежливости благодарность за радушный прием; но письмо это, обращенное ко всем гостеприимным обитателям усадьбы, должно было послужить для Солона одному ему понятным знаком того нового и глубокого чувства, которое зародилось в душе Бенишии и которое — хотя он все еще не решался в это поверить — волновало и смущало ее ничуть не меньше, чем его самого смущала и волновала его любовь.

Как много значила для девушки ее душевного склада встреча с таким юношей, как Солон, сильным и крепким, серьезным и вдумчивым, — все эти качества выгодно отличали его от прочей молодежи, увивавшейся вокруг Бенишии с тех пор, как она вышла из детского возраста! С ней и с другими девушками он был всегда вежлив, скромен, даже застенчив; зато когда дело касалось игр или спорта, никто не мог соперничать с ним в силе и проворстве. Как ловко он разорвал тогда вереницу, чтобы оказаться в нужный момент подле нее и не дать ей упасть. А потом, на берегу Левер-крика, когда он заговорил о своей любви к ней, она видела у него на глазах слезы; ведь именно эти слезы, это подавленное рыдание, помешавшее ему говорить, и заставили ее расплакаться в ответ, именно тогда она и поняла, что любит его всей душой. Все та же крайняя застенчивость мешала ему, вероятно, и написать ей, тем более что он ведь — служащий ее отца; а между тем она знает, что и отец ее и мать относятся к Солону очень хорошо. Правда, настолько ли хорошо, чтобы принять его в качестве жениха или будущего мужа для своей дочери, — это уже особый вопрос. И потому письмо Бенишии, где она благодарила за гостеприимство родителей Солона и его самого, Синтию и миссис Кимбер с дочерьми, было написано крайне осторожно. Вот это письмо:

«Дорогие друзья!

Спасибо за прелестный день, который я и все мы провели в Торнбро благодаря вам, вашей сестре Фебе Кимбер и ее дочерям, моим милым подругам Роде и Лоре, и, конечно, вашим детям, Солону и Синтии. В моей памяти навсегда сохранится и ваш прекрасный дом, и красивые берега Левер-крика, и все наши игры и развлечения, особенно ловля рыбок сачками, которой учил меня ваш сын Солон. Право же, это был один из самых чудесных дней в моей жизни.

Папа и мама просят передать, что им было очень приятно встретиться с вами снова и что они надеются видеть вас обоих, Солона, Синтию, а также миссис Кимбер и ее девочек у нас, в Дакле, в наш следующий приезд туда.

Искренне ваша *Бенишия Уоллин*».

Письмо было показано семейству Кимбер и произвело на Роду и Лору очень сильное впечатление. Правда, они предпочли бы, чтобы Уоллины пригласили их непосредственно, а не через Барнсов, но в конце концов приглашение все же получено — а это главное.

Сердце у Солона радостно билось, когда он читал то место письма, где упоминалось о нем, но его все время тревожила мысль, что глубокая взаимная любовь, в которой они признались друг другу, едва ли встретит одобрение со стороны родителей Бенишии. И потому, сообщая ей о выпавшей на его долю удаче, он тут же поспешил предостеречь ее от каких-либо слов или поступков, которые могли бы вызвать подозрение ее отца и матери. Он писал:

«Бенишия, дорогая!

Как ни велика моя любовь к тебе и мое желание тебя увидеть, я все же боюсь, что если ты сейчас станешь говорить обо мне с родителями или выказывать мне особое внимание, это может повредить нам обоим. Поверь, мне очень тяжело принять такое решение — особенно теперь, когда я знаю, что ты меня тоже любишь, и я день и ночь думаю только о тебе.

Я решил, что ездить каждый день в Филадельфию и обратно слишком сложно и неудобно. Лучше, если удастся снять комнату в Филадельфии, где-нибудь поближе к банку твоего отца, и возвращаться в Даклу только на День седьмой и День первый. Я тебе сообщаю об этом для того, чтобы ты знала, что если у тебя возникнет желание написать мне как-нибудь на неделе, ты сможешь послать письмо на мой филадельфийский адрес. Мне кажется, в этом нет ничего дурного, как нет ничего дурного в том, что я пишу тебе в Окволд. Если ты согласна, давай поддерживать переписку таким путем, хотя бы пока твой отец не убедится, что я чего-то стою.

Ах, Бенишия, как еще долго нам ждать, а я так люблю тебя! Пиши мне сюда, в Даклу, пока я не дал тебе другого адреса. И пожалуйста, напиши поскорее, хорошо?

Твой Солон».

Спустя несколько дней он получил ответ:

«Дорогой мой Солон!

Меня так порадовало твое чудесное письмо и известие о том, что ты переедешь в Филадельфию и будешь работать здесь в банке. Ведь все, что я тебе сказала на берегу Левер-крика, — правда. Я люблю тебя, и мне очень-очень хочется поскорее тебя увидеть. Мне кажется, когда ты будешь жить в Филадельфии, ты вполне сможешь бывать у нас в доме; я просто буду приглашать тебя. Попробую устроить, чтобы тебя позвали к нам на обед. Вот было бы чудно!

Солон, я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя всем сердцем и всегда буду любить. Я теперь молюсь за нас обоих. Помолись же и ты о том, чтобы господь даровал нам счастье.

Любящая тебя *Бенишия*».

Нужно ли говорить, что в этом письме, полном нежности и желания ободрить того, к кому оно обращено, Солон видел доказательство неизменной любви Бенишии. Оно пришло в тот самый день, когда он собирался в Филадельфию, чтобы в первый раз явиться в банк. Он еще раньше сказал матери, что думает для экономии времени снять комнату в Филадельфии, и с огорчением заметил, как она сразу изменилась в лице. Было ясно, что в этом новшестве она почувствовала надвигающуюся утрату. Все эти годы, с первого своего дыхания, он принадлежал ей, и вот теперь жизнь отнимала его у нее.

Перед тем как уйти, Солон обнял мать и, целуя ее шелковистые щеки, попытался найти слова утешения.

— Мама, ты знаешь, как я люблю тебя. Мы ведь не расстаемся по-настоящему, это будет все равно, как если бы я продолжал работать в конторе мистера Уоллина здесь, в Дакле. Чуть только работа позволит, я буду приезжать домой. Ты знаешь, что я никогда с тобой не расстанусь, пока мы оба живы.

И в знак своей глубокой сыновней привязанности он все целовал и целовал ее, так что в конце концов она улыбнулась и сказала:

— Да, да, я знаю, Солон. Не обращай внимания. Конечно, ты должен переехать. Ты должен поступать так, как для тебя лучше. Мы с отцом оба так думаем. — И, отстраняя его от себя, она прибавила: — А теперь спеши, иначе не попадешь сегодня в

Филадельфию. И возвращайся, когда тебе будет удобно, — сегодня, так сегодня, через неделю, так через неделю. Делай так, как тебе кажется лучше. До свидания, сынок. Я буду ждать тебя.

ГЛАВА XX

Торгово-строительный банк был одним из самых старых банков Филадельфии, и к тому времени, когда накопленный капитал позволил Уоллину встать во главе его, насчитывал уже семьдесят лет существования. Люди, причастные к делам банка, составляли цвет местного общества и городских финансовых кругов. В их числе были двое дядей Корнелии Уоллин и несколько человек, доводившихся родней Джастесу.

Как большинство банков, основанных на заре существования республики, Торгово-строительный банк был создан с определенной целью: воспользоваться правом эмиссии денежных знаков, которым так называемое демократическое правительство столь великодушно наделило тогда своих фаворитов, или, вернее сказать, своих хозяев — представителей олигархии того времени. Еще в 1811 году семеро филадельфийцев, семеро хладнокровных, дальновидных дельцов, среди которых были и квакеры, услыхали об издании «Акта о банковских привилегиях», которым любому достаточно солидному банку разрешался выпуск ценных бумаг на сумму, в три раза превышающую его основной капитал. На основании этого акта упомянутая семерка тут же и выпустила примерно на четыреста тысяч долларов банкнот, а затем стала ссужать их под неслыханные проценты изголодавшимся спекулянтам всех мастей, рыскавшим по стране в поисках выгодного и надежного помещения капитала.

Эта блестящая идея имела один только недостаток: она породила чрезмерное обилие разного рода «золотых миражей» и в результате свелась к ограблению широкой публики. Дело кончилось финансовым крахом, и банки Филадельфии были вынуждены закрыть свои двери, причем не только те, что были зачинщиками этой погони за наживой, но и многие другие, которые вели свои дела честно. Не избежал общей участи и «почтенный» Торгово-строительный банк. Вкладчики и акционеры лишились своих денег, и, что хуже всего, Торгово-строительный прибегнул к помощи полицейских властей города и штата, чтобы избавиться от наседавших кредиторов.

Вполне понятно, что после этого события название «Торгово-строительный банк» на долгие годы сделалось синонимом недобросовестности в делах, а имена руководителей банка произносились многими не иначе как с гневом и отвращением. Однако это не был окончательный крах, так как с течением времени большинство вкладчиков все же получили свои деньги. Претензии прежних акционеров тоже мало-помалу были удовлетворены. Во главе правления встали новые люди, которые сумели лучше повести дело, и в конце концов если не все, то во всяком случае многие жители Филадельфии поверили, что в основе прежних неудач лежал не злой умысел, а неумелое руководство. Именно тогда отец Джастеса Уоллина, владевший еще до краха солидным пакетом акций банка, посоветовал сыну вступить в дело, переписав на себя отцовские акции и прикупив к ним еще немного. Джастес, в то время молодой человек, довольно успешно занимавшийся страховыми операциями, не преминул воспользоваться советом отца и вскоре благодаря своей безукоризненной деловой репутации и уважению, которым он пользовался в квакерской среде, занял руководящее положение в правлении Торгово-строительного банка. Родственники и единоверцы служили ему постоянной и надежной опорой во всех его начинаниях. Ко времени его знакомства с Руфусом и Солоном это был уже очень богатый человек, отличавшийся религиозностью и консерватизмом убеждений и не чуждый заботы о благе человечества в целом.

Нынешние директора и руководители Торгово-строительного банка являли собой довольно любопытный подбор людей. Председатель правления, Эзра Скидмор, чем-то напоминал дом, в котором помещался банк, — солидную постройку, носившую на себе отчетливые следы времени. Это был высокий, угловатый мужчина, с большой, массивной головой и пышными, седеющими бакенбардами; гладко выбритая длинная верхняя губа придавала его облику нечто пасторское. Человек холодный и суровый, он обладал раз навсегда сложившимися воззрениями на порядок вещей в этом мире и тонким чутьем дельца, чей интерес к вкладчикам и ссудополучателям никогда не идет дальше сведений об их материальном положении, религиозных взглядах и добропорядочности; судьба денег, выдаваемых из окошечка кассы, его не занимала. Он был квакером, и к представителям иных религиозных толков относился без особого доверия. Однако, будучи обязан своей карьерой не только собственным усилиям, но и покровительству со стороны, он предпочитал держать свои религиозные убеждения при себе.

Адлар Сэйблуорс, вице-председатель, был чистенький, вежливый, очень жизнерадостный толстячок лет пятидесяти пяти, не такой заядлый рутинер, как Скидмор, но тоже из тех людей, которые всегда поступают сообразно требованиям и воззрениям своего круга. Он был отпрыском старинного, хоть и захудалого, рода и принадлежал к епископальной церкви. В отличие от Скидмора он состоял членом нескольких клубов, и имя его значилось в списках попечителей разнообразных учреждений — колледжей, богаделен и тому подобное. На этом основании он считал себя полезным членом общества и старался безукоризненным костюмом и изысканностью манер снискать себе славу его украшения. Он благоговел перед такими финансовыми тузами, как Сэйдж, Гулд, Джей Кук и Вандербильт. Он искренне считал их людьми гениальными, и его заветной мечтой было личное знакомство с кем-либо из них — хотя бы самое кратковременное. Недавно на его долю выпала честь в отсутствие мистера Скидмора принимать министра финансов Соединенных Штатов, прибывшего в Филадельфию по какому-то важному делу.

Эйбел Эверард, главный бухгалтер банка, незадолго до описываемых событий введенный в состав правления, являлся человеком иного склада. Он был далеко не так богат и не занимал такого положения в обществе, как остальные, и тем не менее можно было ожидать, что он опередит всех прочих на жизненном пути. Этот человек поистине обладал талантом наживать деньги, только его время еще не пришло. Его личное состояние пока не превышало сотни тысяч долларов, но он поставил себе целью сделаться миллионером и тем подняться над уровнем мира тихого благополучия, представителями которого являлись Скидмор и Сэйблуорс. Он был лишен иллюзий в области морали, хоть и казался личностью высокоморальной, и не обладал пышной родословной, но это не смущало его. Новая пора расцвета, наступавшая в сфере финансов и коммерции, пока что занимала его мысли больше, чем успехи в обществе.

Однако в банке влияние Эверарда было невелико. Он владел всего двадцатью пятью учредительными акциями и лишь несколько месяцев состоял в правлении. Но это был человек недюжинной воли и характера, и методы руководителей банка казались ему чересчур консервативными; по его мнению, они недостаточно использовали все законные пути и возможности обогащения.

И в самом деле, многие другие банки обгоняли Торгово-строительный на этом поприще, но делалось это такими способами, которые еще несколько лет назад показались бы предосудительными. Страной уже овладевала новая горячка спекуляций, подобная той, которая охватила ее на заре существования республики. Предприимчивые дельцы добивались в муниципалитетах концессий на водопровод, газоснабжение, эксплуатацию городских железных дорог и извлекали из них неслыханные доходы. Банки тоже вступали в эту игру, выдавая ссуды под дополнительное обеспечение и в чаянии крупных прибылей широко рискуя средствами своих вкладчиков. На Уолл-стрит шла спекуляция вовсю. Но правление Торгово-строительного банка не хотело иметь со всем этим ничего общего. Здесь предпочитали более надежные формы помещения капитала: ренту, паи в торговом судоходстве, привилегированные акции и облигации процветающих корпораций. Дивиденды при этом получались скромнее, чем от более рискованных предприятий, но зато тут можно было считать наверняка. Торгово-строительный ни на какие модные ухищрения не пускался — это было учреждение солидное и сверхреспектабельное.

ГЛАВА XXI

Торгово-строительный банк помещался в большом, красивом здании, внутренняя отделка которого соответствовала его внешнему виду. Оно было выстроено лет сорок назад, когда новые владельцы пришли на смену тем, кто довел банк до краха, и эти новые владельцы решили, что пышность обстановки поможет восстановить доверие клиентуры. Вот почему, когда Солон с рекомендательным письмом в кармане впервые переступил порог этого здания, он был поражен роскошью, представившейся его глазам.

Прежде всего он увидел нечто вроде клетки из полированного дуба, в которой сидели кассиры и их помощники, а также счетоводы и бухгалтеры. В глубине находились кабинеты председателя и других должностных лиц, о чем свидетельствовали прибитые к дверям таблички. Облицованные голубовато-серым мрамором стены были прорезаны высокими окнами, из которых на пол, выложенный голубыми и белыми плитками, падали полосы света. Огромные позолоченные газовые люстры спускались с необычайно высокого потолка. Солон даже растерялся немного, подавленный всем этим великолепием.

Однако он тут же вспомнил о письме и о том, зачем пришел сюда. Кассир у одного из окошечек на вопрос, где можно найти мистера Сэйблуорса, буркнул: «С той стороны, третья дверь направо». Солон постучал в указанную дверь, и ему отворил какой-то юнец в форменной куртке. Услыхав, что посетитель явился к мистеру Сэйблуорсу с письмом от мистера Джастеса Уоллина, юнец сразу утратил свое высокомерие и пригласил Солона войти.

— Мистер Сэйблуорс еще не приходил, — сказал он. — Но, вероятно, скоро будет. Присядьте, пожалуйста.

И он указал на глубокие, удобные кресла, расставленные вдоль полированной перегородки напротив двери. Солон сел и принялся рассматривать комнату, красивые лампы, полированное дерево панелей. Потом его мысли вернулись к письму Уоллина; это письмо было вручено ему незапечатанным, чтобы он мог ознакомиться с его содержанием. Письмо было написано в самом доброжелательном тоне и гласило следующее:

«Друг Сэйблуорс!

Это письмо передаст Вам Солон Барнс, тот молодой человек, о котором мы уже беседовали. Он вместе со своим отцом работал у меня в даклинской страховой и посреднической конторе и выказал себя человеком очень способным и заслуживающим всяческого доверия. Буду весьма признателен, если Вы позаботитесь о том, чтобы он мог ознакомиться с различными видами банковских операций, а затем уже мы вместе с ним решим, подходит ли ему работа в банке, и если да, то какая именно.

С искренним уважением *Уоллин*».

Солон не прождал и десяти минут, как дверь распахнулась и в комнату вошел человек, в котором он тотчас же угадал мистера Сэйблуорса, — невысокого роста толстяк с круглым, румяным лицом. При виде Солона он остановился и вопросительно поднял брови. Солон поспешил встать ему навстречу и, вынув из кармана письмо Уоллина, сказал:

— Мистер Сэйблуорс, меня зовут Солон Барнс. Я работал у мистера Уоллина в Дакле; вот письмо от него.

— Ах, да, да, — живо отозвался Сэйблуорс, взяв письмо. — Что ж, пройдемте ко мне. — И он ввел Солона в просторную, богато обставленную комнату, где тотчас же уселся за стол и углубился в чтение письма. Дочитав до конца, он критически оглядел Солона, как бы прикидывая, чего от него можно ожидать, затем сказал: — Из этого письма я заключаю, что вам должен быть предоставлен широкий выбор в смысле работы. Вы могли бы приступить сегодня же?

— Вот не знаю, как вам сказать. Я, видите ли, живу в Дакле и предполагал каждый день ездить сюда. Но теперь я вижу, что на это потребуется очень много времени, а потому я подумал, не лучше ли будет снять комнату здесь, в Филадельфии, где-нибудь неподалеку от банка. Так, может быть, мне сначала устроиться с комнатой, а потом уже вернуться сюда и приступить к работе — скажем, в час дня. Вы не возражаете?

— Пожалуйста, как вам удобнее, — сказал Сэйблуорс. — Можете взять даже целый день на устройство своих дел. Все равно, жалованье вам пойдет с сегодняшнего числа. Кстати, к северу отсюда, — он указал рукой направление, — есть много пансионов и меблированных комнат, и цены, я слыхал, недорогие. Поищите там. Это близко и от вокзала и от делового центра города. Дома там, конечно, старые, без удобств, но многие из коренных филадельфийских жителей и сейчас предпочитают этот район.

Он ласково улыбнулся Солону; видно было, что юноша понравился ему и своей наружностью и манерой держаться.

— Я вас не спрашиваю, знакомы ли вы со счетоводством. В конторе мистера Уоллина вам, вероятно, приходилось заниматься такими вещами. Все же, я думаю, лучше всего вам будет начать именно с бухгалтерии. Она у нас находится в ведении мистера Эверарда. Но дело, конечно, терпит до завтра, — заключил он свою речь. — А я тем временем поговорю с мистером Эверардом и попрошу его что-нибудь подготовить для вас.

Он поднялся, позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, взяв Солона под руку, дошел с ним до дверей.

— Проводите мистера Барнса, — ласково сказал он мальчику-рассыльному, явившемуся на звонок.

Шагая по улице, Солон перебирал в памяти все подробности происшедшей с ним удивительной перемены: от рекомендации Уоллина до любезного приема, оказанного ему в банке. Потом его мысли вернулись к письму Бенишии, лежавшему у него в кармане. Он вынул и снова перечитал письмо. И вдруг тревога сдавила ему сердце: что, если он потеряет ее? Может быть, он поспешил с решением поселиться в Филадельфии? Может быть, лучше не торопиться, выждать? Смущенный этими мыслями, он повернул к вокзалу и как раз вовремя поспел к поезду, отходившему в Даклу. И в течение всей недели он каждое утро, поездом в 7.45, ездил в Филадельфию, а вечерним, в 5.35, возвращался домой.

Вечером Дня седьмого, приехав в Торнбро, он застал там письмо от Бенишии с приглашением на обед к Уоллинам в их филадельфийский дом. Обед этот должен был состояться в следующий День седьмой — то есть через неделю. «Тогда, — писала Бенишия, — мы и обсудим, снимать ли тебе комнату в Филадельфии. Отец очень интересуется твоими успехами в банке; кстати, это он сам предложил пригласить тебя к нам на обед».

Итак, он снова увидит свою дорогую Бенишию. И ее родители настроены к нему благосклонно. Сам Уоллин предложил пригласить его на обед! Как отблагодарить бога за такую милость!

Это был первый из многих вечеров, которые Солону предстояло провести в доме Уоллинов. Радушный прием, оказанный ему мистером и миссис Уоллин, позволял надеяться, что отныне в той жизни, которую они вели в Филадельфии, найдется и для него хотя бы скромное местечко. Что же до плана Солона поселиться в городе, неподалеку от банка, то мистер Уоллин вполне одобрил эту мысль и даже дал ему адрес одного квакерского семейства на Джонс-стрит, сдававшего комнаты. Солон на следующий же день отправился по этому адресу и благодаря рекомендации Уоллина получил там уютную, чистенькую комнатку за скромную плату в четыре доллара в неделю.

— Приходи к нам опять, будем рады тебя видеть, — сказал ему мистер Уоллин на прощанье.

Лишь несколько мгновений удалось Солону побыть наедине с Бенишией, и все же он проникся уверенностью, что любовь их обрела прочную и надежную основу. Взгляд темных, выразительных глаз Бенишии сказал ему больше, чем могли сказать

слова. Он ушел, окрыленный радостью, с твердым намерением показать себя достойным того огромного счастья, которое выпало ему на долю.

ГЛАВА XXII

С каждым днем Солон все больше и больше входил во все детали банковского дела, но, верный себе, он при этом склонен был видеть во всем проявление божественного промысла. Ему трудно было свыкнуться с роскошью окружавшей его обстановки, и тем более — с мыслью об огромных средствах, которыми ворочал банк и которые составлялись из сбережений сотен и сотен вкладчиков. В его глазах забота о сохранности этих средств была священным долгом.

Для Солона — хоть он и не сумел бы выразить это словами — жизнь представляла ряд закономерных частностей, смысл которых был в том, что каждая из них несла в себе крупицу божественной воли. Честность — богом заповеданное свойство. Женская добродетель — выражение прекрасных основ миропорядка. Разумеется, Солон никогда не видел и не мог даже вообразить себе женщины, которая была бы не добродетельна. Он знал, что в мире существуют грех и порок, но, помня то, чему его учили с детства, твердо верил, что всякий запутавшийся в тенетах зла поплатится за это, если не в здешнем мире, так в будущем. Может быть, он и не представлял себе эту расплату в виде геенны огненной, но все же, при всей полноте своих квакерских убеждений, склонялся к мысли, что существует такое место, где грешники несут заслуженную кару. Он с уважением относился к христианской церкви вообще, видя в ней силу, противостоящую язычеству, однако религиозные верования и учения других сект казались ему бессодержательными. Только в религии Джорджа Фокса и Джона Вулмэна он видел спасение от всех бед земных.

Неудивительно, что молодой человек подобного склада внушал уважение даже своим начальникам. Его открытое, честное лицо с большим ртом, коротким носом и ясными иссиня-серыми глазами носило на себе отпечаток какой-то одухотворенности — по крайней мере такое впечатление он производил на окружающих. Все в нем говорило о готовности прилежно трудиться над порученным ему делом. Квакерская манера его речи звучала приятно для слуха. Квакеров много было и среди служащих и среди вкладчиков банка, да и вообще в Филадельфии, но искреннее благочестие Солона выделяло его из общей массы.

Для начала ему поручили обработку материалов, косвенным образом связанных со ссудами, которые банк выдавал компаниям и частным лицам. На основе этих материалов составлялся своего рода финансовый справочник. Это была идея Эверарда — для собственного удобства и в интересах банка собирать и систематизировать всякого рода финансовую информацию: о сделках по недвижимости и торговых операциях, о продаже акций и облигаций, об управлении наследственным имуществом, — одним словом, все, что могло оказаться полезным для расширения деятельности банка. Сюда же он относил газетные объявления о браках и смертях и разные другие сведения, касавшиеся лиц, которые играли видную роль в финансовой жизни страны. Кто знает, говорил он, как все это когда-нибудь может сказаться на делах банка. Особым его вниманием пользовались некоторые филадельфийские корпорации — их рост, их история, отраженная в судебных документах и газетных сообщениях. Все это нужно было тщательно сортировать, наклеивать и подшивать. До сих пор мистер Эверард делал это сам с помощью то одного, то другого из служащих банка; но теперь он решил все передать Солону.

Кроме того, по субботам, в самые горячие утренние часы, Солон помогал одному из кассиров проверять счета и документы, принимать вклады и выдавать деньги. Первое время это нравилось ему больше, чем работа в отделе кредитов. Здесь он имел дело с живыми людьми, привыкал к именам, подписям, лицам вкладчиков. Это словно бы подводило его ближе к существу банковского дела. Но довольно скоро он понял, что это работа чисто механическая, незначительная, которая для способного человека должна служить лишь ступенькой к операциям более серьезным.

Время шло, и банковское дело все больше и больше увлекало Солона. Стремясь быстрее освоиться со своей новой профессией, он стал аккуратно читать «Банковский еженедельник» и нередко по вечерам уносил домой книгу образцов подписей и пачки аннулированных чеков, чтобы на досуге хорошенько вникнуть во все тонкости.

Нашел он себе и еще занятие: обходить по очереди все городские районы и знакомиться с различными домовладениями и земельными участками. Отчасти это интересовало его лично, поскольку его сбережения уже порядком округлились к этому времени, а кроме того, он хотел быть осведомленным на случай, если под какое-либо из этих владений захотят получить в банке ссуду и начальство поручит ему произвести оценку.

В одно из таких странствований, проходя по незнакомой улице, Солон вдруг заметил двоих людей, занятых чем-то, что на первый взгляд могло показаться упражнением во французской борьбе. Однако когда Солон остановился посмотреть на них, один из боровшихся вдруг поднял крик.

— Караул! Полиция! Грабят! — вопил он.

Поняв, что на его глазах совершается преступление, Солон перебежал улицу и поспешил на помощь к тому из двоих, которому, по всей видимости, приходилось худо: противник вцепился в него мертвой хваткой. Наконец Солону удалось заставить

нападавшего выпустить свою жертву, и тотчас же освобожденный человек вскочил и бросился бежать со всех ног. Солон меж тем крепко ухватил преступника за ворот, чтобы тот не мог вырваться, — но каково же было его удивление, когда на него посыпались гневные упреки:

— Чего ты в меня вцепился, болван? Ведь это он меня ограбил! Да еще избил так, что на мне живого места нет, — вот, посмотри сам!

— Послушай, друг, — возразил ему Солон почти ласково, — я тебя поймал за нехорошим делом, и теперь тебе придется пойти со мной.

Тут на месте происшествия появился полисмен, услыхавший со своего поста шум и крики. Он схватил Солона за плечо и грозно спросил:

— В чем дело? Что здесь происходит? Кто звал полицию?

— На меня напал грабитель, — пояснил человек, которого держал Солон, — а вот этот болван, не знаю, откуда он взялся, не только помог вору удрать, но вдобавок вздумал еще меня же задерживать!

Услышав это, полисмен повернулся к Солону.

— Это что же значит? Кто вы вообще такой? Я этого человека знаю. Он служит приказчиком в бакалейной лавке за углом. А вы кто? Как ваша фамилия? Пойдемте-ка со мной. — Затем, обращаясь к негодующей жертве ограбления, он спросил: — Много денег у вас вытащили, Джон?

Солон, совершенно сбитый с толку этой неожиданной переменой ролей, воскликнул:

— Послушайте, инспектор, моя фамилия Барнс. Я работаю в Торгово-строительном банке. Я шел по улице, услышал крики и поспешил на помощь, вот и все.

— Хороша помощь! Я схватил вора, а этот дурак заставил меня выпустить!

Джон весь трясся от злости.

— Ну вот что, вы оба ступайте со мной в участок, там разберемся, — решил полисмен.

Солон стал объяснять, что, по-видимому, ошибся, приняв грабителя за ограбленного. Если вор, которому он помог уйти, украл у этого человека деньги, он готов возместить потерю. Кончилось тем, что все трое вместе отправились в банк; там установили личность Солона, и он отсчитал мистеру Джону Уилсону десять долларов, после чего полисмен удалился. Тем и закончилось это приключение, послужившее Солону уроком — впредь быть умнее и не всегда верить собственным глазам.

Но это был не единственный урок, полученный им во время его странствований по городу. Волей-неволей он видел много такого, что тяжелым камнем ложилось ему на душу: целые кварталы, населенные беднотой, публичные дома, где открыто и нагло процветал разврат, притоны и кабаки, теснившиеся на каждом перекрестке и привлекавшие к себе самые подонки человеческого общества.

В Дакле Солону почти не приходилось сталкиваться с подобными явлениями. Отец его был из тех людей, которые жалеют слабых и незадачливых, но предпочитают держаться от них подальше. Так же примерно относился к ним и Солон, только с бо́льшим сочувствием. Вот почему он очень болезненно воспринимал эти новые для него стороны городской жизни; в то же время в нем крепла уверенность, что лишь твердо опираясь на заветы религии, можно избежать тех бедствий, которые подстерегают безбожника.

ГЛАВА XXIII

Между тем в семье Уоллинов к Солону относились все благосклоннее и благосклоннее. Как раз такого молодого человека давно мечтал подыскать Уоллин, таким он сам был — или воображал, что был, — в молодости. И хоть он вовсе не торопился выдать дочь замуж, он мало-помалу привык смотреть на Солона, как на идеального мужа для нее. Конечно, в смысле достатка и общественного положения можно было пожелать более видной родни, чем Барнсы, но зато трудолюбие молодого человека и его интерес к финансам и банковскому делу внушали уверенность, что состояние Бенишии будет в надежных руках.

Всякий раз, когда Бенишия приезжала из Окволда домой, Солон получал приглашение к Уоллинам, и в промежутках молодые люди продолжали обмениваться письмами, все белее и более нежными. Весной Бенишии предстояло кончить курс учения, и это означало, что летом они смогут вместе проводить в Дакле праздничные дни.

И вот наступило лето, и Бенишия приехала домой, навсегда покинув Окволд. Теперь каждый День седьмой сулил Солону радости, о которых он даже не мечтал прежде. То были простые, невинные радости: поехать вдвоем на прогулку за город, бродить на закате по саду, а вечером сидеть рядом в просторной гостиной уоллиновского дома и строить планы будущей жизни.

В один из таких вечеров Бенишия, склонившись над пяльцами, внимательно слушала Солона, рассказывавшего ей о своей работе в банке. Вдруг он замолчал и, подойдя к Бенишии, несмело обнял ее за плечи. Она подняла на него удивленный взгляд. Его глаза странно, непривычно блестели.

— Что с тобой, Солон? Тебе нездоровится?

Столько тревоги и ласки прозвучало в ее голосе, что у Солона дрогнуло сердце.

— Бенишия, я так люблю тебя! Нет слов, которыми я мог бы рассказать об этом. Для меня жить без тебя, все равно что совсем не жить.

— Моя жизнь принадлежит тебе, Солон, и ты это знаешь, — прошептала Бенишия, взяв его за руку.

— Можно мне завтра поговорить с твоим отцом, Бенишия, попросить у него согласия на нашу помолвку?

— Конечно, можно, Солон! — Она вся расцвела от радости. — Я знаю, что он к тебе очень хорошо относится. Матери я давно уже призналась, что люблю тебя, и, вероятно, она сказала об этом отцу.

Назавтра, сидя в молитвенном собрании даклинской общины (был День первый) и глядя на Джастеса Уоллина, восседавшего среди старейшин, Солон решил: сегодня же вечером он будет просить у него руки Бенишии. В течение всей службы он больше ни о чем не мог заставить себя думать. Молча он молился о том, чтобы Внутренний свет озарил и наставил его в этот день, который должен был стать поворотным пунктом всей его жизни.

Знаменательный разговор произошел под вечер в той самой гостиной, где накануне сидели Солон с Бенишией, и так трогательно было глубокое душевное волнение, звучавшее в голосе молодого человека, что Джастес Уоллин, от природы немногоречивый, на этот раз изменил своим привычкам.

— Я давно уже к тебе присматриваюсь, Солон, — сказал он, — и не вижу ничего такого, что помешало бы мне с радостью принять тебя в свою семью. Бенишия тебя любит, знаю. Но она так еще молода. У нас нет других детей, и нам очень тяжело будет с нею расстаться. Мне известны твои успехи в банке, но ведь не прошло и года, как ты начал работать там. Подождем еще год; это даст возможность и тебе, и Бенишии лучше подготовиться к такому серьезному шагу.

—— Но позволь нам хотя бы считать себя помолвленными, чтобы мы не должны были скрывать свою любовь друг к другу!

— Солон, — ласково сказал Уоллин, кладя руку на его широкое плечо, — прошу тебя, потерпи еще немного. — Но, увидя, как омрачилось лицо юноши, он тут же добавил: — Ну, хорошо, как только ты получишь новое повышение и будешь занимать пост, свидетельствующий о завоеванном доверии, мы объявим о вашей помолвке.

И он повернулся к двери, давая понять, что разговор окончен.

Это было жестокое разочарование для Солона, но он утешал себя тем, что все-таки Уоллин согласился на его брак с Бенишией, и теперь от него требовалось только одно: удвоить старания, чтобы оказаться достойным ее.

Естественным следствием этого разговора было то, что Солон стал все чаще и чаще проводить субботу и воскресенье у Уоллинов, в их даклинском доме. Правда, это противоречило квакерским обычаям, согласно которым если между молодым человеком и девушкой зашел разговор о браке, то они не должны больше оставаться под одной кровлей. Но Уоллины, как и

многие другие члены Общества друзей, склонны были к несколько смягченному истолкованию суровых заветов квакерской старины.

Так прошло лето, и Солон с Бенишией вступили во второй год своей любви. Немало праздничных дней и вечеров провели они вместе, мечтая о будущем. Обоим хотелось, чтобы день свадьбы наступил поскорее, но в то же время оба уже примирились с мыслью о длительной отсрочке, на которой настаивал отец Бенишии. Вышло, однако, так, что счастливый день настал раньше, чем можно было ожидать, и обязаны они были этим случайному замечанию одного из самых мудрых и уважаемых старейшин даклинской общины. Выходя из молитвенного дома после того, как там состоялось оглашение помолвки одной молодой пары из соседнего городка, этот почтенный человек вскользь заметил Джастесу Уоллину:

— Надеюсь, мы не станем особенно тянуть с освящением этого брака. Мне кажется, вообще нашим молодым людям слишком долго приходится быть на положении жениха и невесты. Раз уж они помолвлены, так чем скорее их поженить, тем лучше. Я не раз даже собирался поговорить об этом на собрании общины.

Уоллин внимательно прислушался к этим словам. Ему и самому уже приходило в голову, что он неверно понимает свой долг по отношению к дочери. Как раз недавно Солон получил в банке место помощника кассира, так что эта часть их условия была уже, в сущности, выполнена. Уоллин решил посоветоваться с женой. В результате их беседы он на следующий же день отправился в Торнбро, к родителям Солона, с предложением немедля объявить о помолвке Солона и Бенишии и начать приготовления к свадьбе, которую и сыграть в начале лета.

Ханна Барнс давно уже отгадала, как тяжела ее сыну неопределенность в его отношениях с Бенишией. Она видела, что он томится этим бесконечным ожиданием счастья, и молча страдала за него. Поэтому она обрадовалась предложению Уоллина. Руфус, который, как и она, успел уже полюбить Бенишию, тоже поспешил согласиться. И две недели спустя на молитвенном собрании общины было объявлено:

«С соизволения господа и с одобрения Друзей мы, Солон Барнс и Бенишия Уоллин, намерены вступить в брачный союз».

Это сообщение было с восторгом встречено членами обоих семейств. На следующем молитвенном собрании, согласно заведенному обычаю, родители жениха и невесты уведомили общину о своем согласии на брак, а там, выдержав требуемый приличиями срок, назначили и время свадьбы — на первой неделе июня.

ГЛАВА XXIV

И вот наконец Солон и Бенишия предстали перед конгрегацией, которая должна была освятить их союз. Трудно вообразить себе более счастливую молодую пару, трудно представить большее счастье родных и близких. Дело происходило ясным летним утром — будничным, так как День первый не полагается отдавать столь земным интересам. Около ста человек собралось в молитвенном доме даклинской общины; были тут и родственники, и друзья, и просто любопытные.

Торжественная тишина, стоявшая во время брачной церемонии, свидетельствовала о настроении большинства присутствующих. Даже те, кто сменил традиционную квакерскую одежду на обычный городской костюм, во всем прочем оставались верны заветам квакерского учения. Но были и в этой толпе люди, которые охотно сбросили бы с себя оковы религии; были родители, удрученные поведением отпавших от веры детей.

Разумеется, родня жениха и невесты была в полном сборе, причем нетрудно было с первого взгляда отличить одних от других. Уоллины, учтивые и подтянутые, держались особняком, хотя и старались выказать скромность и смирение, согласно требованиям исповедуемого учения; Барнсы выглядели скромнее и проще. Ханна была одета со всей строгостью квакерского обычая: гладкое серое платье, шаль и чепец; так же были одеты Синтия Барнс и Феба Кимбер. Зато Рода и Лора пришли в платьях, сшитых хотя и скромно, но в соответствии с модой другого, не квакерского мира.

Среди родственников невесты насчитывалось немало людей, занимавших видное место в филадельфийском и уилмингтонском обществе: мистер Бенджамен Уоллин, крупный маклер из Филадельфии, двоюродный брат Джастеса, мистер Керкленд Парриш с женой, владелец судостроительной верфи, мистер и миссис Айзек Стоддард из Трентона, родственники миссис Уоллин, которая происходила не из квакерской семьи. Был там еще молодой Сигер Уоллин из Филадельфии, сын и наследник одной из ветвей семейства Уоллинов, студент-медик последнего курса, весьма светский молодой человек, а также Эстер Уоллин, чрезвычайно богатая старая дева, приходившаяся Бенишии теткой, самая энергичная и деятельная особа из всей уоллиновской родни; она сначала отнеслась было к Солону неодобрительно ввиду его скромного положения в обществе, но серьезность и положительность юноши очень быстро покорили сердце старой девы. Кроме того, присутствовали члены правления и служащие Торгово-строительного банка с женами, и, разумеется, родители невесты, прятавшие свое волнение под внешней сдержанностью.

Главные действующие лица вместе с родными и с целой свитой сопровождающих прибыли ровно в одиннадцать часов утра. Все расселись по местам — женщины слева, мужчины справа, и церемония началась. Жених и невеста, встав друг к другу лицом, соединили руки; затем воцарилось короткое молчание, дабы каждый из присутствующих мог углубиться в себя, призывая божественное наитие.

Солон, одетый в простой черный костюм, стоял неподвижно и прямо, и когда пришла его очередь говорить, он произнес слова брачной формулы с глубоким чувством человека, который сознает, что настала решающая минута его жизни.

— Я, Солон Барнс, перед богом и людьми беру в жены Бенишию Уоллин и клянусь, с помощью господней, быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть.

Бенишия, несмотря на свою набожность и природную скромность, порозовела, слушая эти слова. На ней было простенькое, серое, как принято у квакеров, платье из тафты, доходившее до лодыжек. Чепец из такой же серой тафты обрамлял ее личико, трогательное в своей застенчивой прелести. Она волновалась, и это было заметно, Однако легкая, радостная улыбка все время дрожала на ее губах. Отвечая Солону, она смотрела ему прямо в глаза своими ясными, фиалковыми глазами.

— Я, Бенишия Уоллин, перед богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь, с помощью господней, быть ему верной и любящей женой, пока не разлучит нас смерть.

После этого они присели за небольшой столик и поставили свои подписи под брачным свидетельством. Затем это свидетельство было прочитано вслух всем собравшимся, после чего поднялся один из старейшин общины и от имени всех пожелал молодой чете счастья, а другой призвал благословение божие на их союз. На этом церемония закончилась.

До сих пор миссис Уоллин, призвав все свое мужество, старалась казаться веселой, но тут она повернулась к тетушке Эстер, сидевшей рядом, и шепнула:

— Если бы ты знала, Эстер, как мне тяжело!

Сидевшая по другую ее руку Ханна Барнс вдохновенно и страстно молилась о счастье своего горячо любимого сына и его жены. У Джастеса Уоллина вид был довольный и важный. Руфус Барнс сосредоточенно и горделиво смотрел на молодых.

За высокими окнами с частым переплетом, открытыми целиком, чтобы дать доступ легкому летнему ветру, стлались поля, окаймленные болиголовом и рябиной, дубами и тополями, а вдали синели невысокие горы, уходившие на запад, к Аллеганскому хребту. Где-то совсем близко звенел колокольчик у коровы на шее, перекликаясь с веселым щебетом птиц.

После окончания церемонии знакомые разошлись, а близкие друзья и родственники отправились в дом к родителям новобрачной, где торжество завершилось парадным завтраком. Женщины рассматривали и хвалили свадебные подарки. После завтрака новобрачная переоделась в дорожное платье, и настала волнующая минута прощания. Бенишия нежно целовала свою мать и плакала у нее на плече, а Солон пожимал руки всем подряд. Потом они вышли на крыльцо; им вслед, совсем уже не по-квакерски, полетели пригоршни риса и старые башмаки — и экипаж умчал их на станцию, откуда они должны были поездом отправиться в Атлантик-Сити.

Только когда они, наконец, остались вдвоем в номере курортной гостиницы, Солон дал волю своим чувствам. Больше не сковывали его никакие запреты религии и морали, и можно было всей душой отдаться тем радостям, которых он ждал так долго.

— Ты такая чудесная, Бенишия, — повторял он, нежно касаясь ее щек. В этой нежности было и преклонение и благоговейный страх перед тайнами пола, о которых он так мало знал. Горевшая в нем страсть умерялась безотчетной, томительной потребностью в материнской ласке со стороны девушки, так горячо им любимой, и Бенишия словно поняла это.

— А ты, Солон, ты такой хороший, — сказала она и поцеловала его сперва в глаза, а потом в резко очерченные, твердые губы. — И ты мой, на всю жизнь мой. Мы принадлежим друг другу, Солон, милый, отныне и вовек.

Часть вторая

ГЛАВА XXV

Медовый месяц пришел к концу, и счастливая молодая чета, вернувшись в Даклу, поселилась в доме, который Джастес Уоллин преподнес своей дочери в качестве свадебного подарка. Это был большой белый особняк с куполообразной крышей, стоявший

на одной из тихих, отдаленных улиц. В нем было с десяток просторных комнат, к которым подошло бы любое убранство, но молодые согласились на том, что лучше всего обставить их в стиле, к которому Бенишия привыкла в отцовском доме, — в стиле американской старины. К дому примыкал участок земли акров в двадцать пять.

Джастес закрепил за дочерью капитал в сорок тысяч долларов, а его жена позаботилась о полном обзаведении молодых, начиная с мебели — все шератон, чиппендейл, хеппелуайт — и кончая бельем и посудой. От других родственников Бенишия получила в подарок серебро, хрусталь, медную и бронзовую утварь. Тетушка Эстер из Дэшии прислала ящик столового серебра, а мистер и миссис Бенджамен Уоллин из Филадельфии — бронзовые каминные щипцы старинной работы. Ханна Барнс, не желая отстать от богатой родни, подарила чудесный сервиз китайского фарфора. Одним словом, с первых же дней в доме воцарилось изобилие, казавшееся Солону даже чрезмерным.

— Поистине провидение милостиво к нам, если только это волею провидения мы живем среди такой роскоши, — сказал он однажды Бенишии, вскоре после того, как они устроились в своем новом доме.

— Твоя правда, милый, — ответила Бенишия. — Мне часто приходило на ум, что мои родители и я сама слишком щедро осыпаны божьими милостями, но раньше у меня не было своих денег и я не могла помогать другим. Теперь же, имея собственные средства, мы с тобой можем делать немало добра и утешаться мыслью, что достаток, который нам дан, мы обращаем на цели, угодные господу.

Это соображение поразило Солона своей глубиной и справедливостью; Бенишия словно показала ему, что она и умней его и глубже разбирается в религиозно-нравственных вопросах — хоть у ней вовсе не было такого намерения. Солон подошел и обнял ее.

— Какая ты умная и какое у тебя золотое сердце, Бенишия. Не знаю, чем я заслужил такое счастье.

И в самом деле — сбылись все его юношеские мечты: у него хорошая работа, красивый дом, прелестная молодая жена, влиятельные друзья и родственники, он здоров и полон сил. Солон посмотрел в окно, на поля, уходившие вдаль, к западу, и у него даже дух перехватило, такая красота была кругом. За широким лугом виднелся другой дом, живописно белевший на темной зелени сосновой рощи. От косых лучей заходящего солнца оконные стекла пламенели золотым огнем. На лужайке, у гамака, подвешенного меж двух старых дубов, попрыгивала малиновка и несколько черных дроздов.

— Хорошо, правда? — задумчиво спросил он.

— Ах, Солон, — вздохнув, ответила Бенишия, — я так счастлива с тобой. У меня есть все, чего можно желать.

Солон и Бенишия вполне готовы были удовлетвориться той немудреной жизнью, которой жило даклинское общество. Войти в эту жизнь им было легко. Молодую чету, известную своим примерным благочестием, а кроме того, обладавшую положением и связями, везде встречали с распростертыми объятиями. Очень скоро после свадьбы Бенишия поняла, что к душевному складу Солона как нельзя лучше подходит старозаветная безмятежность этого полудеревенского существования. Он был наделен всеми добродетелями, располагавшими к такой жизни, и свободен от всех пороков, которые мешали бы примириться с ней. Лучшее общество округи состояло из квакерских семейств, и Солон со своей милой и приветливой женой скоро заняли видное место в даклинской общине. Со многими членами этой общины Солона связывали добрые отношения, установившиеся еще в ту пору, когда он вел с ними дела, помогая отцу. Но теперь он для них был уже не «молодой Барнс», состоявший при отце и матери, а Солон Барнс, помощник кассира филадельфийского Торгово-строительного банка, молодой человек с отличными видами на будущее, один из самых уважаемых граждан Даклы. Ему уже не раз случалось держать речь в молитвенном собрании, и старейшины общины, ее духовные наставники, находили, что у него есть все данные для того, чтобы со временем самому сделаться одним из старейшин, и что следует почаще привлекать его к участию в богоугодных делах общины. Женская часть общины была в восторге от Бенишии. Молодых супругов наперебой приглашали в дома окрестных Друзей, и сами они тоже нередко принимали гостей в своем уютном доме.

Как-то раз Солона попросили вместе еще с двумя Друзьями взять на себя обязанность воздействовать на одного из членов общины, позволившего себе обидные замечания по адресу другого. Солон дал согласие и повел дело так умно и тактично, что по всей округе заговорили о его необыкновенной чуткости и добросердечии. Вскоре после этого его избрали членом постоянного Комитета вспомоществования, назначением которого было заботиться о беднейших членах даклинской общины и помогать им в нужде.

Солон вставал в половине седьмого, обходил свое хозяйство, заглядывал на конюшню и в хлев, отдавал распоряжения работнику. После завтрака он садился в кабриолет, и тот же работник вез его на железнодорожную станцию. Без пяти девять он выходил из вагона на вокзале Брод-стрит в Филадельфии и ровно в девять являлся в банк. До трех часов, а иногда и дольше, он сидел у одного из кассовых окошечек, проверяя чеки и отсчитывая кредитные билеты, а иногда, по поручению своего начальника, мистера Эверарда, разбирал просьбы о мелких ссудах, поступавшие в отдел кредитов.

Картотека, которую он завел для Эверарда, успела разрастись до гигантских размеров. К его услугам был и другой справочный материал — разные каталоги, бюллетени, указатели, но нигде не нашлось бы таких исчерпывающих сведений о браках, кончинах, судебных процессах, банкротствах, оценках и переоценках — словом, обо всем, что касалось частных лиц, банков и корпораций Филадельфии и ее окрестностей.

Человек глубоко нравственный по природе, Солон, кроме того, привык судить о делах и людях в свете определенных, незыблемых принципов и понятий. По его представлениям, люди, достигшие высокого положения в обществе или большого богатства, были обязаны этим только своему трудолюбию и благоразумию. Правда, иногда до его ушей доходили слухи о сомнительном происхождении иных крупных состояний, и это смущало его — ведь в Библии ясно сказано, что кто нажил богатство неправедными путями, тому добра не будет.

Он всячески старался идти навстречу мелким дельцам и предпринимателям, состоявшим в числе клиентов банка. Но мало-помалу ему пришлось убедиться, что и среди этих людей далеко не все безупречны в своих делах. Работая с отцом в Дакле, он привык думать, что только истинно достойные люди имеют право на поддержку кредитных учреждений; здесь же на его глазах через кабинет мистера Эверарда проходили ежедневно самые разнокалиберные дельцы, фабриканты, торговцы, предприниматели, и единственным, что решало вопрос, оказывать или не оказывать им такую поддержку, служила их платежеспособность. Солон пытливо присматривался ко всем этим людям. На его взгляд, следовало бы принимать во внимание и нравственные качества каждого клиента. Исправно ли он исполняет свой религиозный долг? Воздержан ли в своих привычках, в образе жизни? Достаточно ли скромно и в то же время опрятно одевается? В добропорядочном ли окружении живет? Заслуживает ли он вообще звания честного человека и доброго гражданина? Все эти обстоятельства казались Солону крайне важными для суждения о человеке.

Полный таких возвышенных мыслей, он каждый день ездил в Филадельфию и обратно, соблюдал в обращении положенные формы вежливости, интересовался всем, чем считал себя обязанным интересоваться, и мечтал о том времени, когда они с Бенишией обзаведутся большой семьей и станут жить, как завещано людям от бога.

Так, мирно и безоблачно текли его дни в ожидании счастливого события: Бенишия должна была скоро сделаться матерью, — как вдруг слегла Ханна Барнс, заразившись инфлюэнцей, эпидемия которой свирепствовала в Восточных штатах. Несмотря на старания врачей и самый заботливый уход, она прохворала две недели и умерла, к поистине безутешному горю мужа и детей. Синтия незадолго до того вышла замуж и жила в Йорке, штат Пенсильвания, где муж ее был одним из руководителей квакерской общины, но когда мать заболела, ее вызвали в Даклу.

Самый жестокий удар эта смерть нанесла Солону. Он страдал так глубоко, что временами на него находили приступы мрачного, мертвящего оцепенения, грозившие не только поколебать его религиозные устои, но и повредить рассудок. Он как-то сразу постарел и долгое время был не в силах сосредоточиться даже на работе.

Не раз он рыдал, оставшись один в комнате, но в конце концов на помощь ему пришла религия. Призвав все свое мужество, он напомнил себе, что нужно быть благодарным творцу за многие милости, ниспосланные ему прежде. Кроме того, он чувствовал себя обязанным утешить и поддержать Бенишию, — ведь она не только горевала о Ханне, но и болела душой за него, зная, как он любил свою мать. Единственным, что облегчало их скорбь, была мысль о ребенке, который скоро должен был родиться. Эта мысль помогала им крепиться в ожидании лучших дней.

ГЛАВА XXVI

Четыре месяца спустя Бенишия родила девочку. Солон не помнил себя от счастья: ему хотелось дочку. Девочке дали ими Айсобел, в честь любимой тетки Бенишии. Ее нельзя было назвать красивым ребенком, и родилась она, к огорчению родителей, довольно слабенькой. Но тем не менее ее появление на свет вызвало бурную радость в обеих семьях — Барнсов и Уоллинов. Ведь она была первой внучкой, и Джастес Уоллин тут же положил в Торгово-строительный банк две тысячи долларов на ее воспитание.

За девочкой родился мальчик, которого назвали Орвилом. Это был круглолицый, темноволосый крепыш, и если дочь не могла порадовать родителей красотой и здоровьем, то у сына того и другого оказалось в избытке. Орвил рос тихим, послушным, ласковым ребенком; пожалуй, ему недоставало живости, но зато нельзя было пройти мимо, не залюбовавшись им.

Прошло еще два года, и на свет явилась вторая девочка, получившая имя Доротеи. У нее было хорошенькое кукольное личико, блестящие каштановые волосы, круглые, розовые щечки, серые глаза с поволокой, а когда она улыбалась, то становилась похожа на ангелочка. С первых же шагов, с первого детского лепета в ней проявилась неугомонная, переимчивая натура; она старательно подражала всему, что делали старшие брат и сестра. Ее веселый голосок целый день звенел без умолку, и мать, слушая его, думала о том, что у этой резвушки жизнь непременно сложится счастливо и легко.

С рождением детей перед Солоном и Бенишией встали те вопросы, связанные с их воспитанием, которые беспокоят всех родителей на земле. Солону, всегда высоко ценившему послушание и порядок и, с другой стороны, дух хорошей, дружной семьи, теперь представлялся случай осуществить свои идеи на деле. И он готов был приложить все старания для того, чтобы каждый из его детей мог служить образцом разумно воспитанного ребенка — серьезного, правдивого, справедливого и доброго. Бенишия была с детьми более снисходительной, но, впрочем, и Солон никогда не прибегал к суровым или слишком крутым воспитательным мерам. Оба сходились на том, что лаской и мягким внушением можно достигнуть куда лучших результатов.

В уходе за детьми Бенишии помогала девушка по имени Кристина, совмещавшая в своем лице няньку и гувернантку. Дети ее очень любили. Она происходила из небогатой, но почтенной квакерской семьи, жившей в Ред-Килне, селении неподалеку от Даклы, и Солон получил о ней самые похвальные отзывы. Когда дети подросли настолько, что могли уже осилить начатки грамоты, Кристина стала их первой учительницей. Она учила их с помощью таких нехитрых пособий, как деревянные раскрашенные брусочки, небольшая классная доска и простой букварь без картинок.

Сперва, разумеется, все внимание Солона было обращено на Айсобел, затем настал черед Орвила. В каждом из них он как бы вновь переживал собственные ранние годы и думал: какая это, в сущности, загадочная, почти непостижимая пора — детство. От года к году крепло в нем сознание своей родительской ответственности, заставлявшее его постоянно тревожиться о том, как лучше направить и наставить своих детей в их первых, неуверенных еще шагах. Ведь в любом из них можно воспитать стремление к высоким и благородным целям — так по крайней мере надеялся Солон. И он с особым вниманием перечитывал то место из «Книги поучений», которое начинается словами: «С горячей любовью к подрастающему поколению» — и дальше гласит: «Помните всегда, дорогие мои юноши и девушки, что страх божий есть начало мудрости». Он не готовил своим детям беззаботного существования, потому что сам привык жить в скромности и труде, но твердо верил, что они должны быть и будут довольны тем путем, который он для них изберет.

Жизнь в семье текла размеренно и спокойно, тем порядком, к которому с детства привыкли и Солон и Бенишия. В их доме, как и в других квакерских домах округи, не было ни картин, ни музыкальных инструментов, ни книг, за исключением разве нескольких сочинений о сущности квакерской веры или сходного содержания. Библия, «Дневник» Джорджа Фокса, «Дневник» Джона Вулмэна и его же «Друг Оливия» и «Квакерский крест». Такие темы, как искусство, театр, светские развлечения, никогда не затрагивались в разговоре. Воскресные и даже ежедневные газеты находились под запретом, только Солон просматривал их для деловых надобностей. Бенишия чтением не интересовалась и читала редко.

В День первый Солон и Бенишия торжественно отправлялись в молитвенный дом даклинской общины, захватив с собой двоих или даже всех троих детей. Солон ехал с озабоченным видом, весь поглощенный мыслями о делах общины. В молитвенном доме он с Орвилом усаживался по одну сторону от прохода, а Бенишия и Айсобел — по другую. И пока длилось торжественное молчание, предшествующее началу беседы, оба сидели, погрузившись в благочестивые размышления, с той только разницей, что Бенишия то и дело возвращалась мыслью к своим домашним делам, тогда как Солон сосредоточенно ждал, когда Внутренний свет озарит его душу. Даже Бенишия не представляла себе всей глубины религиозного чувства своего мужа. В молитвенном доме он больше молчал, благоговея перед мудростью творца. Лишь в редких случаях он вставал и обращался к собравшимся со словом. Говорил он закрыв глаза, и дети смотрели на него с любопытством, не слишком понимая, что все это означает. Бенишии еще реже случалось говорить в молитвенном собрании. Ей мешала природная застенчивость, и кроме того, ее духовная близость с мужем была так велика, что в своих речах он как бы выражал и ее мысли и чувства.

После собрания они на каких-нибудь полчаса задерживались у входа, обмениваясь приветствиями с многочисленными друзьями и знакомыми. Потом возвращались домой, и в большой синей с серым столовой, обставленной незатейливой и прочной старинной мебелью, садились за простой, но сытный обед, до и после которого читалась традиционная молитва. Иногда эта трапеза совершалась в семейном кругу, иногда в ней принимал участие кто-нибудь из друзей или родных. Вина и крепкие напитки на стол не подавались, а единственной формой веселья была задушевная беседа или мягкая, дружеская шутка.

Детям полагалось сидеть за столом прямо и вести себя чинно; обычно они строго выполняли это правило — насколько можно было уследить за ними. Малейший шум и возня тотчас привлекали внимание Солона, и одного его укоризненного взгляда в сторону провинившегося бывало достаточно, чтобы водворить тишину. Впрочем, он не часто прибегал к этому способу, предпочитая по возможности не замечать мелких нарушений порядка.

В сущности говоря, эти годы, пока Айсобел не исполнилось шести лет, Орвилу — четырех, а Доротее —двух, были самыми счастливыми в жизни Солона Барнса. Конечно, не обошлось без обычных детских болезней, но и только. По праздничным дням ездили всем семейством в гости — то в Филадельфию к родителям Бенишии, то в Торнбро к отцу Солона, то в Дэшию к тетушке Эстер; эти постоянные изъявления родственного внимания, почти столь же обязательные, как в еврейских семьях, совершались со всей торжественностью и серьезностью, которая в то время была присуща любым человеческим отношениям в квакерской среде.

ГЛАВА XXVII

Однако даже и в этот счастливый период у Солона были свои заботы, коренившиеся в особенностях его душевного оклада. За годы службы в Торгово-строительном банке он многому научился, стал лучше разбираться в жизни и в людях. С другой стороны, работа в банке открывала перед ним широкие коммерческие перспективы. Пользуясь своей осведомленностью в городских делах, он поместил часть собственных средств в закладные на принадлежавшую городу недвижимость. Это оказалось выгодным, и банковский счет Солона все больше округлялся.

Однако Солон не обладал настоящим размахом; он был не из тех людей, в чьем воображении рождаются грандиозные планы строительства железных дорог или прокладки трамвайных линий, кого не смущают мелкие сделки с совестью, ценой которых зачастую покупается большой успех. Напротив, он никогда не заглядывал далеко вперед и предпочитал оставаться в сфере дел небольшого масштаба, где прибыли сравнительно скромны и укоры совести не тревожат душу.

Так, например, вскоре после женитьбы Солона к нему явился один старик фермер, разводивший домашнюю птицу, и предложил купить его ферму. Сам он был уже слишком стар, чтобы справляться с таким хлопотным делом, и в последние два года не мог даже выплачивать проценты по закладной. За пятьсот долларов наличными он готов был уступить Солону все обзаведение. Между тем, по самым скромным подсчетам, одна только ферма стоила не меньше двух тысяч, а птичник при умелом хозяйничанье мог дать еще тысячи полторы. Солон уплатил старику шестьсот двадцать долларов, а спустя короткое время перепродал ферму за три тысячи, причем ему даже не пришлось уплатить накопившиеся проценты.

Вскоре после этого ему попалось на глаза газетное объявление о продаже с публичных торгов небольшого домовладения в Филадельфии, состоявшего из нескольких построек. Он посоветовался с тестем и заручился его обещанием в случае надобности помочь деньгами, а затем пригласил специалиста для оценки назначенных к продаже домов. Получив нужные сведения, Солон отправился на торги. Вел он себя осторожно, не торопился, но пока цена держалась ниже суммы, ассигнованной им на покупку, методически надбавлял по сотне долларов всякий раз, когда молоток аукциониста готов был опуститься. Так он в конце концов дошел до восемнадцати тысяч долларов, и дома остались за ним, к большому его удовлетворению, так как у него уже был на примете подходящий покупатель. Через два месяца он продал эти дома за двадцать семь тысяч и полученную прибыль вложил в другую недвижимость здесь же, в Филадельфии.

Но как ни приятны были подобные удачи, их постоянно омрачала тревожная мысль о том, где же грань между простым стремлением к лучшему и корыстью, несовместимой с велениями религии, между жаждой денег и власти и верностью квакерским заветам. Снова и снова он принимался перечитывать давно знакомые главы из «Книги поучений», где речь шла о законах, о третейских судах и коммерческой деятельности, — не ради укрепления своей веры, но в чаянии найти поддержку своим взглядам на карьеру дельца. Особенно запомнились ему два наудачу выбранных отрывка из главы: «О предпринимательстве»:

«Мы призываем всех помнить, что никто не должен пускаться на такие предприятия, в основе которых лежат зачастую обманчивые перспективы, связанные со спекуляцией или риском; пусть лучше удовольствуется жизнью скромной и умеренной, сообразно принципу самоотречения, каковой мы исповедуем».

И в другом месте:

«Наше горячее желание состоит в том, чтобы Друзья во всех своих начинаниях смиренно ожидали, когда господь наставит их, и неукоснительно сообразовались бы с указаниями и запретами Духа истины в делах своих и торговле, не позволяя себе увлекаться необузданной жаждой земных благ и памятуя столь часто и прискорбно оправдывающиеся в наши дни слова апостола о том, что «желающие обогащаться впадают в искушение», а уклонения от правой веры «погружают людей в бедствия и пагубу».

Но ни в Филадельфии, ни в других местах Солону почти не встречались люди, — кроме разве очень немногих твердых в своей вере квакеров, — которые старались бы избежать забот или соблазнов, связанных с богатством. Жажда власти и денег словно была разлита в воздухе. Даже в Дакле, этом патриархальном уголке, который, впрочем, быстро застраивался и рос благодаря живописной природе и удобному местоположению, — даже здесь Солон уже подмечал у многих фермеров, торговцев и обыкновенных горожан это стремление урвать свою долю добычи.

На столбцах филадельфийских газет то и дело поминались и возвеличивались новые имена. В то же время ходили слухи о политических интригах, которые велись с целью захватить и расхитить городские доходы. Солону не раз приходилось слышать о товариществах, специально создававшихся для того, чтобы захватить в свои руки выгодные подряды на снабжение газом и водой, на прокладку и эксплуатацию конных железных дорог. Совсем недавно клика продажных политиков попалась на том, что использовала муниципальные средства для финансирования частных предприятий и для биржевых спекуляций. Их махинации были разоблачены и планы сорваны, но только одного человека удалось поймать и засудить.

С другой стороны, находилось немало вполне порядочных по видимости людей, которые, располагая крупными средствами, желали вложить их в новые предприятия; именно эти люди открыли новую эру — эру финансового процветания в развитии

американского общества. Большинство дельцов помельче и просто зажиточных граждан тянулось к тем, у кого была сила, власть и успех, в убеждении, что собственное их благополучие зависит от ума и способностей этих финансовых воротил — честных или бесчестных, все равно.

И временами Солон невольно задумывался о том, каких высот материального благополучия мог бы достигнуть он сам, если бы решился вступить в эту битву за деньги и власть. В банке у него постоянно был перед глазами выразительный пример мистера Скидмора и мистера Сэйблуорса, которые разъезжали в собственных дорогих автомобилях, с шоферами, разодетыми в щегольские ливреи. У Скидмора был отделанный с большой роскошью дом на Риттенхауз-сквер, а у Сэйблуорса — особняк на Мэн-лайн. Их имена, так же как имена их жен, сыновей и дочерей, постоянно мелькали в светской хронике местных газет. Но и они, по наблюдениям Солона, охотно преклоняли колена перед еще более крупными представителями местной финансовой олигархии — Биддлами, Дрекселами, Уайденерами или же такими нью-йоркскими магнатами, как Вандербильты, Гулды, Морганы и Рокфеллеры. Видимо, всякому, кто занимался банковским делом, полезно было соприкасаться с этими лицами и подражать их примеру.

И вот словно нарочно, чтобы еще усугубить одолевавшие Солона сомнения, случилось одно происшествие, потрясшее его до глубины души. Героем этого происшествия явился сын одного из даклинских соседей. Восемнадцатилетний Уолтер Бриско был личностью, характерной для своего времени, порождением новых, изменившихся условий жизни. Хотя и воспитанный в добрых квакерских традициях, он жадным взглядом озирался по сторонам, в любую минуту готовый сбросить с себя узду. Как-то в День первый его отец Арнольд Бриско, в сопровождении самого Уолтера, явился к Солону с просьбой: не может ли он, Солон, употребив свое влияние, пристроить юношу в Торгово-строительный банк. У Бриско-отца была небольшая ферма и кроме того лавка в городе, но ни сельское хозяйство, ни торговля сына не привлекали.

Придавая большое значение личным добродетелям и деловым качествам, Солон вместе с тем не умел разбираться в людях, особенно если дело касалось его единоверцев. Он хорошо относился к Арнольду Бриско, которого знал как набожного и благочестивого квакера. Сын произвел на него впечатление порядочного молодого человека, прямого, чистосердечного и к тому же расторопного.

Когда Бриско изложил цель своего посещения, Солон на несколько мгновений задумался.

— Видишь ли, друг Бриско, — сказал он наконец, — как ты знаешь, вакансии у нас в банке открываются редко. Но все же для молодого человека, желающего начать с самой скромной должности, случай иногда может представиться. Не стану тебе ничего твердо обещать, но как только услышу о чем-нибудь подходящем, сейчас же сообщу.

Случилось так, что через несколько месяцев после этого разговора администрация Торгово-строительного банка произвела ряд перемещений среди своих низших служащих; многие получили повышение, в результате чего одно место конторщика оказалось свободным, и Эверард спросил Солона, нет ли у него кого-либо на примете. Солон тотчас же послал за молодым Бриско, и тот сразу понравился как Эверарду, так и старшему бухгалтеру, под началом у которого ему предстояло работать.

Около года все шло хорошо. Но вот однажды Торгово-строительному банку понадобилось отправить крупную сумму денег в банк Атланты. Старший бухгалтер лично отсчитал полторы тысячи долларов пяти— и десятидолларовыми купюрами, сложил, запечатал и надписал адрес; но когда пакет прибыл на место и был вскрыт, в нем оказалась только газетная бумага, нарезанная по формату государственных казначейских билетов, да кусочек свинца, положенный в середину для тяжести.

Казначей атлантского банка без труда установил, что его служащие не причастны к мошенничеству: пакет был вскрыт в его присутствии и всех одинаково поразила жульническая проделка. Приглашенные Торгово-строительным банком сыщики пришли к заключению, что виновным мог быть только мистер Децисматис, старший бухгалтер, или кто-нибудь из служащих его отдела. Мистер Децисматис, несмотря на свою иностранную фамилию, был уроженец Пенсильвании, баптист и республиканец, скучнейший и честнейший человек — идеальный образец банковского служащего. Он прослужил на одном месте пятнадцать лет, и для него не составило труда доказать свою невиновность.

Таким образом, под подозрением оставались четверо служащих отдела, в том числе и юный Бриско. За ними была установлена тщательная слежка, и спустя месяц или около того стали выясняться любопытные подробности, касавшиеся поведения молодого Бриско. Так, например, удалось установить, что со времени его поступления на работу в банк у него появились новые привычки, раньше ему несвойственные: нередко он поздно задерживался в городе, ссылаясь перед домашними на сверхурочную работу или занятия в вечерней школе. На самом же деле он в это время околачивался в разных увеселительных местах, играл на бильярде; его видели в компании молодых людей и девушек сомнительной репутации. На одну из таких девушек он тратил немалые деньги, гораздо больше, чем могло позволить его скудное жалованье. В конце концов его арестовали под предлогом наспех состряпанного обвинения в нарушении общественного порядка. На допросе стали допытываться, откуда у него деньги. Кроме того, ему сказали, будто бы номера банковых билетов, посланных в Атланту, были заранее переписаны и что у тех денег, которые нашли при нем, оказались эти самые номера. Это была неправда, но юноша струсил и во всем признался.

В оправдание себя он жаловался на чрезмерную строгость отца, на томительное однообразие домашней жизни; именно потому, мол, он и не устоял перед соблазном другого, более легкого и приятного существования. С помощью настойчивых расспросов удалось выяснить, что свыше тысячи долларов из украденной суммы и сейчас лежат спрятанные в амбаре его отца. Уолтера тотчас же отвели к судье, в кабинете которого он подписал полное признание, и теперь ему оставалось только ждать судебного приговора.

Вся эта история с самого начала чрезвычайно смущала и волновала Солона; но теперь, когда виновность Бриско была доказана, дело обернулось новой, особенно тягостной для него стороной. Его угнетала мысль, что он поручился за Уолтера, что отец юноши — квакер, собрат по религии. Он уехал в этот вечер домой совершенно подавленный, не поговорив даже со своими сослуживцами. Ему нужно было время и тишина, чтобы обдумать случившееся и помолиться.

Бенишия, встретившая его на пороге, сразу увидела, что он чем-то расстроен.

— Солон, милый, что случилось? У тебя неприятности?

— Знаешь, Бенишия, — с трудом выговорил он, медленно расстегивая пальто, — преступником оказался Уолтер.

— Не может быть! — вскричала она, потрясенная не меньше его. — Неужели это правда? Пойдем, расскажи мне все. Ах, Солон, какой ужас!

Они вошли в гостиную, и там, устало опустившись в кресло у окна, он рассказал ей все подробности дела.

— Ты только подумай, Бенишия, ведь это я устроил его в банк! — повторял он, а Бенишия тяжело вздыхала в ответ, вся — воплощение материнской заботы и сочувствия.

В эту минуту у дверей раздался звонок, и служанка доложила о приходе мистера Арнольда Бриско. Бенишия и Солон поспешили к нему навстречу. Его вид испугал их. Этот плотный, розовощекий человек за один день постарел на много лет. Глаза его ввалились, весь он был какой-то понурый, жалкий. Он остановился на пороге, нервно теребя в руках шляпу.

— Друг Барнс, — начал он глухим, словно замогильным голосом. — Я не знаю, что сказать тебе.

Он вдруг прикрыл глаза рукой, рот его страдальчески искривился. Солон, потрясенный до глубины души, шагнул вперед и положил ему руку на плечо.

— Друг Бриско, я понимаю, как тебе тяжело. Мне самому тяжело, словно это случилось с моим сыном.

— Никогда не думал, что мой мальчик может стать вором, — срывающимся голосом продолжал Бриско. — Деньги я возмещу. Не в этом дело. Стыд, позор, вот что страшно! Он совершил преступление, и, может быть, даже лучше, если он понесет кару, как бы она ни была сурова. Никогда бы я этому не поверил, если бы он сам не сказал мне. — Он снова заплакал. — Друг Барнс, он находит, что я был слишком строг с ним. Я все себя спрашиваю — может быть, это и в самом деле так? Ты знаешь, я всегда старался быть ему хорошим отцом...

— Как он мог сказать это! — возмущенно вскричал Солон. То, что случилось с Уолтером, было недоступно его пониманию, потому что он сам никогда не испытывал тех желаний и чувств, во власти которых оказался юноша. — Это злые, несправедливые слова!

Он смотрел на своего соседа, осунувшегося, с воспаленными от слез глазами, и думал, что сына, который осмеливается так говорить с отцом, ничто не исправит.

— Может быть, и так, — продолжал Бриско. — Но особенно тяжело мне, когда я думаю о том, какую жизнь он вел, каких друзей себе выбрал. Я спросил его, раскаивается ли он, но он ответил, что нет, а я, мол, ничего не понимаю в жизни. Что ж, пусть правосудие совершится, мне кажется, так будет лучше. Дождусь приговора, а там продам свою лавку и уеду из Даклы. Ведь я уже никогда не посмею смотреть людям в глаза.

— Нет, нет, друг Бриско! — горячо возразил ему Солон. — Ты ни в чем не виноват, и ни один честный человек тебя не обвинит. Тебе незачем уезжать отсюда.

Но, произнося эти слова, Солон почувствовал, что говорит не вполне искренне, уклончиво. Может быть, и в самом деле для Бриско лучше уехать, чем оставаться здесь и постоянно ловить на себе сострадательные или любопытные взгляды. Он сам не знал, что посоветовать несчастному. Он думал о своем сыне, который в это время мирно спал наверху, в детской, под присмотром преданной няньки. Что, если бы ему, Солону, пришлось когда-нибудь оказаться в положении Бриско? Захотел бы он увидеть своего сына за тюремной решеткой? Последние годы он часто задумывался о будущности своих детей. Он так любил их. Когда они плакали от боли, ему самому становилось больно. Когда они смеялись, он радовался вместе с ними. И сейчас, думая о них, он колебался. Правильно ли будет, если Уолтера посадят в тюрьму, заклеймят на всю жизнь, как преступника? Может быть, он просто сбился с пути, попав в дурную компанию? Солон готов был вступиться за юношу, если бы Бриско попросил его об этом. Но сраженный горем отец повернулся к двери, и Солон понял, что предложить свою помощь было бы сейчас неуместно и бесполезно.

— Сам не знаю, что тебе посоветовать, друг Бриско, — сказал он с глубоким участием. — Может быть, ты и прав. Тебе виднее. Конечно, проступок серьезный, и все же, если дать Уолтеру возможность исправиться... — Но тут ему представились холодные, равнодушные лица Эверарда и Сэйблуорса. — А впрочем, раз он не понимает всей глубины своих заблуждений, пожалуй, ему же полезнее, если его отправят куда-нибудь, хотя бы ненадолго...

После ухода лавочника Солон стал упрекать себя за то, что не взял Уолтера под свою защиту, но в то же время он не мог отделаться от мысли, что, пожалуй, и в самом деле недолгое заключение пойдет ему на пользу. Уж очень претили Солону хитрость и ловкость, с которой было совершено мошенничество, равно как и все то, на что пошли украденные деньги. С другой стороны, как быть с дорогими его сердцу строчками из «Книги поучений»: «Братья, если какой-нибудь человек впал в грех, вы, в ком дух силен, кротостью и увещанием помогите ему воспрянуть, памятуя, что и на вашем пути может встать соблазн». Как толковать эти слова: «помогите ему воспрянуть»?

Но Бриско уже ушел, а проблема осталась нерешенной, и решить ее было тем трудней, что она слишком близко затрагивала мысли и чувства самого Солона и он не видел возможности забыть о них при ее решении. Спустя несколько дней Уолтера судили и приговорили к четырем годам исправительной тюрьмы. Только после суда, когда Уолтер уже отправился в заключение, а Арнольд Бриско заканчивал свои приготовления к отъезду, Солон вдруг понял, что совершил непоправимую ошибку. По смыслу своей религии он должен был прийти на помощь — и не пришел. Эта мысль угнетала его. Первый раз в жизни Солон Барнс погрешил против своих религиозных убеждений — и погрешил серьезно.

ГЛАВА XXVIII

За эти годы произошло еще несколько событий, словно нарочно рассчитанных на то, чтобы заставить Солона взглянуть жизни в лицо. На седьмом году его брака скоропостижно скончался Руфус Барнс, оставив на шестьдесят пять — семьдесят тысяч долларов имущества, которое предстояло разделить поровну между ним и Синтией. Не говоря уже о боли утраты, на Солона, как душеприказчика, легла большая забота: нужно было ликвидировать дела отца, произвести оценку и раздел имущества. Стоя у гроба в просторной гостиной усадьбы Торнбро, он уронил лишь несколько скупых слезинок, но Бенишия, стоявшая рядом, лучше других понимала всю глубину его безмолвного горя, его любви и его смирения.

Теперь Торнбро принадлежало ему пополам с сестрой; но Синтия была замужем, удобно обосновалась вместе с мужем в Йорке, штат Пенсильвания, и не думала оттуда уезжать; а потому Солон пришел к решению, которое Бенишия горячо поддержала: выплатить Синтии ее долю и переселиться с семьей в родное гнездо. Правда, оттуда было дальше до железнодорожной станции, до рынка и лавок Даклы, но в конце концов на резвой лошади можно было покрыть это расстояние за десять — пятнадцать минут. Свой даклинский дом Солон без долгих хлопот продал, взяв за него хорошую цену; это не представило большого труда, потому что городок быстро рос и фактически уже превратился в пригород Филадельфии.

Вероятно, отец и мать порадовались бы тому, что дом, на украшение которого они потратили столько усилий, служит теперь пристанищем для разросшейся семьи их сына, — так думал Солон. К тому же с усадьбой Торнбро у него были связаны дорогие, почти священные воспоминания. Ведь именно здесь он и Бенишия впервые признались друг другу в любви; это было на живописном берегу Левер-крика, при виде которого в его памяти неизменно воскресали картины счастливого детства. Он был уверен, что и его дети полюбят эти места. А кроме того, здесь, среди зеленых сельских просторов, дети будут ограждены от нежелательного влияния сверстников, растущих в менее набожных семьях.

Через три месяца после переезда семьи в Торнбро у Бенишии родился еще ребенок. Доротее в это время шел уже третий год, и Солон с Бенишией от души радовались появлению новой дочки. Ей дали имя Этта — так звали двоюродную сестру матери Солона. А еще два года спустя в семье прибавился пятый и последний ребенок, мальчик. Долго обсуждали и перебирали разные имена, и наконец решили назвать его Стюартом, в честь одного из дядей Солона.

У этих двух малышей, едва они научились ходить, тоже стал проявляться свой, особый характер. Этта цветом лица и сложением походила на Доротею, но в ней было меньше задорной резвости и больше глубины. Уже в раннем детстве ей были свойственны романтические взлеты фантазии, которых ее родителям не суждено было никогда понять. Но их умиляло ее

крохотное тельце, задумчиво-пытливый взгляд ее светлых глаз, которые уже в первый год ее жизни так внимательно всматривались в окружающий мир.

— Видишь, как она на меня смотрит, — говорила Бенишия, взяв девочку на руки. — Такая малышка, а кажется, будто она все хочет знать.

Стюарт, синеглазый, белокурый, отличался живым и непокорным нравом. В раннем детстве он часто капризничал, если что было не по нем, визжал и вырывался у матери из рук. Он был самым проказливым и самым задорным из всех пятерых, и Солон порой с изумлением глядел на маленького строптивца, который так напоминал чертами свою мать и был так непохож на нее характером.

Между тем Айсобел подросла, и настало время всерьез подумать об ее образовании. О том, чтобы отдать ее в городскую школу, даже не заходила речь. При всем уважении Солона Барнса к родной стране он никогда не одобрял принятой в ней системы школьного образования. Городская школа давала детям чересчур много свободы, оставляя их без достаточного присмотра. Кроме того, доброму квакеру не следовало ставить своих детей в условия, при которых мирская распущенность могла оказать на них дурное влияние и даже подорвать их веру. Один из девяти вопросов, которые формулируются на ежегодном съезде Друзей и рассылаются всем общинам, так и гласит: «Стараются ли Друзья вверять детей своих заботам и влиянию тех, кто принадлежит к нашему Обществу?»

По счастью, в Ред-Килне, селении, расположенном неподалеку от Даклы, имелась небольшая школа для квакерских детей. Летиция Бриггс, учительствовавшая в этой школе, была когда-то преподавательницей в Окволде. Потом она вышла замуж за одного из окрестных квакеров и только после смерти мужа снова обратилась к своей профессии. Это была добрая, терпеливая женщина, одна из тех бесполых натур, которым свойственны искренняя любовь к детям и умение считаться с их характерами и настроениями. Солон находил ее женщиной весьма почтенной и решил отдать Айсобел в ред-килнскую школу, хотя бы на небольшой срок, в течение которого она сможет приобрести начатки школьных знаний и усвоить основы квакерского вероучения. После этого она на два или три года поедет в Окволд, а там, если захочет, будет продолжать свое образование в колледже.

И вот Айсобел стала ездить в Ред-Килн. Старый Джозеф, тот самый, что работал у Руфуса Барнса с первых дней его жизни в Торнбро, и теперь остался у Солона в качестве конюха и кучера, отвозил ее туда каждое утро к половине девятого, а в три часа приезжал за нею. Требовалось ли кому в семье куда-нибудь ехать, нужно ли было что перевезти, — об этом заботился Джозеф. Он был уже глубокий старик, сгорбленный, с морщинистым, словно пергаментным лицом. Чувствуя себя почти членом семьи, он с утра до ночи хлопотал на дворе, а к детям относился как к своим родным. Его сын, тоже Джозеф, только гораздо более толковый, вел все хозяйство усадьбы и в доме показывался редко.

— Пора, пора, мисс Айсобел! — кричал утром старый Джозеф. — Поторапливайся, а не то опоздаешь.

Айсобел выбегала с тоненькой связкой книг под мышкой, и они уезжали.

Годы шли, подрастали другие дети, и все тот же старый Джозеф возил их в школу и из школы, — двоих, троих, а потом и четверых зараз. Барнсовскую двуколку, когда-то блестевшую лаком, а ныне уже довольно потрепанную и облезлую, знали во всей округе. Хозяйки и батраки со всех ферм между Даклой и Ред-Килном проверяли по ней часы. «Вон старый Джозеф повез барнсовских детишек в школу, значит, уже больше половины девятого!» или: «Верно, уже четвертый час: барнсовские детишки едут из школы». Старый Джозеф на козлах, выезжающий из ворот Торнбро или дожидающийся у почты, у вокзала или какой-нибудь даклинской лавки, представлял для местных жителей зрелище не менее привычное, чем закат и восход или поезд Пенсильванской железной дороги.

В Джозефе и детях, так же как в Солоне и Бенишии, люди видели некий символ добропорядочности и благосостояния. Барнсы были зажиточными людьми, строго придерживались квакерских обычаев, и всякий мог рассчитывать у них на ласковый и радушный прием. Солон был не мастер на сладкие речи и чужд тех ухищрений, которыми покупается и удерживается внимание толпы, но люди умные и проницательные из любого общественного круга всегда чувствовали к нему расположение. Его хвалили за справедливое отношение к подчиненным, ценили за готовность помогать бедным и обездоленным (если они того заслуживали), он неизменно пользовался уважением своих собратьев по даклинской общине. Это был в полном смысле слова хороший человек — один из тех, кто служит оплотом Америки.

Первое свое отцовское огорчение Солон испытал тогда, когда понял, что Айсобел некрасива, не в пример своим младшим братьям и сестрам. И вот настало время, когда она сама поняла это. У нее был чересчур длинный нос, волосы тусклые, какого-то неопределенного пепельно-серого оттенка, цвет лица землистый, лоб в прыщах. Еще маленькой девочкой она не раз ощущала, что чем-то отличается от других, красивых детей, теперь же, в ред-килнской школе, ей с этим приходилось сталкиваться на каждом шагу. Мало-помалу она стала смутно догадываться, что эти тридцать пять мальчиков и девочек (в классе было примерно поровну тех и других) приходят в школу не только для того, чтобы учиться. Что-то еще происходило

здесь, что-то гораздо более близкое человеческой природе, и проявлялось оно в постоянном соперничестве между мальчиками из-за благосклонности той или иной девочки.

Как-то раз уроки кончились раньше обычного, и Айсобел решила пойти Джозефу навстречу. На дороге она вдруг увидела Уильяма Тесса, мальчика из жившей по соседству квакерской семьи, который гнался за одной из ее сверстниц, Порцией Даггетт. Догнав девочку, он схватил ее и поцеловал в щеку, насильно, по-видимому, но все же поцеловал. Бедная Айсобел! Она не могла не замечать, что Порция, хорошенькая, румяная блондинка, нравится всем мальчикам. Уильям был самым красивым из ред-килнских школьников, и сама Айсобел втайне чувствовала к нему безотчетное влечение. То, чему она стала невольной свидетельницей, задело ее за живое; несколько дней она ни о чем другом не могла думать. Мать, заметив, что девочка словно не в себе, спросила, не захворала ли она.

— Да нет, мама, я здорова, — ответила Айсобел безучастно.

— Но у тебя какой-то странный вид, детка, — настаивала обеспокоенная Бенишия. — Может быть, неприятности в школе?

— Нет, мама, никаких неприятностей. Просто мне очень надоели все наши мальчики и девочки. Хоть бы у меня были еще какие-нибудь знакомые дети! Ты даже не знаешь, мамочка, как это надоедает, — каждый день делать одно и то же, видеть одни и те же лица. Никуда мы не ходим, ничем не занимаемся.

Бенишия была озадачена.

— Что ты, Айсобел! — сказала она. — Ведь ты же знаешь, что мы, твой отец и я, делаем для тебя все, что только можем. Ты живешь в чудесном доме, ты не одна, у тебя есть братья и сестры. Чего тебе еще нужно? Право, я тебя не понимаю, Айсобел.

Но голос ее звучал не совсем уверенно; у нее уже мелькнула смутная догадка о том, что, собственно, огорчает ее девочку. Между тем Айсобел, видно, сочла этот разговор бесполезным, и ушла к себе, сославшись на то, что у нее на завтра много уроков.

В одном Айсобел была права: ее отец и мать действительно не склонны были расширять круг знакомств, довольствуясь своей многочисленной родней да друзьями из местных квакеров. Если нужно было что-нибудь купить в городе или побывать на почте, детям не разрешалось ехать иначе как в сопровождении старого Джозефа или одной из служанок. Летними вечерами они часто выезжали встречать отца на станцию, но никакие бесцельные прогулки не допускались. Немудрено поэтому, что внешний мир казался Айсобел заманчивым и таинственным, непохожим на тот, в котором она жила.

Постоянно видеть перед глазами младшую сестру Доротею тоже не доставляло ей особого удовольствия. Доротея была хорошенькая, жизнерадостная девочка, которой всегда все любовались. Это, естественно, воспитывало в ней уверенность в себе; она очень рано привыкла нравиться и держалась так, словно это было в порядке вещей. Она ходила легкой, пританцовывающей походкой, капризно надувала губки и не скупилась на улыбки и взоры, которые были очень не по душе ее отцу.

— Дочка, — говорил он ей, — почему это ты не можешь ходить спокойно и прямо, как подобает девочке нашей веры? Почему нужно непременно вертеться штопором или извиваться, как червяк? Это и некрасиво и нескромно...

— Но, папа, я же ничего дурного не делаю!

— Знаю, Доротея. Я тебя не упрекаю, я только хочу обратить твое внимание на то, как следует держать себя разумной и благонравной девочке твоего круга и воспитания. Надеюсь, ты не заставишь меня возвращаться к этому разговору.

— Нет, папа.

Но жизнь продолжала бурлить в Доротее, особенно когда она находилась вне дома. Мальчикам в школе она нравилась. Было что-то в ее взгляде, в изгибе губ, что смущало и тревожило их. Они увивались за ней, а она принимала это с благосклонной непринужденностью, держась с ними запросто, но не слишком; и вокруг нее создавалась атмосфера поклонения, сильно раздражавшая Айсобел.

Когда Айсобел исполнилось четырнадцать лет, ее отправили в Окволд. Но и там было не лучше, чем в Ред-Килне. Как-то, спустя несколько недель после ее поступления туда, Солон и Бенишия собрались навестить дочь. После обеда, оставшись наедине с матерью, она, к величайшему изумлению последней, вдруг разрыдалась.

— Мама, милая, возьми меня домой, возьми меня домой! — твердила она сквозь слезы.

— Айсобел, девочка моя! — заволновалась Бенишия, полная жалости и материнской любви. — Что случилось? Тебе не нравится здесь? Кто-нибудь тебя обидел?

Но Айсобел, растроганная этой нежностью, зарыдала еще сильнее, уткнувшись ей в плечо.

— Мама, меня никто не любит, никому я не нужна. Почему я не такая красивая, как Дженнет Гайл или Персис Ченелер... — Названные девочки возглавляли две разные компании в ее классе. — Ах, мама, если б ты знала, как мне иногда хочется умереть!

— Айсобел! — Бенишия была потрясена горем дочери и сознанием, что этому горю нельзя помочь. — Так говорить нельзя. Это не по-христиански. Если ты хочешь домой, пожалуйста, мы сегодня же увезем тебя. Но подумай хорошенько. Ведь ты здесь совсем недавно, ты еще не успела познакомиться и подружиться со своими сверстницами. Немного терпения, и все будет хорошо. А зато вспомни, сколько полезных знаний ты можешь тут приобрести. Хорошее образование очень пригодится в жизни, детка. Неужели тебе так уж плохо здесь? Ведь я сама училась в Окволде, и мне здесь очень нравилось.

Солон тоже, жалея дочь, постарался выказать ей побольше нежности и участия, и Айсобел, пригретая родительской лаской, постепенно дала себя уговорить и решила остаться. Она выплакала все накопившиеся обиды, и ей стало легче.

Но Солон и Бенишия только теперь поняли до конца, как много теряет в жизни их дочка из-за своей непривлекательной наружности. Они почти не разговаривали об этом, но обоим было больно за девочку. Айсобел некрасива и потому страдает, — однако, раз жизнью управляет божественное провидение и все на земле устроено ко благу земных чад, значит, и в этом скрыт какой-то высокий смысл. Айсобел может обрести и постигнуть этот смысл, развивая те достоинства, которые ей даны. А их долг помочь ей в этом.

И все-таки разговор в Окволде навсегда остался в памяти Солона и Бенишии, как напоминание о кресте, который они и их дочь обречены нести. Так жизнь заставила Солона мало-помалу уразуметь еще одну непреложную истину: хотя существующий в мире порядок вещей установлен от бога и хотя человек готов подчиниться божественным предначертаниям, в меру своей способности постичь их, — есть в жизни много такого, что может показаться несправедливым. Сын Арнольда Бриско оказывается вором; его, Солона, отец умирает во цвете лет, хотя мог бы счастливо и с пользой прожить еще многие годы; Айсобел суждено горевать из-за того, что она некрасива, а в будущем это может сделать ее глубоко несчастной. Подобные мысли одолевали Солона и в банке, во время работы, и по дороге в Филадельфию или обратно, и ночью, в постели, когда он лежал рядом с Бенишией, обняв ее одной рукой. И, думая об этом, Солон сокрушенно качал головой. Странно устроена жизнь. Взять хотя бы его: дела его идут превосходно, состояние быстро умножается, положение в банке с каждым годом становится все прочнее, у него прекрасные, здоровые дети, которые растут благополучнее, чем у многих других родителей, а между тем он не может отделаться от тягостных мыслей. Разве же не кощунство — подвергать сомнению данный от бога порядок вещей?

Но в мире творилось так много непонятного, печального, страшного; он особенно ясно понял это сейчас, когда благодаря работе в банке полнее и лучше узнал жизнь. Так почему же всемогущее и всемилостивое провидение допускает это?

ГЛАВА XXIX

Дети Барнсов очень отличались друг от друга по характеру, и это несходство с каждым годом становилось заметнее.

Орвил в двенадцать лет был красивым, хотя немного туповатым мальчиком, приветливым и послушным; он никому не доставлял особых забот, и его будущее не вызывало беспокойства. Зато Этта и Стюарт оставались загадкой не только для Солона, но даже и для Бенишии. Оба смутно начинали понимать, что в их младших детях есть много такого, что нелегко укладывается в рамки привычных представлений о жизни. Особенно своеобразной и непохожей на других была Этта, в чем Солону пришлось убедиться уже в первые годы ее жизни. Эта крошечная и грациозная, словно лесной эльф, девочка обещала развиться в женщину, прекрасную телом и душой, но Солон не понимал и чувствовал, что никогда не поймет мечтательного склада ее ума, склонного к романтике и отвлеченным раздумьям и совершенно чуждого той житейской трезвости суждений, которой он, как отец, всегда добивался от своих детей. Это была натура слишком тонкая, слишком поэтическая.

Есть люди, которые, в отличие от натур реального, практического склада, очень рано подпадают под власть идеала и уже не могут с ним расстаться. Это в них заложено от природы. Мир для таких людей не есть нечто материальное, конкретное, как для большинства из нас; он воспринимается ими как симфония красок, звуков и образов. Но им трудно приспособиться к этому миру, потому что они не встречают у окружающих того понимания, того душевного отклика, которых так жаждут.

С первых лет своей жизни Этта была мечтательницей. Она постоянно жила среди видений красоты, какие порой открываются каждому из нас, увлекая и очаровывая, но вместе с тем оставаясь непонятными. Там, где ее отец, сестры, братья могли бы проявить свой ум, она ума не проявляла. Бывает особый ум, направленный только на восприятие прекрасного, способный вдохновляться формой облаков или изгибом усиков лозы, ум, далекий от всего материального, сущность которого не мысль, а мечта, но мечта эта сродни надеждам и стремлениям всех людей на земле.

Такой ум был у Этты. С тех пор как началось ее сознательное существование, она жила в своем, особом мирке. Правда, Стюарт и Доротея были постоянными товарищами ее игр, а иногда к ним присоединялся и Орвил или Айсобел, но общение с ними было для Этты чисто внешним; внутренне, духовно она оставалась им чужой. Часто, играя со Стюартом или Доротеей, она вместе с ними собирала чурки и камешки, чтобы построить дом, крепость или город, но в то время как они целиком были поглощены этим конкретным занятием, ее маленькая душа витала далеко, среди великанов, ангелов и безыменных крылатых существ, роящихся в воздухе и наполняющих его прекрасными видениями. Как-то раз соседка, миссис Тенет, женщина, не лишенная поэтической жилки, рассказала ей сказку о фее Берилюне, которой стоило только взмахнуть палочкой, и все вокруг становилось прекрасным. Услыхав эту сказку, Этта создала в своем воображении целое царство, где все было красиво до слез: на зеленых равнинах возвышались дворцы из халцедона и яшмы, а вокруг росли цветы невиданной красоты. Она часами сидела, слегка раскачиваясь в своей маленькой качалке, и ее круглые голубые глаза, устремленные вдаль, казалось, смотрели на что-то, недоступное другим взглядам.

— О чем ты задумалась, Этта? — ласково спросила ее в одну из таких минут мать.

— О феях, мама. Я только что видела принцессу Берилюну. — Девочка произнесла это просто и очень серьезно.

— О феях? — немного растерянно переспросила Бенишия. Она знала, что Солон не любит, когда детям рассказывают о том, чего не существует на самом деле. — А кто тебе говорил про них, детка?

— Миссис Тенет. Она мне рассказала про одну прекрасную фею, которую зовут Берилюна.

— Что же, это добрая фея или злая? — спросила Бенишия, в глубине души сама не вполне убежденная в том, что ничего подобного не существует на свете.

— Конечно, добрая! — решительно заявила Этта.

— Ну, расскажи мне про нее, — попросила мать; ей хотелось узнать, чем заняты мысли дочери.

Минуты три или четыре Этта довольно сбивчиво пересказывала сказку, которую она слышала от миссис Тенет. Бенишии сказка понравилась, и она сказала:

— Может быть, и вправду есть такие феи, которые награждают хороших детей и наказывают дурных. Так что ты помни, всегда будь хорошей девочкой.

Этта задумчиво посмотрела на нее, и много дней после этого разговора, услышав шелест листьев на ветру, она тотчас же вскакивала и озиралась по сторонам. А вдруг это фея Берилюна, окруженная свитой эльфов, про которых так хорошо рассказывала миссис Тенет, пролетает мимо, направляясь к садам, где цветут райские цветы!

Даже поступив в школу, Этта не перестала мечтать. Мир казался ей неотразимо прекрасным; солнечный восход и закат, стук дождя по оконному стеклу, шелест деревьев, когда по ним пробегает ветер, — сколько красоты было во всем этом!

Что касается Стюарта, белокурого младшего сынишки Барнсов, то у него не проходило дня без какой-нибудь проказы, — так по крайней мере утверждал Солон. То он притащил с чердака маленьких голубят, из которых несколько успело околеть, прежде чем их обнаружили в комнате. То вздумал прокатиться на дворовых псах Барке и Тэксе и соорудил упряжь из веревок, в которой они потом запутались, и дело кончилось отчаянной собачьей грызней. Не было уголка в доме, куда бы Стюарт не сунул носа: он постоянно оказывался в самых неожиданных и неподходящих местах, откуда вылезал весь в грязи и пыли. Бенишия, как и Солон, не была сторонницей телесных наказаний. Но Стюарт частенько вызывал у нее желание задать ему хорошую трепку.

— Подождем несколько лет: вырастет — образумится, — утешал ее Солон; он так любил своих детей, что готов был ждать сколько угодно.

Но однажды Стюарт выкинул штуку, которая встревожила Солона больше всех его прежних шалостей. К ним с Эттой пришли играть соседские дети, два мальчика и две девочки, все в возрасте от пяти до восьми лет, и Стюарт, которому тогда шел седьмой год, предложил играть в индейцев; они раскрасят себе тело, сказал он, и будут рыскать по лесам. Совершив набег на материнские рабочие столики, они раздобыли всяких лент и шнурков, а в курятнике нашлись перья, которыми они себя украсили. Вблизи от усадьбы Барнсов протекала небольшая речка с берегами из красной глины, обладавшей свойствами хорошего и прочного красителя. Дети побежали к речке, разделись, вымазались глиной и в таком виде отправились в лес. Но когда, наигравшись и устав, они захотели вернуться, то оказалось, что память у всех шестерых значительно уступает воображению: никто не мог вспомнить, в каком месте они оставили свое платье. Начались утомительные поиски.

Между тем родители, видя, что детей долго нет, забеспокоились и пошли их искать. Сперва миссис Барнс послала за Стюартом и Эттой Кристину, а когда Солон вернулся из банка, он и сам пустился на розыски. Услышав окликавшие их голоса, дети в испуге заметались по лесу. Потом сообразили, что надо хотя бы отмыть краску с кожи, но для этого требовалась вода, а чтобы добраться до воды, нужно было выйти и обнаружить себя. Решили лучше спрятаться. Тут одна маленькая девочка заплакала, а за ней и самый младший мальчик. Но Стюарт, быстро вошедший в роль предводителя, прикрикнул на них и велел сидеть смирно.

Было уже без четверти шесть, когда Солон и отец одного из мальчиков, обходя с разных сторон небольшой пригорок, вдруг за поворотом увидели беглецов. Этта сидела, прижавшись в страхе к другой девочке; Стюарт и еще один мальчик с мрачными лицами стояли на страже. При виде отцов все дружно заревели. Сбежались остальные родители и бросились к детям, позабыв свою тревогу. Только Солон остановился в растерянности. Вид детей, как он ни был забавен, смутил его. Ведь они были совершенно голые. А их родители смеялись!

Все же он с чувством облегчения взял сына и дочь за руки и повел домой. Он меньше винил Этту, чем Стюарта: хоть она и была старше, но он знал, что все шалости исходят от него. Войдя в комнату Бенишии, он подтолкнул к ней обоих плачущих детей и сказал:

— Вот, полюбуйся, Бенишия. Играли в лесу и потеряли свое платье.

При взгляде на Стюарта и Этту Бенишии захотелось и плакать и смеяться, но ее удержало серьезное выражение лица Солона. Однако потом, отмывая Стюарта от красной глины (Эттой занялась Кристина), она потребовала, чтобы он рассказал ей все, как было, и все-таки посмеялась втихомолку.

Солон, однако, отнесся к делу иначе. Отец пятерых детей, он хорошо знал, что только строжайшая дисциплина и воспитание в истинно религиозном духе могут внушить ребенку правильные представления о добре и зле. Но разве они с Бенишией не делали все для того, чтобы сохранить своих детей чистыми в помыслах и поступках? Так что же, значит, где-то все-таки был допущен промах? Раз Стюарт мог преспокойно раздеться догола и в таком виде разгуливать среди других детей, да еще уговаривать их последовать его примеру... Придется нынче же поговорить с мальчиком серьезно.

Стюарт со смиренным и покаянным видом выслушал отцовское нравоучение на тему о святости человеческого тела. Впрочем, назавтра вся эта история вылетела у него из головы; зато Солон еще очень и очень долго не мог ее забыть.

ГЛАВА XXX

Когда Солону Барнсу шел сороковой год, в делах банка произошли перемены, принесшие ему новые заботы и новые, более ответственные обязанности. Серьезно заболел Эзра Скидмор, председатель правления, — настолько серьезно, что уже не оправился и умер, три года проболев. В связи с его болезнью пришлось произвести некоторые перемещения среди администрации банка. Сэйблуорс был назначен временным председателем, Эверард — временным вице-председателем, а Солону поручили обязанности казначея. Его жалованье, постепенно повышавшееся из года в год, теперь уже достигало десяти тысяч долларов. Кроме того, так как по уставу все лица, занимавшие руководящие должности, входили в правление банка, Солону необходимо было стать для этого владельцем хотя бы нескольких акций. Из этих соображений на него записали две учредительские акции. Газеты широко оповестили публику обо всех этих переменах и перемещениях, и понадобилось очень немного времени, чтобы за Солоном утвердилась репутация настоящего делового человека, выдающегося по своим способностям и знаниям. Джастес Уоллин с удовлетворением мог сказать себе, что не ошибся в выборе зятя.

Что касается самого Солона, то ему и льстило и в то же время казалось забавным то внимание, которое он теперь встречал со стороны людей, прежде почти его не замечавших. Одним из таких людей был Комптон Бенигрейс-младший, с которым Солон когда-то вместе учился в школе. Столкнувшись с ним однажды на улице, Бенигрейс выразил восторг, показавшийся Солону явно преувеличенным.

— Здравствуй, Солон! — шумно приветствовал он бывшего одноклассника. — Я прочел в газетах, что ты назначен казначеем Торгово-строительного банка. Тебе можно позавидовать: казначей такого солидного учреждения — это не шутка.

Солону бросилось в глаза, что Бенигрейс одет не в традиционный квакерский сюртук, а в костюм, сшитый по моде. И этот тоже стал отступником, подумал он. Но в конце концов, если человеку угодно поддерживать приятельский тон в разговоре с товарищем детских лет, что тут можно возразить?

— Да, — сказал Солон. — Я доволен. Ну, а у тебя как дела? Выглядишь ты очень хорошо.

— О, мои дела превосходны, лучше не надо, — небрежно ответил Бенигрейс. — Я служу в Американском учетном банке. Выберешь время, зайди ко мне, буду очень рад.

И с тем распрощался.

Так же повел себя Джордан Парриш, сын Керкленда Парриша, человека богатого, с большим весом в обществе. Парриши приходились сродни Уоллинам, но Солон, вопреки своим религиозным убеждениям, всегда испытывал к Джордану неприязнь. Это был малорослый человечек желчного и ехидного нрава; встретившись с ним случайно в коридоре банка, Солон тотчас же отметил, что он, как и Бенигрейс, отказался от традиционной квакерской одежды и, что еще хуже, от традиционного обращения на «ты».

— А, здравствуйте, брат Барнс! — воскликнул он. — Где это вы пропадаете? Я вас не видел целую вечность. Да, скажите, вы, говорят, получили место казначея?

— Это только временно, пока не вернется мистер Скидмор, — ответил Солон.

— Да уж ладно, я-то знаю. Скидмор никогда больше не вернется. А вы где живете — все там же, в Дакле?

Непринужденный тон, которым разговаривали эти отпрыски богатых семейств, невольно внушал Солону чувство, близкое к восхищению. Для них такой скачок в его карьере был словно в порядке вещей.

— Да, я живу там с тех пор, как женился, — сказал он. — Собственно не в самой Дакле, а по дороге к Ред-Килну.

— Скажите на милость! Вы теперь, верно, глава многочисленного семейства? Сколько у вас детей?

— Пятеро, — с гордостью ответил Солон. — А у вас?

— Всего двое. Я живу в своем имении в Девоне. Собрались бы вы когда-нибудь к нам в гости! Как поживает кузина Бенишия? Передайте ей привет и непременно приезжайте с ней вместе. Кстати, ведь я служу у Рула и Симмонса (это была известная маклерская контора) — мы могли бы с вами делать дела.

Он ушел, и Солон должен был признаться себе, что все эти любезности не были ему неприятны.

Новая должность повлекла за собой более тесное общение с клиентурой банка — ее представителями и доверенными лицами. Многих из них Солон уже знал по своей прежней работе в качестве кассира и помощника мистера Эверарда по отделу кредитов, но теперь ему приходилось встречаться с этими людьми при несколько иных обстоятельствах. Они являлись, чтобы исхлопотать ссуду, учесть одни векселя и получить отсрочку по другим; нередко это были сделки на тысячи долларов. Разумеется, там, где дело касалось очень крупных сумм, Солон ничего не решал единолично; вопрос должен был рассматриваться на заседании правления. Но небольшие ссуды он вправе был предоставлять по собственному усмотрению. И, занимаясь нуждами мелких коммерсантов, он всячески старался пойти им навстречу и устроить их дела наилучшим образом.

— Послушайте, Барнс, — сказал однажды мистер Эверард, видя, как осаждают Солона подобные клиенты. — Вы слишком уж много возитесь с этой мелюзгой. Очень хорошо, конечно, что вы стараетесь помогать им, но, право же, вы сберегли бы немало времени и энергии, если бы попросту закрыли им счет. Есть достаточно небольших банков, которые охотно займутся их делами.

Солон понимал, что это совет разумный, но ни за что на свете не согласился бы ему последовать. Он с глубокой симпатией относился к честным, небогатым коммерсантам, людям, не лишенным честолюбивых надежд, но порою не знавшим, как свести концы с концами. Сердце у него сжималось, когда он видел, как меняется лицо человека, которому отказывают в кредите или требуют немедленной уплаты долга. Не раз он тут же приглашал беднягу приехать к нему в Даклу с приходо-расходной книгой и всеми прочими документами, желая вместе с ним разобраться в положении и попытаться найти выход. Обычно, впрочем, это ни к чему не приводило. Те, кому везло, не нуждались в помощи по мелочам. Банк был заинтересован в такой клиентуре,

которая вовсе не искала поддержки, вела свои дела в крупных масштабах, а ссуды, взятые в банке, погашала в срок и с высокими процентами.

Но все же новое назначение пошло Солону на пользу; он теперь сталкивался с людьми, которых раньше почти не знал, и мало-помалу у него завязались в обществе и в коммерческих кругах знакомства, длившиеся потом долгие годы и сыгравшие немалую роль в его жизни.

ГЛАВА XXXI

По мере того как молодые Барнсы росли, жизнь становилась для них все более сложной, потому что один за другим они невольно начинали подмечать резкое несоответствие между родным домом и окружающим миром. Как ни прекрасны были традиции, господствовавшие в домашнем укладе Барнсов, эти традиции явно шли вразрез с живым, стремительным и напряженным духом времени, и даже от не слишком пытливого ума не могло укрыться это противоречие. Айсобел первая стала замечать, что в доме многое идет не так, как в других домах. И одежда и образ жизни ее родителей и их близких друзей отличались какой-то особой чопорностью. Во внешнем мире люди одевались и держали себя совсем иначе. Они чаще смеялись, их поведение было гораздо более непринужденным.

Барнсы жили словно приглушенной жизнью. Разговоры вполголоса, подавление всяких вспышек веселья или гнева, скупость на слова — все это было скорее правилом, чем исключением. Детям не разрешалось шуметь, особенно по вечерам, если отец работал, что бывало нередко. За столом им полагалось сидеть чинно, говорить только когда взрослые обращались к ним с вопросом, особенно если в доме были гости. Им вменялось в обязанность держать в порядке свое платье и свои вещи, выполнять все требования религии, соблюдать утром и вечером час молчания, когда надлежало читать про себя молитву или же ждать, покуда зазвучит в душе голос божий, — короче говоря, в своих поступках, речах и мыслях они должны были следовать всем правилам, предписываемым не только хорошим воспитанием, но тем особенным, глубоким ощущением религиозного смысла жизни, которое неотделимо от квакерского учения.

Между тем дети видели, что в мире, частицей которого являлся каждый из них, в Дакле, Ред-Килне, Филадельфии, бурлит веселая молодая жизнь, а доступ к этой жизни для них закрыт. Зимою школьники, мальчики и девочки, устраивали катанье на санях или, собравшись у кого-нибудь в доме, затевали разные игры, варили и ели сладкую помадку; когда замерзали реки, они гурьбой носились на коньках по Телл-ривер или Левер-крику, а когда выпадало много снега, скатывались на салазках с горы, что за городской почтой. Летом по Телл-ривер тянулись целые флотилии лодок. Население округи быстро росло, усиленно завязывались и поддерживались знакомства, особенно между детьми, с малых лет проникавшимися вольным духом времени.

Солон, однако, относился ко всему этому неодобрительно. Он твердо решил по возможности ограждать своих детей от посторонних влияний и потому не разрешал им принимать участие в подобных забавах. Что касается театра — о театре Айсобел слышала от одной из своих окволдских товарок, — это уж заведомо было от лукавого. А между тем Доротея, приезжая в город с отцом и матерью, просто глаз не могла отвести от крикливых, размалеванных афиш, возвещавших об очередном представлении. Немало беспокойства доставляла Солону растущая популярность велосипеда. Этот вид спорта, позволявший юношам и девушкам разъезжать без присмотра по улицам и сельским дорогам, развивал стремление к свободе, которое, на его взгляд, было весьма рискованно удовлетворять. А Орвил, с тех пор как ему исполнилось двенадцать лет, беспрестанно донимал родителей просьбами о велосипеде, и ссылки на то, что у хорошего мальчика и желаний таких не должно быть, по-видимому, его не убеждали. Впрочем, около этого времени случилось небольшое происшествие, показавшее Солону, что Орвил не всегда придерживается определенных ему домашними правилами границ.

Это открытие было сделано Солоном совершенно случайно. На окраине Даклы, там, откуда начиналась дорога, ведущая в Торнбро, находились кварталы, населенные беднотой. Местная детвора имела обыкновение после школы собираться для игры у входа в большое кирпичное здание методистской церкви. На стенах церкви и нескольких пустующих лавок, расположенных по соседству, часто можно было увидеть надписи мелом, сделанные неверной детской рукой. Десятки имен упоминались здесь в довольно неожиданных подчас сочетаниях. И вот однажды, проезжая мимо, Солон, к своему удивлению, прочитал на церковной стене ошеломляющее сообщение о том, что «Мейси Лэтем любит Орвила Барнса». Приехав домой, он рассказал об этом Бенишии.

— Боюсь, что он там водится с детьми, с которыми ему совсем не следовало бы водиться, — сказал он строго. — Я не знаю в нашей общине семьи по фамилии Лэтем. Да и вообще рано ему думать о девочках.

Пришла очередь Бенишии встревожиться. В тот же вечер перед ужином Орвил был вызван к отцу и подвергнут строгому допросу. Сначала он пробовал увильнуть от прямого ответа, но в конце концов сознался: да, он действительно несколько раз побывал у методистской церкви, но это только потому, что его уговорил одноклассник, Эдвард Нирджон. Он не хотел обидеть товарища отказом. Да, среди игравших там были и девочки, но никакой Мейси Лэтем он не помнит и о надписи на стене ему ничего не известно. Орвилу поверили на слово, и дознание на этом закончилось. Однако уклончивость ответов сына не ускользнула от внимания Солона.

Бунт Доротеи был более откровенным и непосредственным.

— Просто не понимаю, почему это мама и отец так строги с нами, — пожаловалась она как-то старшей сестре. — Кроме как к родственникам, мы никуда и носа показать не смеем. Посмотри, как живет Миртл Пиплз. Никто ей не говорит: ходи только туда-то, возвращайся домой в такой-то час. И Реджине Тенет тоже. А ведь они обе принадлежат к нашей общине.

Айсобел сидела, глубоко зарывшись в кресло, с обычным своим угрюмым видом. Даже Доротея, целиком занятая собственными огорчениями, почувствовала в настроении сестры какую-то непонятную грусть. Во взгляде, который та подняла на нее, была безнадежность, почти отчаяние. Конечно, ей тоже очень хотелось пойти покататься на роликах, но не этим одним объяснялась ее тоска.

— Ты права, Доротея, — сказала она и глубоко, протяжно вздохнула. — Не знаю, что тут можно сделать, но что-то сделать надо.

— Даже колясочку с пони, и то не разрешают завести! — продолжала Доротея. — Отец говорит, что хватит с нас двуколки и кабриолета. А ведь места в каретном сарае еще сколько угодно, и деньги на покупку тоже нашлись бы, я знаю.

— Попробую я поговорить с мамой. Может быть, она придумает, как нам помочь.

При всей решительности, с которой были сказаны эти слова, в тоне Айсобел не чувствовалось надежды на успех.

В тот же день, улучив удобную минуту, она спросила у матери, почему им не позволяют бывать на вечеринках, которые часто устраиваются у соседей. Однако полученное ею объяснение было далеко не утешительного свойства.

— Твой отец против этого, родная, — мягко, почти печально сказала Бенишия. — На таких вечеринках бывают всякие дети, а кроме того, там приняты игры и развлечения, которые он для вас считает неподходящими. Ведь ты всегда можешь пригласить подруг к себе и провести с ними вечерок в приятной беседе. Неужели тебе недостаточно общества тех, кто исповедует нашу веру?

— Но я знаю, что все мои окволдские сверстницы, тоже дочери Друзей, ходят на вечеринки, — жалобно сказала Айсобел, вспоминая увлекательные рассказы подруг о том, как весело они проводят дома субботу и воскресенье.

— А вот нам так ничего нельзя! — недовольно пискнула Доротея. Она услышала разговор Айсобел с матерью и поспешила вставить свое слово. — Дом да школа, больше мы ничего не видим. Детям из городской школы куда веселее живется!

— Доротея, Доротея! — с ласковой укоризной остановила ее мать. — Придет время, ты все это поймешь и оценишь. А сейчас ты еще слишком мала. Мне очень грустно слышать от тебя такие речи. Ведь ты отлично знаешь, что в полезном и нужном тебе никогда не отказывают.

— Но полезное и нужное — это еще не все, — надув губы, возразила Доротея. — И что ни говори, детям из городской школы живется веселее!

Так ничего и не вышло из их попытки выговорить себе бóльшую свободу, большее разнообразие жизни.

У Орвила и Стюарта разница в характерах была выражена еще более ярко. Стюарт с самого нежного возраста был неистощим на выдумки во всем, что касалось шалостей и проказ. Орвил отличался жадностью, копил центы и не любил, когда другие дети брали его игрушки; Стюарт, напротив, был ветрен и беспечен, постоянно терял свои шарики и волчки, а потом без спросу хватал братнины. Кристине и Бенишии то и дело приходилось разбирать возникавшие на этой почве бурные ссоры, взывая к столь высоким чувствам, как братская любовь, уступчивость, доброта и великодушие.

С годами различие между мальчиками стало сказываться еще резче. Орвил тянулся к состоятельной родне: к тетушке Эстер, к бабушке и дедушке Уоллинам, к Парришам и им подобным. Ему нравились их красивые благоустроенные дома с многочисленной прислугой, их сады, их породистые лошади и дорогие выезды. Стюарт тоже не оставался равнодушным к этим признакам материального благополучия, но особого значения он им не придавал. Его с самых ранних лет влекло все яркое, быстрое, красивое, все то, в чем ощущалось биение живой жизни.

Иногда отец брал его и Орвила с собой в Филадельфию, чтобы сделать какие-нибудь необходимые покупки. Шумные улицы, толпы пешеходов, автомобили, освещенные витрины — все это производило на Стюарта ошеломляющее впечатление. Он в

жизни не прочел ни одной сказки, не знал ни Мальчика-с-пальчик, ни Синей Бороды, ни Синдбада-морехода, но пестрый таинственный городской мир был для него настоящим сказочным царством.

Как-то раз они попали на Маркет-стрит во время военного парада. Музыканты в красных мундирах с медными пуговицами и особенно капельмейстер в высоченном кивере, размахивавший блестящей серебряной палочкой, привели Стюарта в такой восторг, что он стал прыгать, визжать и хлопать в ладоши. Отец удивился столь бурному ликованию, тем более что Орвил, который был всего на пять лет старше брата, отнесся к зрелищу совершенно равнодушно. Единственное, что его, по-видимому, заинтересовало, был большой барабан. «Вот так махина», — спокойно сказал он, когда барабанщик поравнялся с ними. Зато у Стюарта блестели глаза, горели щеки. Он чуть было не увязался за солдатами под оглушительный грохот барабана. Дома у него только и было разговоров, что о музыкантах в красных мундирах, о высоком черном кивере на голове капельмейстера и о сверкающих медью трубах. Он повидал уголок волшебного мира.

Наблюдая за обоими сыновьями, Солон покачивал головой. Орвил, осторожный и умеренный, больше заслуживал одобрения; Стюарт был слишком порывист, слишком нетерпелив, беспечен и опрометчив. И, однако, в самой этой живости и стремительности младшего сына заключалось для Солона что-то неуловимо притягательное. Что за человек из него получится? Можно ли судить о чем-либо по склонностям ребенка? Станет ли он когда-нибудь энергичным, смелым дельцом, каких Солону приходилось встречать в том мире, к которому принадлежал он сам и к которому наверняка будет принадлежать Орвил? Будущее Стюарта тревожило своей неопределенностью, и Солону хотелось силой своей отцовской любви спасти его от тех испытаний, которые, быть может, подстерегали его впереди. В детстве, когда Стюарт капризничал или просто хотел спать, устав за день, Солон любил укачивать его на руках. Он невольно любовался светлыми кудряшками мальчика, голубыми глазами, прямым, точеным носиком и похожим на купидонов лук изгибом рта. То был чувственный изгиб — но этого Солон Барнс не мог понять до конца, потому что природная застенчивость и сдержанность во всем, что касалось чувств, не позволяли ему даже думать о таких вещах.

Что до Этты, младшей из дочерей, то редко можно было встретить ребенка с такой огромной потребностью любви. Она всюду ходила за матерью по пятам, просто для того, чтобы быть к ней поближе. Но в ответ на всякую ласку она только слегка, словно нехотя, улыбалась, как будто ей было нужно что-то неизмеримо большее. «Чудачка ты моя маленькая», — говорила Бенишия, целуя ее и заглядывая в ее глазки, так напоминавшие глаза Солона.

ГЛАВА XXXII

Эстер Уоллин была старшей сестрой Джастеса Уоллина. Впервые увидев Солона в день его свадьбы с Бенишией, она сразу же почувствовала к нему расположение и в последующие годы сделалась частой гостьей в его доме. А поскольку Бенишия всегда была ее любимицей, то немудрено, что свою симпатию к родителям она распространяла и на детей, по мере их появления на свет. Сама она жила в Дэшии, в неуютном сером каменном доме, который сначала стоял довольно уединенно, но впоследствии, когда городок разросся, оказался окруженным со всех сторон другими домами, довольно претенциозными и безвкусными по своей архитектуре. После переезда Солона с семьей в Торнбро у нее вошло в привычку гостить у них по месяцу летом и зимой. В Торнбро, по ее уверениям, она чувствовала себя лучше, чем где бы то ни было. Комнатка, которую Феба Кимбер так любовно отделала для себя, после ее смерти пустовала — Феба ненадолго пережила сестру; и эту комнатку отвели теперь тетушке Эстер.

Ее приезды служили для детей серьезным испытанием по части выдержки и благонравия: когда тетушка Эстер почивала после обеда или же сидела в особом кресле с высокой спинкой, защищавшей ее от малейшего дуновения ветерка, и любовалась садом, приходилось вести себя особенно примерно; но была тут для них и своя выгода. Приезжая, тетушка Эстер всегда привозила подарки каждому из детей, кроме того, во время ее пребывания готовились особенно вкусные блюда и комнаты украшались цветами. Составлять букеты и ставить их в вазы лежало на обязанности Этты, и она всегда радовалась, когда тетушка Эстер хвалила ее природный вкус, помогавший ей находить наиболее удачные сочетания форм и красок.

Эстер Уоллин была женщина весьма передовая, умевшая смотреть на жизнь по-современному, трезво и без предрассудков. Благодаря тому, что она сама управляла солидным состоянием, доставшимся ей еще в молодые годы, у нее образовался широкий и разнохарактерный круг знакомств. С Солоном и Бенишией эта долговязая, сухопарая, энергичная старая дева любила вести нескончаемые споры, касавшиеся будущего их детей. Сама бывшая воспитанница Окволда, она давно уже пришла к выводу, что знания, получаемые в этом заведении, далеко не отвечают тем разнообразным требованиям, которые современная жизнь ставит перед молодым человеком или девушкой.

— Ты же прекрасно понимаешь, Бенишия, — начинала она обычно, считая, что Бенишию легче урезонить, чем Солона, — ты прекрасно понимаешь, что в наше время уже нельзя удовлетворяться теми знаниями, которые дает Окволд. Чересчур они ограниченны. Ну чему там учат девушек? Словесность, история, немножко математики да, пожалуй, еще ботаника или геология. О мальчиках я и не говорю! Допустим даже, что они выносят оттуда чуть побольше знаний, но уж, конечно, там не получишь такой подготовки к колледжу или к какой-либо практической деятельности, как в других школах. Помни, молодежь теперь не та, что была двадцать лет назад. Ты обязана позаботиться, чтобы твои дети получили все лучшее, что может дать современная школа, иначе твой долг перед ними не будет выполнен.

В отсутствие Солона Бенишия всегда соглашалась с теткой. Она сама, в своем общении с людьми, здесь и в Филадельфии, чувствовала, как ей не хватает знаний. Да и Солон не раз признавался в том же. Но зато в Окволде и других квакерских учебных заведениях за молодежью был бдительный присмотр, а этому он по-прежнему придавал первостепенное значение.

— Я и сам знаю, как важны в наше время профессиональные, технические знания, — возражал он. — Но ведь их можно приобрести и после окончания Окволда. Пусть проведут несколько лет там, а тогда уж я с более легким сердцем доверю их каким-нибудь новомодным заведениям, — мальчиков, во всяком случае. Что до девочек, они едва ли будут стремиться продолжать учение. К тому времени каждая из них повстречает, должно быть, славного молодого квакера, за которого она захочет выйти замуж, — заключал он с добродушной улыбкой.

Бенишия настолько любила мужа, что ему нетрудно было склонить ее на свою сторону. Но ведь вот тетушка Эстер, которая вдвое больше ее прожила на свете, так и не сделавшись ничьей избранницей, настаивает, что замужество не единственный путь, возможный для женщины, и что девушку, по каким-либо причинам не вышедшую замуж, ждут горькие разочарования на жизненном пути, если она заранее не найдет себе других интересов. Тетушка даже приводила в пример нескольких своих знакомых, которые, оставшись одинокими сиротами, вынуждены были зависеть от подачек родни, потому что не могли сами позаботиться о себе, не получив достаточного для этого образования.

Так, под влиянием тетушки Эстер, Айсобел в конце концов было разрешено готовиться к поступлению в колледж. Надо сказать, что мысль о колледже давно уже приходила ей в голову, и одна из окволдских учительниц, некая мисс Фрэзер, всячески поддерживала ее в этом. Мисс Фрэзер учительствовала уже восемнадцать лет; в свое время ей самой довелось пережить все то, что сейчас мучило Айсобел, и потому она с горячим сочувствием отнеслась к желанию девушки расширить круг знаний, полученных в Окволде, и придать им несколько более практический уклон. Мисс Фрэзер была убеждена в том, что новому поколению квакеров понадобятся более высоко и разносторонне образованные учителя, и она не раз указывала Айсобел на перспективы, которые могут открыться в этом направлении для честолюбивой и взыскательной девушки.

Среди окволдских одноклассниц Айсобел нашлась еще одна, по имени Аделаида Прентис, у которой были такие же планы. Она тоже происходила из квакерской семьи, но верования и принципы Общества друзей не наложили на нее особенно глубокого отпечатка, потому что, принадлежа к этой среде по рождению, она никогда не разделяла полностью господствующих в ней религиозных взглядов. Как и Айсобел, она не отличалась красотой и довольно болезненно ощущала недоступность тех радостей, которые украшали жизнь более красивых девушек. Одинаковые недостатки и одинаковые стремления послужили основой дружбы между Айсобел и Аделаидой; они часто и подолгу обсуждали вопрос о поступлении в высшую школу, пока, наконец, мисс Фрэзер не помогла им подойти практически к решению этого вопроса.

Солон, однако, поставил условие, что сам выберет учебное заведение, в котором Айсобел будет готовиться к педагогической деятельности, если уж она так на этом настаивает. Он остановился на Льевеллинском колледже для девиц. Это заведение было основано членами Общества друзей, хотя и носило вполне современный характер; к тому же оно находилось сравнительно недалеко от Филадельфии. Айсобел согласилась с выбором отца, и было решено, что на следующий год она поступит в Льевеллинский колледж.

ГЛАВА XXXIII

Орвилу к этому времени исполнилось семнадцать лет, и он уже три года проучился в Окволде. Это был высокий стройный юноша, темноглазый, темноволосый, с приятными чертами лица, чрезвычайно выдержанный и самоуверенный. В отличие от Айсобел его ничуть не привлекала перспектива продолжать свое образование. Родственные связи с широко разветвленной фамилией Уоллинов внушили ему уверенность, что его ожидает обеспеченная и притом незаурядная карьера. По правде сказать, он больше времени уделял приобретению полезных знакомств, чем занятиям, но все же ухитрялся сдавать все экзамены и даже получать хорошие отметки.

Чести быть его ближайшим другом удостоился Эдвард Стоддард, сын Айзека Стоддарда из города Трентона. Этой дружбе придавало особый интерес то обстоятельство, что у Эдварда была сестра Алтея, которая тоже училась в Окволде. Правда, обучение в Окволде велось раздельно, и девушки с юношами встречались только в часы молитвы и в свободные от занятий дни, так что знакомство Орвила с Алтеей подвигалось довольно медленно. Но все же оно подвигалось, потому что Алтея, бесцветная, недалекая девица, характером весьма схожая с Орвилом, почувствовала к нему сильное влечение и вскоре сумела устроить так, что брат пригласил его приехать в Трентон. После этого они часто виделись по праздничным дням, и Орвил стал задумываться над заманчивой перспективой породниться с богатым семейством Стоддардов. Алтея в глубине души была довольно равнодушна к вере отцов; для нее, как и для Орвила, важно было не религиозное содержание квакерства, а его внешняя сторона. Но брак с такой девушкой принес бы Орвилу деньги, обеспеченную, удобную жизнь, почет и уважение окружающих, а это было все, чего он желал для себя в этом мире.

Солон был очень доволен, узнав о том, что Орвил питает склонность к Алтее Стоддард. Он считал Орвила идеальным сыном и человеком, который по своим нравственным качествам безусловно заслуживает всяческого благополучия в этом мире. Поэтому его ничуть не удивило, когда Орвил, достигнув восемнадцатилетнего возраста, заявил о своем желании оставить Окволд и

поступить на службу к Айзеку Стоддарду, главе фирмы «Американский фаянс». В колледж он идти не собирался, и карьера делового человека была ему как нельзя более по душе.

Двадцатилетний с лишком опыт банковской работы убедил Солона в том, что достигнуть успеха на этом поприще можно только обладая соответствующими способностями. Он не был уверен, что у Орвила эти способности есть, и радовался тому, что юноша сам нашел себе занятие по душе. Поэтому он вполне одобрил намерение Орвила поступить на работу в «Американский фаянс». К старшим Стоддардам, Айзеку и его жене, он относился с величайшим уважением.

Но и на этот раз при решении судьбы барнсовского отпрыска не обошлось без тетушки Эстер. Дело в том, что упомянутая почтенная дама в свое время оказала Айзеку Стоддарду финансовую поддержку, которая помогла ему стать на ноги. Ей и поныне принадлежала треть капитала фирмы «Американский фаянс», и потому так важно было заручиться ее одобрением. К Орвилу она всегда благоволила, хотя, по правде сказать, была не слишком уверена в его нравственном и умственном совершенстве — уж очень редко от него можно было услышать меткие, оригинальные суждения о чем бы то ни было; но все же она знала, что он человек по-своему неглупый и способный, и можно не сомневаться, что он оправдает ее рекомендацию. А потому она уведомила Айзека Стоддарда, что будет очень рада, если Орвил станет приучаться к делу под его руководством, и ручается за его практическое чутье и безупречную добросовестность.

Любопытно, что одно из самых ранних воспоминаний Орвила было связано с фаянсовой посудой редких художественных достоинств, образцы которой он впервые увидел в трентонском доме своей двоюродной бабки Фебы. Муж Фебы, Энтони Кимбер, был первым владельцем фабрики «Американский фаянс», которую он приобрел, когда все оборудование состояло из двух гончарных кругов и печи для обжига, и со временем превратил в процветающее промышленное предприятие. После его смерти Руфус Барнс, действуя в интересах Фебы, продал это предприятие Эстер Уоллин и Айзеку Стоддарду. Таким образом, через Орвила восстанавливалась теперь оборвавшаяся было связь с прошлым, и в семейную историю Барнсов вновь вплеталась нить, ведущая к «Американскому фаянсу».

ГЛАВА XXXIV

Льевеллинский колледж для девиц представлял собою своеобразное скрещение устоявшихся старых порядков с тем духом новизны, который все сильнее овладевал наиболее свободомыслящей интеллигентной частью квакерства Восточных штатов. Основатели колледжа принадлежали к Обществу друзей, но в те годы, о которых идет речь, он с таким же правом мог считаться квакерским, как и протестантским или католическим. И все же, пусть правила, регулировавшие внутреннюю жизнь колледжа, и не были чрезмерно строгими, но сами стены его словно дышали какой-то стародевичьей святостью. Готическая чистота линий отличала архитектуру зданий и планировку парка. Плавно закругляющиеся дорожки пересекали зеленый простор газонов, сводчатые каменные галереи вели к жилым помещениям; за библиотекой, расположенной в пристройке более позднего времени, был дворик, окруженный крытой аркадой, где студентки любили заниматься в погожие дни. Там же происходили разные торжественные церемонии, отмечавшие конец и начало учебного года.

В стенах Льевеллинского колледжа жило около пятисот девушек в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет, предназначенных служить тем материалом, из которого должны были создаваться зиждительные нравственные силы будущего. Жилые помещения были расположены так, что студентки волей-неволей постоянно общались между собой. Все спальни выходили в обширный центральный холл; оттуда же был ход в умывальные и общую буфетную. Многие девушки жили по две, по три вместе; некоторые занимали вдвоем целый «апартамент», состоящий из двух крошечных спаленок, разделенных уютной маленькой гостиной. Предполагалось, что Айсобел с Аделаидой Прентис тоже поселятся в одном из таких «апартаментов», но в последнюю минуту у Аделаиды серьезно заболела мать, и она не решилась ее оставить. Для Айсобел это было большим огорчением: она понимала, что не только лишается подруги, но что, если она будет жить одна, ей гораздо труднее будет завязывать знакомства. Солон и Бенишия, не одобрявшие роскоши у себя дома, все же предоставили в распоряжение Айсобел достаточно денег, чтобы она могла купить все, что ей захочется, для украшения своей комнаты, и она заранее рисовала себе приятные картины: как вечером, после занятий, избранный кружок студенток будет сходиться у них в гостиной, как они будут петь, болтать, варить помадку, весело и дружно коротая время. Она съездила в Филадельфию, накупила гравюр, занавесок, диванных подушек, приобрела комнатную жаровню и хорошенький чайный сервиз. Ей самой, конечно, доставляли удовольствие все эти вещи, но, кроме того, она помнила, что уютная обстановка всегда производит благоприятное впечатление и на других.

Однако и тут, как в Окволде, она натолкнулась на уже сложившиеся компании, казалось, еще более замкнутые и тесные. Здесь точно так же ценились красота и личное обаяние, тем более что все эти девушки уже вступили в ту пору, когда вопросы любви и пола начинают играть первостепенную роль; и нужно было обладать особо жизнерадостным, общительным нравом, чтобы получить доступ в заколдованный круг. Процветало здесь злословие и даже снобизм, несмотря на то, что на словах подобные настроения осуждались. Льевеллинские студентки были старше окволдских школьниц и потому охотнее и увереннее критиковали особенности чужого характера, вкуса и умения одеваться. Но в то же время здесь, как и везде, чувствовалось стремление следовать тону, который задавала кучка избранных. Провинциальные простушки, только что вырвавшиеся из удручающего однообразия какого-нибудь маленького промышленного городка, но с туго набитым благодаря родительским заботам кошельком, превращались здесь в чистейшей воды снобов. Когда появлялась новенькая, десятки глаз пытливо оглядывали ее со всех сторон, прикидывая, заслуживает ли она принятия в тот или иной тесно сдружившийся кружок. Айсобел

в общем встретили благосклонно, как бесспорно «приемлемую» по общественному положению родителей, но всем своим складом она как-то не подходила к тому своеобразному стилю манер и поведения, который уже выработался у всех этих девушек. Ее никто не сторонился, но никто особенно и не искал ее общества.

Зато она обратила на себя внимание учителей, потому что отличалась большей сообразительностью и бóльшим прилежанием, чем многие ее сверстницы, а кроме того, не стеснялась отвечать на вопросы, когда была уверена в ответе. Но слава хорошей ученицы не завоевала Айсобел симпатии тех девушек, привлекательности и остроумию которых она так завидовала. Ее редко приглашали на совместные чаепития или дружеские беседы, хотя и не показывали, что избегают ее. Просто, завидя ее издали или услышав ее шаги, девушки норовили потихоньку улизнуть, а назавтра, при встрече, говорили ей: «Ах, мы вас искали, искали, но нигде не могли найти», или: «Мы думали, что вы занимаетесь, и не хотели мешать», хотя отлично знали, что в те часы она вовсе не занималась. Айсобел, от природы наделенная повышенной чувствительностью, прекрасно все видела и понимала. Девушкам было скучно с ней, и они нарочно изображали дело так, будто это она прячется от них и предпочитает уединяться с книжкой где-нибудь в дальнем уголке аудитории или жилого флигеля; и в конце концов она действительно стала прятаться и уединяться, притворяясь, будто погружена в занятия даже тогда, когда на самом деле и не думала о них.

Как-то раз одна из девушек в шутку подарила ей табличку с надписью: «Работаю, не беспокоить». Эту табличку Айсобел иногда вывешивала на своей двери, а сама в это время сидела в комнате одна, прислушиваясь к веселому смеху проходивших мимо студенток. Если бы ее однокашницам задали вопрос, как они к ней относятся, большинство, вероятно, ответило бы «очень хорошо» — но и только. Они не искали ее общества, и, в сущности говоря, ей вовсе незачем было вывешивать табличку на дверях: никто и не думал мешать ей, точно так же, как никому не пришло бы в голову, пренебрегши табличкой, войти к ней в комнату и ласково пожурить ее за то, что она такая «зубрила». Вероятно, она заплакала бы от радости, если бы произошло что-либо подобное. Постепенно, с жестокой ясностью, ей открылось, что она тут всем чужая, что ее мысли и чувства не находят отклика в окружающих и что есть какое-то особое очарование, свойственное молодости, которого она начисто лишена. В других девушках это было. Они умели одеться. Они высоко держали голову. Они пели, танцевали, шептались, у них были бесконечные тайны и секреты, которые они поверяли друг другу, тогда как у нее — у нее не было ничего, кроме ее книг. Мало-помалу, почти помимо своей воли, она пристрастилась к учению и, занимаясь историей, психологией, родным языком, впервые задумалась над тем, что в доме ее отца почти нет книг. Часто она говорила себе: «На что мне все эти знания? Быть учительницей я не хочу и не буду. Все это лишь потеря времени. Того единственного, чего бы мне хотелось, я все равно не могу получить». Она думала о том, сколько интереса и разнообразия вносят в жизнь других студенток молодые люди, которые приходят к ним в гости по субботам или встречаются с ними в Филадельфии. Одна студентка, такая же некрасивая, как и она сама, рассказала ей о любовных отношениях между некоторыми девушками и навещавшими их поклонниками, и Айсобел сначала ужаснулась, а потом почувствовала зависть. В конце концов, говорила она себе, ради чего вообще жить? Чтобы умереть старой девой? Так и не выйти замуж? Так и не узнать любви? Ах, если б и у нее появился поклонник! Пусть не красавец собой, но человек, которому нужна была бы именно такая, как она, который сумел бы оценить ее ум. Тогда и он и она были бы спасены от одиночества.

Как-то раз, под конец первого учебного года, в самый разгар той волнующей поры, когда каждый колледж живет в атмосфере весны, нарядных платьев, подготовки к экзаменам, грез о любви и надежд на счастье, которое многим кажется таким близким, Айсобел вбежала к себе в комнату, бросилась на постель, повесив на дверь спасительную табличку «Работаю, не беспокоить», и горько зарыдала. Таким обделенным природой, как она, видно, нечего ждать и не на что надеяться!

Столько есть красивых девушек на свете; но что же делать ей, которой бог не дал красоты? На что употребить свою жизнь? У нее слишком трезвый, практический склад ума, чтобы она могла отдаться полностью религии отцов. Конечно, живя дома, она часто читала Библию, читала и «Дневники» Джона Вулмэна и Джорджа Фокса, поскольку ничего другого не было, и эти книги нравились ей. Но ведь она — это именно она, а не Джордж Фокс и не Джон Вулмэн и не отец, который так верит в них обоих. Она — это *она*, и у нее свои, иные мысли и чувства. Ей скоро двадцать лет, а жизнь оборачивается к ней только своей унылой изнанкой. Айсобел поднялась, подошла к зеркалу и тяжело вздохнула. Да, волосы ее не блестят и не ложатся мягкими волнами, кожа не отличается гладкостью и белизной; фигура нескладная и угловатая, а глаза, мутные от слез, какого-то неопределенного линяло-серого цвета. Нельзя сказать, что она безобразна, решила Айсобел, но хорошенькой ее тоже не назовешь. В ней нет ничего привлекательного.

Примирившись с тем, что жизнь не сулит ей никаких или почти никаких интересных и волнующих встреч, Айсобел решила посвятить себя целиком науке. Однако в начале следующего семестра случилась приятная неожиданность: преподавательница, возглавлявшая кафедру психологии, ушла, и на ее место был назначен новый профессор — мужчина. Если не считать субботних и воскресных гостей, мужчин в Льевеллине можно было встретить немного — при колледже жили всего двое преподавателей, оба люди семейные; кроме них, было еще человек пять-шесть, которые являлись из внешнего мира и, отпустив своим слушательницам положенную дозу знаний, снова возвращались в свой мир. Дэвид Арнольд, новый профессор психологии, принадлежал к числу «приходящих». Его худощавая, подтянутая фигура произвела впечатление на многих студенток. Он был всегда серьезен, и его приятный, низкий голос звучал сдержанно и внушительно.

Некоторая общность во взглядах на жизнь и ее превратности послужила причиной того, что профессор Арнольд почувствовал симпатию к Айсобел. Задумчивая и всегда печальная, она резко выделялась из среды студенток. Он угадывал в ней угнетенную психику, которая заинтересовала его как ученого. Айсобел, однако, истолковала его дружеское участие как признак

начинающейся привязанности. Она, разумеется, ошибалась, но эта иллюзия сразу расцветила ее жизнь и отразилась даже на ее занятиях. Она решила специализироваться по психологии и за короткий срок обнаружила глубокое проникновение в суть предмета, что дало ей повод беседовать иногда с профессором после лекции или заходить к нему в кабинет. Впрочем, их разговоры не выходили из круга вопросов, связанных с темой, над которой она работала. Он редко расспрашивал девушку о ее семье, о ее личной жизни. Но и этой взаимной симпатии было достаточно, чтобы она почувствовала себя вознагражденной за все унижения, которые ей пришлось претерпеть.

Однако в последний год ее пребывания в Льевеллине туда поступила Доротея, и все обиды и страдания Айсобел начались снова. Младшая сестра, веселая, хорошенькая, была вполне под стать тем самым девушкам, которые чуждались и сторонились старшей, и ее сразу же приняли как свою. Чуть ли не в первый месяц она уже ездила на воскресные дни в гости к своим новым приятельницам и сделалась непременной участницей всех вечеринок и развлечений. Когда она спрашивала сестру, почему та вечером, в свободное время, не приходит посидеть с другими девушками, Айсобел вынуждена была прибегать к своей старой жалкой отговорке: она, мол, больше всего интересуется наукой и не хочет отвлекаться от своих занятий. Не раз Доротея из самых добрых намерений пыталась давать ей советы по части платьев или прически, но Айсобел в ответ только раздраженно пожимала плечами или огрызалась: «Тебя не спрашивают». В конце концов Доротея убедилась в бесполезности своих стараний и решила, что Айсобел — просто сварливая чудачка. Пример этих двух сестер лишний раз доказывал, к чему сводится на деле миф о родственных чувствах.

Между тем Доротея пришла к убеждению, что образ жизни, принятый в родной семье, решительно не по ней. Все ее существо восставало против тесных рамок, в которые пытались замкнуть ее существование. Ей только что исполнилось семнадцать лет, и целый мир радостей был открыт перед нею.

Она жадно вглядывалась в фотографии актрис и светских дам на страницах журналов и газет, которые впервые попали ей в руки, и мечтала о том, что когда-нибудь и она станет знаменитой и портреты ее будут печататься в газетах. И вот как-то в воскресном выпуске, в разделе светской хроники, появилась фотография, которая так взволновала ее, что она тут же с восторженными возгласами помчалась к Айсобел. Фотография изображала миссис Сигер Уоллин-младшую, супругу известного врача, и это была не кто иная, как бывшая Рода Кимбер. Роде удалось с течением времени осуществить свою честолюбивую мечту — выйти замуж за человека из богатой и влиятельной семьи. Отец ее мужа был квакером и приходился двоюродным братом Джастесу Уоллину; в свое время он унаследовал большое состояние, нажитое на эксплуатации каботажной пароходной линии. Рода была снята в сильно декольтированном платье, с жемчугом на шее и браслетами на полных округлых руках; волосы ее были уложены в замысловатую прическу. Подпись под фотографией гласила, что миссис Сигер Уоллин-младшая в настоящее время находится в одном из первоклассных отелей Атлантик-Сити, куда она уехала отдохнуть от своих утомительных светских обязанностей.

В юности и Солон и Бенишия были очень дружны с Родой, но после ее замужества почти не встречались с нею. Тот образ жизни, который она теперь вела, не мог быть по нраву Барнсам. Солон иногда встречал в газетах сообщение о светской деятельности Роды: то она совершала путешествие за границу, то устраивала обед в честь какой-нибудь знаменитости, то давала бал для очередной светской дебютантки, то еще что-нибудь в этом же духе. Но отношения между обеими семьями ограничивались формальными визитами, которыми обменивались два-три раза в год, причем и тут и там без слов понимали, что разница взглядов делает бóльшую близость и невозможной и ненужной.

И потому сейчас, когда Доротея сунула сестре под нос газету, Айсобел лишь мельком взглянула на фотографию и тут же заметила, что оригинал никогда не пользовался ее симпатией ввиду своего чрезмерного легкомыслия. Айсобел в то время готовилась к окончанию колледжа и не могла ни о чем думать, кроме своих академических успехов. Ей хотелось напоследок произвести на профессора Арнольда сильное впечатление, которое бы как-то сблизило их перед разлукой. Профессор довольно сдержанно проявлял свой интерес к Айсобел — иногда хвалил ее, изредка просил помочь в постановке какого-либо эксперимента, но ей казалось, что он уже привык видеть в ней помощницу, на которую можно положиться.

В последний день, разыскав Айсобел, чтобы поздравить с успешной сдачей выпускных экзаменов, он сказал ей несколько слов, которые еще больше укрепили эту надежду.

— Надеюсь, вы будете продолжать свою работу в области психологии, мисс Барнс, — заметил он серьезным тоном. — Жаль было бы, если бы ваш ум и способности не нашли себе применения. Вы не думаете учиться дальше? Или у вас есть другие планы — наверно, собираетесь выйти замуж? — Последнее было сказано с оттенком сожаления.

— Ах нет, профессор Арнольд, этого можно не опасаться! — Сердце у Айсобел заколотилось от внезапного волнения. — Но, вероятно, мне некоторое время придется побыть дома. Впрочем, иногда я буду приезжать на ваши лекции. Я ведь живу не так далеко отсюда.

— Буду рад вас видеть в любое время, — сказал он. — До свидания, дорогая мисс Барнс.

И это было все.

ГЛАВА XXXV

К большому удивлению Солона и Бенишии их младшая дочь не захотела идти по стопам своих сестер, по крайней мере в одном отношении. Когда Этте исполнилось четырнадцать лет и она уже усвоила все, чему можно было научиться в маленькой ред-килнской школе, она прямо заявила родителям, что Окволд ее не привлекает и ей хотелось бы поступить в какое-нибудь другое учебное заведение.

И тут снова на сцену явилась все та же тетушка Эстер. Она предложила отдать Этту в пансион для девочек в Чэддс-Форде, городке, расположенном среди живописных холмов на юго-востоке Пенсильвании, близ Брендивайна. Старые квакерские традиции соблюдались там не столь неукоснительно, как в Окволде, и наряду с физическим и духовным воспитанием ученицам старались привить вкус к сокровищам человеческого разума. Были выписаны проспекты Чэддс-Фордского пансиона; в них Этте особенно понравились фотографии, из которых явствовало, что воспитанницы совершают разные загородные экскурсии, иногда даже с ночлегом на свежем воздухе. Затем она с отцом и матерью съездила в Чэддс-Форд, чтобы повидать все на месте, и это окончательно решило вопрос.

Местность, где находился пансион, была довольно уединенной. Он стоял в стороне от шоссе, и добраться туда можно было только по узкой грунтовой дороге, тянувшейся от самого Чэддс-Форда и обычно почти безлюдной. Лишь изредка доносился гудок проносящегося автомобиля, перекличка велосипедных звонков или звучавший особенно романтично далекий свисток паровоза. И снова наступала тишина.

К центральному зданию школы примыкали небольшие пристройки в виде крыльев, где жили воспитанницы; тут же по соседству был домик директора, прачечная, кухня и столовая. Десятка два учителей и около сотни воспитанниц составляли население этого маленького мирка.

Этте, привыкшей к тишине родного дома, в пансионе все показалось новым и удивительным. Множество разнообразных книг, смех, болтовня, веселые, жизнерадостные девочки, — наверно, она найдет себе среди них подруг по сердцу, с которыми можно будет делить чувства, мысли и мечты. Этта всем своим существом тянулась к любви. Она не могла жить без ласки и в то же время, как это ни странно, с виду казалась недотрогой. Глаза ее смотрели так безмятежно, задумчиво и в то же время испытующе, совсем как у отца. Замкнутая по натуре, она постоянно томилась жаждой чего-то, однако иначе, чем ее мать, которая тоже когда-то испытывала это томление, но с нерассуждающей покорностью подавляла его в себе. Этта знала, что родители любят ее, но чего-то они в ней не понимали, каким-то душевным потребностям не умели ответить. Отец был слишком далек, слишком поглощен делами, особенно в последний год; мать настолько подчинилась его влиянию, что и к ней не всегда можно было подойти с раскрытой душой. И какая же наступала скука, когда день забот приходил к концу и двери дома запирались на ночь! Здесь такой скуки не знали. Этта иногда думала, что хорошо бы вовсе не возвращаться домой!

Время шло, а ее интерес к школьной жизни не ослабевал. Особенно она любила те часы, когда девочки, под предводительством мисс Лансинг, учительницы ботаники, отправлялись куда-нибудь в лес, на поиски подснежников и других еще несмелых вестников весны. Учительница показывала им побеги дикого винограда, поднималась с ними на скалистые уступы, откуда далеко видна была оживающая земля. Она учила их по обнажениям пород читать геологическую историю мира и, в частности, этих мест. Мисс Лансинг всегда старалась держаться подальше от проезжих дорог; но при том автомобильно-велосипедном психозе, которым в это время была охвачена страна, в любом месте можно было наткнуться на какую-нибудь компанию веселых путешественников. Такие компании или же отдельные парочки подъезжали иногда на велосипедах к самым стенам пансиона, как будто хотели проникнуть в тайны жизни, которая шла за этими стенами. И перед жадными и пытливыми взглядами пансионерок вдруг на мгновение открывался просвет в кипучий внешний мир.

Как-то в субботу, под вечер, Этта выглянула из окна своей комнаты и увидела двух молодых людей, юношу и девушку, которые медленно поднимались на велосипедах в гору. На девушке был белый свитер и очень короткая зеленая юбка. Мягкий берет небрежно сидел на ее темных локонах. Юноша был в коротких брюках и куртке спортивного покроя. Простота их костюмов понравилась Этте, но особенно поразила ее та ласковая нежность к спутнице, которая сквозила в каждом движении юноши. Неподалеку от западной стены жилого флигеля был тенистый уголок; здесь юноша соскочил со своей машины и бережно помог слезть девушке, а затем, к величайшему изумлению Этты, приподнял за подбородок ее лицо и поцеловал в губы.

Этта застыла, глядя на них широко раскрытыми глазами. Отдохнув несколько минут, молодые люди снова уселись на велосипеды и укатили, сверкая спицами колес в лучах закатного солнца. Этта, словно завороженная, смотрела им вслед, пока они не скрылись за поворотом дороги. Так вот она какая, любовь! Вся эта сцена на много лет врезалась ей в память.

Но, пожалуй, наиболее знаменательное событие в пансионской жизни Этты произошло на второй год ее учения, когда в Чэддс-Форде появилась Волида Лапорт. Волида, живая, полная энергии девушка, приехала из Мэдисона, штат Висконсин. Ее нельзя

было назвать хорошенькой, но чем-то она привлекала внимание, — быть может, тем, что больше походила на задорного крепыша-мальчишку, чем на девушку. Синее форменное платье, строгое и скромное, еще больше подчеркивало это сходство. Волида постоянно с восторгом говорила о своем родном Западе, — причем с решительностью, не допускавшей возражений. Она рассказала, что у ее отца аптека в Мэдисоне; ее родители — квакеры, переселившиеся на Запад из Пенсильвании.

— Вот меня и прислали сюда, чтобы я не отбилась совсем от их веры, — объясняла она. — Да только зря! Меня это ни чуточки не интересует, и потом до чего мне не нравится тут, на Востоке! Побывали бы вы в Мэдисоне или в Чикаго! Разве ваши восточные городишки могут с ними сравниться!

Этте Барнс эта забавная девушка понравилась с первого дня. Как-то раз, после лекции о правилах хорошего тона и об искусстве светской переписки, Волида сказала Этте:

— Все пансионы для девиц у вас, на Востоке, — сплошная чепуха! Ну чему тут учат? Хорошим манерам, да как одеваться к обеду, да как себя вести в обществе! Будто каждая девушка только о том и думает, как бы поскорей выйти замуж. Я, например, вовсе не для того живу на свете, чтобы в один прекрасный день стать чьей-то женой. Доучусь здесь, а потом поступлю в Висконсинский университет. Вот там действительно можно чему-то научиться! Пойду на медицинский факультет, сделаюсь врачом. Наш университет — самый лучший из всех, где принято совместное обучение. А совместное обучение самое правильное! Ведь у вас тут девочки смотрят на мальчиков, как на чудо какое-то! А что в них особенного? У нас, на Западе, считается, что у женщины голова не хуже, чем у мужчины. Подумаешь, невидаль — мальчишки! Даже слушать противно.

Но в том, что касалось мальчиков, Этте трудно было согласиться со своей новой подругой. В ней проснулся уже интерес — не то, чтобы к мальчикам вообще, но к любви, к тому прекрасному и необычайному в отношениях между юношей и девушкой, что дает обоим радость, силу и душевный покой.

По мере того как крепла ее дружба с Волидой, Этте все чаще приходилось выслушивать увлекательные рассказы о Висконсине — о Мэдисоне, об Окономовоке, об озере Бафф. Для Этты все это были только названия, но красноречие Волиды придавало им ту волшебную прелесть, которой манят нас берега далекой Индии. В изображении Волиды жизнь на Западе выглядела куда более яркой, привольной, увлекательной, чем на Востоке, а люди казались смелее и интереснее. Этту поражала та свобода, которой Волида пользовалась в родительском доме. Она могла покупать себе любые книги, какие хотела прочесть, ей разрешалось самой выбирать себе платья, встречаться с мальчиками, петь, танцевать, даже играть в карты! Этта невольно завидовала ей, сравнивая ее жизнь со своей жизнью в Торнбро. Смелый и независимый образ мыслей подруги покорял ее.

А кроме всего прочего, Волида, бесспорно, не лишена была обаяния, правда, несколько своеобразного, скорее мальчишеского, чем девичьего. Обычно в тех случаях, когда школьная форма была необязательна, она надевала строгий английский костюм и белую блузку с накрахмаленным воротничком и манжетами. Мало-помалу Этта стала относиться к ней, как могла бы относиться к другу-мальчику, и слушалась каждого ее слова, по-женски преклоняясь перед мужским складом ее ума и характера. Растущую привязанность Этты заметили в школе и стали дразнить ее тем, что она «влюблена» в Волиду. Но Этта не обращала внимания на болтовню подружек; ей хотелось жить жизнью Волиды или хотя бы как-то приобщить ее к своей жизни, чтобы этим выразить свою признательность за дружбу и понимание.

И вот она написала матери, прося разрешения пригласить Волиду в Торнбро на ближайшие каникулы, которые должны были начаться в День благодарения. В этом же письме она осторожно намекнула, что хотела бы по выходе из пансиона поехать учиться в Висконсинский университет, а не в Льевеллин, как предполагали родители.

ГЛАВА XXXVI

Нельзя сказать, чтобы новая подруга Этты произвела особенно благоприятное впечатление на ее домашних. Когда обе девушки приехали в Торнбро, Солон и Бенишия приняли гостью ласково и сердечно, но она показалась им дерзкой и невоспитанной, и ни ее рассуждения, ни манера держать себя не пришлись им по душе.

— Это что же, девчонка или мальчишка? — спросил Стюарт у сестры, застав ее одну в гостиной. Его смешили и короткие волосы Волиды, и ее упрямый подбородок, и размашистая мальчишеская походка.

— Вот и не водись с ней, если она тебе не по вкусу, — сказала Этта, слегка обиженная.

— Да оставь ты ее себе, очень она мне нужна! — пренебрежительно заявил Стюарт. Впрочем, в обращении с гостьей он был неизменно вежлив и мил.

Айсобел и Доротея — они обе тоже приехали домой на каникулы — отнеслись к Волиде довольно сдержанно. Доротее она просто не понравилась, а Айсобел сочла ее не заслуживающей внимания по молодости лет. Но после нескольких дней

знакомства эта совсем еще юная девушка заинтересовала Айсобел своим недюжинным умом и самостоятельностью мнений и поступков. Старшая невольно почувствовала уважение к младшей, слушая, как твердо и уверенно говорит та о своих жизненных планах.

Зато для Бенишии самый тип такой девушки, как Волида, был чужд и непонятен. Она привыкла видеть назначение женщины в том, чтобы создавать домашний очаг мужчине и быть матерью его детей. Таков удел, определенный ей господом богом.

Немудрено, что желание Этты уехать с Волидой на Запад и поступить в Висконсинский университет не встретило у Солона ни малейшего сочувствия. Он уже раньше написал представителю Торгово-строительного банка в Мэдисоне и просил его навести справки о семействе Лапорт. Полученные сведения оказались достаточно благоприятными, чтобы развеять его первоначальные опасения по поводу новой привязанности Этты; но когда он увидел Волиду, то сразу же смутно почувствовал, что это все-таки неподходящая подруга для его дочери. К тому же Висконсин был слишком далеко; молодой девушке не следовало так далеко уезжать от дома. Солон сделал вид, будто в этом все дело, не желая говорить Этте о том, какое тревожно-неприязненное чувство внушает ему Волида.

Этта, чутьем угадавшая правду, промолчала, но в глубине души окончательно пришла к выводу, что ее родители — люди безнадежно отсталые и старомодные. И она решила, что все равно поедет в Висконсин, пусть даже против их воли. До окончания пансиона остается еще год, а за это время можно будет что-нибудь придумать.

По возвращении в Чэддс-Форд подруги сблизились еще больше, и мечта Волиды о самостоятельности сделалась их общей мечтой. Они строили планы о том, как вместе будут учиться в университете, а потом, может быть, поедут в специальное учебное заведение, чтобы усовершенствоваться в профессии врача. Этта готова была подражать Волиде решительно во всем: Волида на целый год старше, лучше знает жизнь и вообще так хорошо разбирается во многих вещах!

В самом деле, у Волиды почти на все были свои взгляды, даже по таким вопросам, как экономика, политика, религия. И в Этте под ее влиянием зародилась глубокая жажда знаний. Но если Волиду интересовали практические области науки, Этту больше влекли музыка, история, искусство, поэтические предания старины. Огромное впечатление на ее ум и чувства произвела «Дама с камелиями» Дюма. Эту книгу она увидела у Волиды и, уезжая на летние каникулы, взяла с собой, чтобы прочесть на досуге дома. Разумеется, она тщательно прятала ее от посторонних глаз, но трагический образ двух любовников не покидал ее целыми днями. Она еще не вполне понимала физическую сторону любви, и многие детали сюжета от нее ускользали, но все же ей казалось, что перед ней открылся новый, неведомый прежде мир, где поэзия сливалась с действительностью.

ГЛАВА XXXVII

Внутренний протест Этты и Стюарта против домашнего уклада становился тем сильнее, чем лучше они понимали, что этот уклад совершенно не отвечает душевным потребностям каждого из них, и яснее всего это сказывалось в их отношениях с отцом.

А между тем в глазах своей жены Солон Барнс был безупречным человеком, какого она и ожидала в нем найти. За двадцать лет она не могла припомнить случая ни в личной, ни в деловой его жизни, когда бы он, больной или здоровый, кстати или некстати, вышел из себя, допустил какую-нибудь некрасивую вспышку, сделал что-либо бесчестное и нехорошее. У него словно все время находился перед глазами излюбленный квакерами библейский текст, который гласит: «Но да будет слово ваше: «да, да» и «нет, нет». Когда к нему в дом или в его кабинет в банке являлся какой-нибудь коммерсант, банкир или адвокат, ему в голову не приходило прежде всего заподозрить посетителя в желании обмануть его, провести или подвести, нарушив свои обязательства перед ним или перед другими. Скорее напротив. Он всегда ожидал от людей только хороших и честных поступков и, надо сказать, редко ошибался. А если обнаруживал, что все-таки ошибся, то это скорее огорчало его, чем возмущало.

Правда, он всегда старался иметь дело с людьми, которые выше подозрений. Его часовщик, бакалейщик, мясник, портной — все это были люди с безукоризненной личной и деловой репутацией. Он считал, что величайшее предначертание, данное человеку от бога, — вступить в брак, иметь детей и вырастить их добронравными и послушными божьей воле. Изменить этому предначертанию — значит играть с огнем, и если, оглядываясь кругом, он видел, что кое-где массив, который представляет собой общество, дал трещину и появились люди или целые группы людей, позабывшие о долге и о добродетели, то всегда искал корень зла в ранее совершенных ошибках, в том, что кто-то уклонился от брака и рождения детей или же, вступив в брак, не сумел выполнить свои родительские обязанности.

Бывают, конечно, необъяснимые на первый взгляд бедствия, несчастные случаи, болезни и разные слабости, нарушающие порядок вещей и мирное течение жизни, но если бы можно было добраться до первопричины, то, вероятно, оказалось бы, что и тут дети в третьем и даже четвертом поколении караются за грехи отцов. Господь восседает на престоле своем. Он повелевает и солнцем и мраком. Человеку в его ничтожестве не пристало восставать, глумиться или отрицать. Пусть лучше благоговейно

преклонит колена и возблагодарит за многократно явленную ему милость, радуясь, если, наставляемый Внутренним светом, он сумел уберечь от зла свое потомство.

Однако для собственных детей — причем для всех пятерых по-разному — Солон Барнс был загадкой. Айсобел и Этта любили его и уважали, как человека строгих нравственных правил, но Этта с каждым годом все сильнее ощущала между собой и отцом пропасть, через которую не перекинуть моста. Только Доротея, с присущей ей беззаботностью, считала, что отец «прелесть» и «золото», потому что ей обычно удавалось его обойти. Орвил, думая о нем, создал себе отвлеченный образ человека властного и неприступного, которого можно чтить и уважать, но любить нельзя — разве только некоей условной сыновней любовью. А Стюарту чудилась в отце какая-то особая нежность, ничуть не умаляющая силу его личности, но тем не менее сокрытая в глубине его души, точно драгоценная порода в шахте, и почти недосягаемая, потому что ход к ней прегражден тяжелыми глыбами морали и долга.

Солон не понимал, что если ему до сих пор удавалось контролировать поступки своих детей, то над мыслями их он не был властен. Вероятно, сумей он проникнуть в мысли и желания, волновавшие его младшего сына, он бы ужаснулся. Стюарт был самым жизнерадостным и легкомысленным из всех пятерых, в нем особенно сильна была жажда удовольствий, и в четырнадцать лет любопытство неудержимо влекло его ко всему тому, что запрещалось домашними правилами и порядками. Он видел, что многие из его школьных товарищей живут гораздо веселее, и завидовал им. Особенную зависть внушал ему Перси Парсонс. Перси был не из квакерской семьи, хотя и учился в ред-килнской школе; отец у него был инженер, и жили они неподалеку от Торнбро. Этот черноволосый, черноглазый, задорный паренек очень нравился Стюарту. Он охотно после школы заходил к нему домой, всякий раз, когда удавалось разрешить себе подобную вольность. У Перси было так интересно! Можно было играть в разные игры, и книги там попадались такие занимательные — про индейцев, про следопытов, про дикий Запад — не то, что дома, где единственным чтением служили старые скучные квакерские трактаты.

Но примерно в это же время Стюарт познакомился с книгами другого рода, которые еще сильнее поразили его воображение. Просветил его в этой области Космо Родхивер. У отца Космо была книжная лавка в Дакле около почты, и Стюарт никогда не упускал случая завернуть туда, потому что у Космо всегда находилось для него что-нибудь интересное. Космо слыл докой по книжной части; кроме того, он уже разбирался в вопросах пола. Роясь среди книг, выставленных на продажу в отцовской лавке, он выискивал разные пикантные места, а то и прямую порнографию, и с особым наслаждением давал читать это другим мальчикам. Когда приходил Стюарт, он тотчас же вел его в глубину лавки и там демонстрировал свою очередную находку. Иногда это была фотография в каталоге какой-нибудь художественной выставки, изображавшая соблазнительную в своей наготе женскую фигуру.

— Хороша штучка, а? Неплохо бы провести с ней часок наедине? — говорил он, причмокивая, и оба впивались в фотографию жадными глазами.

С помощью Космо Стюарт узнал о многих вещах, о которых не опоздал бы узнать и через три-четыре года.

Достойным завершением этого периода его жизни явилось событие, происшедшее несколько месяцев спустя: вместе с Родхивером и Вилли Вудсом, тоже юнцом из Даклы, он побывал в трентонском театре на так называемом «ревю». Затея принадлежала все тому же Космо.

— Ребята, поехали в Трентон, там в «Орфеуме» каждый вечер шикарное представление и вход всего двадцать пять центов, — сказал он, и оба приятеля с готовностью согласились.

Родителям они решили сказать, что едут в гости к дяде Вилли Вудса, владельцу большой молочной фермы неподалеку от Трентона. Предлог показался вполне основательным, и разрешение было получено.

Представление отдавало дешевым балаганом: с десяток тощих девиц в трико маршировали по сцене под сальные шутки, отпускаемые двумя красноносыми клоунами. Но Стюарту это показалось волшебным зрелищем. Особенно сильное впечатление произвела на него одна из девиц. На ней было зеленое трико, расшитая курточка, доходившая только до талии, золотые туфли и золотой колпачок. Последующие дни он провел словно в экстазе. Смотрел ли он в окно классной комнаты, за которым цвели поля, брел ли домой по обсаженным кустарником проселочным дорогам, девица в зеленом неотступно была перед ним. Она плясала над полями, пряталась за деревьями в лесу, купалась в сверкающих струях ручья, шептала слова, слышные только ему. Девочки-школьницы, сидевшие вместе с ним в классе, теперь совсем по-иному притягивали его взгляды. Самых хорошеньких из них он мысленно раздевал донага.

Но неделю спустя ему пришлось вернуться с небес на землю и познать ту горькую истину, что все тайное рано или поздно становится явным. Один знакомый Орвила, заехавший в Торнбро узнать его трентонский адрес, в разговоре случайно упомянул о том, что в прошлую субботу встретил Стюарта в Трентоне, в театре «Орфеум». Никогда еще Стюарт не видел отца таким суровым и мрачным, как в тот вечер, по его приказанию явившись к нему в кабинет.

— Смотри мне в глаза, Стюарт! — строго сказал Солон, усадив мальчика в кресло напротив себя. — Я должен с тобой серьезно поговорить! Мне сказали, что в прошлую субботу тебя видели в трентонском театре. Я хочу знать, правда ли это.

Стюарт, с первой минуты заподозривший истинную причину неожиданного приглашения в отцовский кабинет, немного помялся, но потом чистосердечно рассказал все, как было.

Дослушав до конца, Солон встал со своего кресла, подошел к мальчику и остановился перед ним, заложив руки за спину.

— Я требую, чтобы это было в первый и в последний раз! Все театры — зло, и тебе там не место! — Он помолчал с минуту, затем продолжал: — Но больше всего меня огорчает, что ты солгал мне. Лживость — большой порок. Если ты приучишься лгать, не жди от жизни ничего хорошего. Ты никогда не сможешь смотреть в глаза порядочным людям. Они будут сторониться тебя, как прокаженного.

— Стюарт, сын мой, — продолжал он уже несколько более мягким тоном, заметив, что мальчик сидит совсем пришибленный, — у меня такие прекрасные планы относительно твоего будущего. Я не хочу, чтобы мои надежды оказались обманутыми. Через год или два я намерен определить тебя во Франклин-холл, а потом в специальный колледж, где ты получишь хорошее техническое образование. Если же ты предпочтешь карьеру банковского дельца, я и в этом готов пойти тебе навстречу. Но прежде всего я должен знать, что ты заслуживаешь моего доверия. А о каком доверии может быть речь, если ты станешь лгать мне? Я хочу, чтобы ты сейчас же дал честное слово, что никогда больше не скажешь неправды о своих намерениях, о том, куда ты идешь, с кем и тому подобное. Ты должен быть откровенным, правдивым и чистым при любых обстоятельствах.

Стюарт низко опустил голову, но по-прежнему молчал.

Отец, подождав немного, возобновил свою речь, и в голосе его опять зазвучали строгие нотки.

— Предупреждаю тебя, Стюарт, если я утрачу доверие к тебе, не жди от меня впредь снисходительности. Мне нельзя быть снисходительным, потому что я за тебя в ответе. Так вот, обещай мне, что ты больше никогда не будешь лгать.

Стюарт пообещал, но хмуро и нерешительно. Он не был уверен, что ему удастся сдержать обещание, точно так же как Солон не был уверен, что вопрос разрешен раз и навсегда.

ГЛАВА XXXVIII

В почтительности предупреждайте друг друга.

Живя среди колеблющегося, изменчивого мира, Солон находил утешение в незыблемой упорядоченности своего трудового дня. Окончив ровно без пяти пять работу, он принимался «наводить у себя порядок», как он это называл, чтобы к поезду 5.15 поспеть на вокзал. Важные деловые бумаги он тщательно запирал в ящики и потайные отделения своего бюро; перья, карандаши и всякую мелочь складывал в маленькую плетеную корзинку, стоявшую на крышке, и, наконец, клал в портфель те документы, над которыми рассчитывал поработать дома. Затем он неизменно вытаскивал из кармана маленькую записную книжку в черном переплете и делал в ней необходимые отметки для памяти. Покончив с этим, он надевал пальто из прочного, без износу, тяжелого коричневого драпа — если дело было зимой; а летом застегивался на все пуговицы, брал с вешалки круглую соломенную шляпу с высокой тульей, излюбленного квакерами фасона, и отправлялся на вокзал.

Но в тот весенний день, о котором идет речь, он собрался уходить немного раньше обычного, так как ему предстояло сделать кое-какие покупки. Утром он получил известие о том, что скончалась тетушка Эстер, и хотел послать цветов ей на гроб. Кроме того, в книжной лавке издательства «Альянс» он давно уже приглядел на витрине вставленный в рамку текст, который, по его мнению, должен был понравиться Бенишии. Слова: «В почтительности предупреждайте друг друга» («Послание к римлянам», 12, 10), вышитые желтой, зеленой и синей шерстью, приобретали особое значение сейчас, когда смерть так внезапно напомнила о тщете земного существования; а между тем не проходило дня, чтобы газеты не сообщили об очередном бракоразводном процессе или о каком-нибудь преступлении, явившемся следствием распутного образа жизни. Не далее как в это самое утро Солон прочел о том, что кассир одного из трентонских банков скрылся с крупной суммой, бросив жену и ребенка.

— Беда нашего времени в том, — заметил Солон мистеру Эверарду, выходя вместе с ним из здания банка и продолжая начатый разговор о трентонском происшествии, — что люди перестали думать о боге. Они забыли, что они лишь управители, исполняющие его волю.

— Вы правы, мистер Барнс, — с серьезным видом согласился Эверард, а сам в это время думал: «Не совратила ли сбежавшего кассира какая-нибудь хорошенькая женщина?»

Расставшись с Эверардом, Барнс зашел в цветочный магазин и распорядился послать корзину цветов в Дэшию, по адресу тетушки Эстер, а потом отправился в книжную лавку за понравившимся ему текстом.

В Дакле на станции его поджидал кабриолет, в котором сидела Айсобел, держа в руках вожжи. К вороту ее темно-синего платья был приколот цветок — это сразу бросилось в глаза Солону. Завидя отца, идущего по усыпанной гравием дорожке, она улыбнулась ему, впрочем довольно равнодушно.

— Устал? — спросила она, когда он усаживался с нею рядом. Она заметила сосредоточенно-грустное выражение его лица.

— Нет, дочка, — ответил он. — Но я привез печальные вести. Тетя Эстер скончалась. Тебе с матерью нужно будет завтра поехать в Дэшию. Есть что-нибудь от детей?

— Было письмо от Этты, — сказала она и тут же спросила, слегка оживившись (все-таки, хоть печальная, а новость): — А когда умерла тетя Эстер?

— Сегодня утром. Я узнал около полудня.

Кабриолет катился среди зеленых полей, пестревших крокусами и подснежниками. Проехали речку; над ней склонялись ивы, шевеля на ветру бледной зеленью молодых побегов.

— Красивое время года — весна, — мечтательно уронила Айсобел.

Солон оглянулся, но ничего не ответил; его чувства оставались глухи к томлению, разлитому в природе.

Старый Джозеф вышел из ворот встретить хозяина и отвести лошадь на конюшню.

— Добрый вечер, мистер Барнс, — прошамкал он. Рот у него совсем ввалился, выдавая отсутствие зубов, а морщин вокруг глаз стало еще больше.

— Добрый вечер, Джозеф, — ответил Солон, выходя из экипажа и направляясь к веранде.

— Миссис Барнс дома? — спросил он у горничной, попавшейся навстречу.

— Она, кажется, наверху, мистер Барнс.

Он повесил шляпу, положил на стол сверток и пошел искать Бенишию, тогда как Айсобел поднялась к себе.

Бенишия, с годами слегка располневшая, но все еще молодая лицом, поздоровалась с ним по квакерскому обычаю, без бурных проявлений чувства, но задушевно и тепло.

— Ты слышала новость? — спросил он, думая, что, может быть, компаньонка тетушки Эстер уже дала знать в Торнбро о ее смерти.

Бенишия, по его виду угадав неладное, забеспокоилась.

— Что-нибудь случилось?

— Тетушка Эстер скончалась сегодня утром.

— Не может быть! — вскричала Бенишия. — Бедная, милая тетушка Эстер. Ведь она собиралась к нам на будущей неделе!

Она всплеснула руками в горестном изумлении. Солон шагнул вперед и обнял ее, подавленный грозной неотвратимостью смерти.

— Ах, Солон, Солон, как мы должны быть благодарны, что столько лет прожили, не зная горя утраты! — сказала Бенишия с глубокой скорбью в голосе. — Бедная Эстер! Но такова воля божия, и никто не избегнет этой участи.

С минуту они постояли молча, потом, не сговариваясь, пошли в гостиную. В связи с предстоящими похоронами возникало, разумеется, множество мелких дел, которые нужно было уладить. Но, проходя мимо большого шератоновского стола, Солон заметил сверток и вспомнил о своей покупке. Он развернул бумагу и протянул Бенишии вышитый текст.

— Бенишия, — сказал он взволнованно, — мне это очень понравилось, и я решил, что тебе понравится тоже.

Она взяла, прочитала и подняла на мужа глаза, полные слез.

— Какие чудесные слова! — сказала она тихо и еще раз прочла текст вслух.

— Мне кажется, хорошо будет повесить это в столовой, — сказал Солон.

Она согласилась, и он тут же вбил гвоздики и повесил коврик с текстом на стену, против окон. Окна выходили на запад, мягкий вечерний свет лился в них, оттеняя теплые, сочные тона вышивки, и казалось, выведенные здесь слова выражают самый дух этого дома.

ГЛАВА XXXIX

На похороны Эстер Уоллин, состоявшиеся двумя днями позже, съехалась в Дэшию вся родня. Покойница не только была старшей сестрой Джастеса Уоллина и любимою теткой Бенишии; она состояла в родстве и свойстве еще с двумя-тремя десятками Уоллинов, Стоддардов, Парришей и прочих, и все они не замедлили прибыть — кто из Уилмингтона, штат Делавэр, кто из Трентона, Нью-Брансуика, Метучена и других городов, расположенных на севере штата Нью-Джерси, а кто даже из безбожного Нью-Йорка.

Среди явившихся отдать последний долг покойнице было немало лиц, присутствовавших двадцать лет назад при бракосочетании Солона и Бенишии. Кое-кто из них до сих пор носил традиционную квакерскую одежду — в том числе Солон с Бенишией и две молодые родственницы тетушки Эстер, жившие в том же старинном городке Дэшии. Но большинство было одето вполне по-современному, и только Доротее пришла фантазия нарядиться для этого случая в одно из девичьих воскресных платьев матери и надеть на голову ее чепец. Когда она, прибыв из Льевеллина, чтобы вместе со всем семейством отправиться на похороны, выразила желание ехать в таком костюме, Айсобел недоверчиво покосилась на сестру — она сразу же заподозрила в этом одну из ее привычных уловок, рассчитанную на привлечение внимания, но, впрочем, сочла за благо оставить свое мнение при себе.

Доктор Сигер Уоллин с женой тоже не преминули явиться, хотя покойница относилась к ним не слишком благосклонно, ввиду легкомысленного светского образа жизни, который они вели; бывшая Рода Кимбер, несмотря на черное платье и длинную траурную вуаль, сразу бросалась в глаза, выделяясь на фоне прочих родственников своими тщательно завитыми локонами, ярким румянцем, блестящими глазами и всем своим элегантным обликом. Ее супруг, подтянутый, учтивый, безукоризненно одетый, подстриженный и выбритый, представлял собой законченный образец той породы врачей, что занимаются лечением лишь модных недугов.

Джастес Уоллин и его жена от всей души оплакивали Эстер; ведь она была не только их любимой сестрой, но и последней, кроме них самих, представительницей старшего поколения семьи. Уоллин тоже прихварывал последнее время, и Солон предусмотрительно встал с ним рядом, готовый поддержать его в случае надобности. Бенишия, стоявшая подле мужа, казалась воплощением глубокой, искренней скорби.

Молодые Барнсы сбились в кучу в дальнем углу комнаты: Айсобел довольно равнодушно взирала на все происходящее; Орвил, приехавший прямо из трентонской конторы, держался чопорно и натянуто; Доротея была скромна и мила в своем квакерском наряде; Этта, маленькая и хрупкая, с бледным личиком, обрамленным пепельными локонами, удивленно водила по сторонам широко раскрытыми голубыми глазами, а Стюарт даже в этой торжественно-печальной обстановке сохранял веселый, цветущий вид.

— Какой прелестный мальчуган! — вполголоса заметила Рода мужу. — Я даже не представляла себе, что у Солона уже такие большие дети. А взгляни на Доротею! Просто красотка, правда?

Доктор Уоллин, внимательно оглядев девушку, согласился с женой, а Рода уже думала о том, что хорошо бы залучить Доротею к себе на один из своих ближайших званых обедов. Она только что собиралась обсудить этот вопрос с мужем, но в это время кругом задвигали стульями, рассаживаясь, и ей пришлось отложить исполнение своего намерения.

Теперь в комнате нависла гнетущая тишина. Ждали, когда на собравшихся снизойдет вдохновение. Однако нашелся всего один человек, почувствовавший желание заговорить. Это была старая миссис Уитридж, многолетний друг тетушки Эстер; она встала и довольно долго распространялась о добродетелях и щедротах покойной. После этого гроб повезли на кладбище.

Бенишия поплакала немного; поплакала и София Кроуэлл, сморщенная, седая старуха, которая тридцать лет прожила при тетушке Эстер в качестве горничной и компаньонки. Наконец толпа у могилы понемногу стала редеть. Родственники обменивались традиционными квакерскими рукопожатиями, садились в свои экипажи или автомобили — больше было автомобилей — и исчезали в солнечном просторе.

— Знаешь, у меня из головы не выходят Доротея и Стюарт, — сказала Рода мужу, сидя рядом с ним в машине, мчавшейся по направлению к Нью-Брансуику. — До того хороши оба! Зато Айсобел просто ужасна! А маленькая Этта? Она по-своему недурна, но кажется такой пресной, такой безжизненной. Бедные дети! Воображаю, как им живется при строгих нравах их папаши! Подумай только, он даже автомобиля себе не завел! Может быть, он просто скуп?

— Нет, не думаю, — сказал Сигер, которому несколько раз приходилось иметь дело с Солоном в банке. — Он только человек осмотрительный и притом старомодных взглядов.

— Но все-таки — разъезжать всем семейством в этом допотопном рыдване! Согласись, что это нелепо.

— Готов согласиться, хотя мне от этого ни холодно, ни жарко, — шутливо ответил Сигер. — Интересно, много ли тетушка Эстер ему оставила.

— Говорят, по завещанию только девочки и старая София получат кое-что, остальное отойдет на благотворительные нужды, — сказала Рода. — А все же я уговорю Солона отпустить свою хорошенькую дочку ко мне в гости.

ГЛАВА XL

Еще на заре своей светской карьеры Рода Уоллин пришла к убеждению, что успех любого званого вечера только тогда обеспечен, когда его украшает присутствие молодости и красоты. Мужчины, старые и молодые, всегда охотно бывают в тех домах, где наверняка можно встретить признанных обществом красавиц. Руководствуясь этими соображениями, Рода сумела сделать свой дом средоточием всего молодого и красивого в округе, и ко времени похорон тетушки Эстер, на которых она повстречалась с молодыми Барнсами, ее светская репутация утвердилась так прочно, что приглашение на обед или бал к Уоллинам редко встречало отказ.

Рода с мужем занимали просторный, светлый особняк на краю города, богато и со вкусом отделанный. Вдоль широких газонов и тщательно ухоженных цветников росли тенистые деревья, которые летом защищали от палящего солнца веранду и большие французские окна, а зимой радовали глаз тонким узором оголенных ветвей. Целый штат садовников был занят выращиванием тепличных цветов и растений, служивших для украшения комнат в парадных случаях. В гараже стояли три великолепных автомобиля, в том числе большой черный лимузин, которым обычно правил шофер в щегольской ливрее. В погребе хранились обильные запасы отборных вин и ликеров.

Прошел целый месяц после похорон Эстер Уоллин, но Рода не забыла понравившихся ей юных родственников и все еще носилась с мыслью о том, как бы вовлечь их в круговорот светских развлечений. Не имея собственных детей, Рода решила, что нельзя допустить, чтобы такие прелестные молодые существа, как Доротея и Стюарт, «сохли на корню», как она выражалась. Она отлично понимала, что для осуществления своих планов ей придется преодолеть серьезное сопротивление Солона, но Рода была не из тех, кто отступает перед трудностями.

Как-то раз, возвращаясь от знакомых, живших неподалеку от Льевеллинского колледжа, она вдруг вспомнила, что именно там живет и учится Доротея, и ей пришла в голову блестящая мысль: она заедет навестить племянницу и тем заложит фундамент для дальнейшего сближения. Шоферу было тут же приказано повернуть на север, и через полчаса он уже тормозил у ворот колледжа, а еще через несколько минут Рода сидела в кабинете декана и просила разрешения повидать племянницу.

Доротея не замедлила прибежать, заинтересованная этим неожиданным знаком внимания со стороны нью-брансуикской тетушки; ее большие, иссиня-серые глаза так и светились любопытством. При виде Роды, одетой в изящный костюм красновато-кирпичного цвета, который дополняли коричневая шляпа, вуаль и перчатки, у нее дух захватило от удовольствия и гордости — не каждую студентку посещают такие элегантные гостьи. Рода с распростертыми объятиями поспешила ей навстречу, сияя ласковой улыбкой.

— Доротея, милочка, как ты прелестно выглядишь! — воскликнула она. — И мне тут у вас так нравится, настоящее зеленое царство! А где вы все живете, — в том домике, откуда ты вышла? Мне хотелось бы посмотреть твою комнату, но об этом

лучше не просить, я знаю. Я помню нашу комнату в Окволде — ведь мы с твоей мамочкой учились там вместе! У нас всегда был такой беспорядок! Впрочем, я к тебе только на минутку, повидаться: я о тебе не перестаю думать с тех пор, как мы виделись на похоронах тетушки Эстер. Бедная тетушка Эстер!

Она остановилась, чтобы перевести дух, но тут же продолжала, глядя на улыбающуюся Доротею:

— Скажи же мне, милочка, как ты поживаешь, как здоровье мамы и папы? Представь себе, я всегда немножко побаивалась твоего папы, даже когда мы были еще детьми. Он такой праведник и такой строгий. Если ему дать волю, он из всех вас сделает серьезных маленьких квакеров!

Доротея засмеялась звонким искренним смехом.

— Ну, я-то не очень серьезная. Я даже в ученье отстаю.

— Ах ты моя прелесть! — воскликнула Рода. — Какой у тебя милый смех! Он мне напоминает мои школьные дни. Знаешь, — продолжала она доверительно, обняв Доротею за талию, — как только я тебя увидела на похоронах, я сейчас же сказала себе: с этой очаровательной девочкой я должна подружиться. (Тут Доротея конфузливо, но мило улыбнулась.) И у меня есть к тебе предложение — конечно, если позволят папа и мама: двадцать пятого числа, в будущую субботу — то есть, мне следовало бы сказать, в День седьмой, — мы с доктором устраиваем прощальный обед в честь мистера Кина с супругой — он только что назначен нашим послом в Италию; так вот, было бы чудесно, если бы ты могла у нас погостить с субботы до понедельника! Приедут еще несколько молодых девушек — дочери моих приятельниц, кто из Вассара, кто из колледжа Смита, а после обеда будут танцы. Да ведь ты же, вероятно, не танцуешь? Ну ничего, найдутся и другие развлечения.

— Я немножко умею танцевать, только папа и мама про это не знают, — наивно призналась Доротея. — Мы с девочками иногда танцуем вечером у себя в комнате. Но, конечно, я танцую очень плохо.

Рода расхохоталась.

— Убеждена, что эту науку ты быстро одолеешь. — И она ласково потрепала Доротею по руке. На этот раз девушка понравилась ей даже больше прежнего; в ее красоте была какая-то весенняя свежесть.

На прощанье было условлено, что Доротея попросит у родителей позволения навестить Роду, а Рода, кроме того, еще напишет им от себя, причем постарается так обрисовать предстоящие развлечения, чтобы картина получилась самая невинная.

Взявшись под руку, они дошли до автомобиля Роды.

— Стюарта я тоже думаю навестить как-нибудь на днях. Я бы и его с удовольствием позвала на двадцать пятое, да, пожалуй, он еще слишком молод.

Это замечание заставило Доротею снова рассмеяться.

— Ох, ты не знаешь, что за пострел наш Стюарт, — сказала она.

— Прелестный мальчик, он мне очень нравится. Так ты, значит, напиши родителям, а я буду действовать со своей стороны.

Поцеловав Доротею, она уселась в автомобиль и велела шоферу ехать.

Доротея задумчиво проводила автомобиль глазами, помахала рукой Роде, посылавшей ей из окошка воздушные поцелуи, потом повернулась и медленно пошла к дому.

ГЛАВА XLI

Как-то под вечер, в конце мая, Солон и Бенишия Барнс сидели на западной веранде своего дома в Торнбро. Разговор шел о двух письмах, полученных в это утро, — спустя несколько дней после того, как Рода побывала в Льевеллинском колледже. Одно письмо было от Этты, которая сообщала дорогим папе и маме, что пришло время решать вопрос об ее поступлении в колледж, потому что она уже сейчас должна наметить, какими предметами будет заниматься в предстоящем году. А поскольку в Льевеллин она поступать не хочет, а хочет ехать в Висконсинский университет, то она ждет от них разрешения записаться на вступительные экзамены.

«Мне очень хочется поступить именно туда, — писала она прямо и откровенно, — так как там, насколько я знаю, можно получить больше практических знаний, чем в любом из колледжей у нас, на Востоке, а для меня это важно, потому что я не хочу просто выйти замуж и тем ограничиться в жизни».

— Узнаю влияние Волиды Лапорт, — проницательно заметил Солон, мысленно видя перед собой мальчишескую фигурку и короткие вьющиеся волосы.

Второе письмо было от Роды Уоллин; хотя оба уже читали его, он прочел еще раз вслух:

— «Дорогие Солон и Бенишия! Мы с Сигером очень рады были вас повидать, хотя поводом к этой встрече послужило такое печальное событие, как смерть дорогой тети Эстер. Приятно было повидать и детей. Доротея стала просто красавицей...» — тут Солон запнулся, словно в этих словах заключалось для него нечто обидное.

— Рода всегда была чересчур восторженной, — сказал он и продолжал читать письмо. Дальше шла просьба отпустить Доротею к Уоллинам на ближайшую субботу и воскресенье. Рода не пыталась скрыть, что предстоит званый обед в честь мистера Кина, недавно назначенного послом в Италию, и даже добавляла в конце:

«После обеда, возможно, будут танцы, но я обещаю самым тщательным образом следить за Доротеей и оберегать ее от знакомств, которые могли бы вам показаться неподходящими».

— Ну, что ты на это скажешь, Солон? — спросила Бенишия, когда он дочитал до конца. Она вязала, быстро перебирая спицами, но взгляд ее то и дело задумчиво устремлялся куда-то вдаль, поверх зеленой лужайки, раскинувшейся перед домом. Ей, видимо, хотелось, чтобы он разрешил Доротее поехать, но она молчала, дожидаясь, когда он выскажет свое мнение.

— Ты же знаешь мое отношение к Роде, — ответил Солон. — Она живет не так, как того требуют скромность и благочестие. Я не сомневаюсь, что намерения у нее самые лучшие, но едва ли нам с тобой будет приятно, если Доротея наберется мыслей, которые нам чужды. Девочка и так уже внушает мне тревогу, и не только она — Этта и Стюарт тоже. Все трое какие-то беспокойные, старшие дети не были такими. И я не хотел бы, чтобы Доротея бывала в доме, где пьют и танцуют.

— Но ведь Рода обещает приглядеть за ней, — сказала Бенишия почти умоляюще.

— Да, но я знаю, что никакой пригляд не поможет, если кругом будут люди, которые по-другому смотрят на вещи. Давай предоставим Доротее решить самой. У нее, мне кажется, достаточно здравого смысла. Если ей очень хочется поехать, что ж, пожалуй, на этот раз можно ее и отпустить.

Бенишия снова взялась за прерванное вязанье, несколько минут они молчали, пока в дверях не появилась Кристина, пришедшая сказать, что ужин готов.

В этот вечер они были дома одни: Стюарт с их разрешения ужинал в гостях у Тенетов, соседей по усадьбе, Айсобел отправилась с родственным визитом к дедушке и бабушке Уоллин. Солон сидел во главе стола, держась прямо, как его учили с детства, и в выражении его серых глаз было что-то, говорившее о глубоком, но в то же время косном уме.

Бенишия, одетая в простенькое серое платье с белой косынкой на шее, смотрела на своего спутника жизни тем же любящим, внимательным взглядом, что и двадцать пять лет назад, когда обещала стать его женой. Им никогда не бывало скучно вдвоем. Он был так нежен с ней, так неизменно заботлив, честен, верен своему слову, всегда добросовестно исполнял то, что считал своею обязанностью, никогда не делал того, что противоречило бы долгу службы или совести. Но в этот вечер, когда они сидели друг против друга и чистенькая, миловидная Кристина в синем полосатом платье и накрахмаленном белом переднике хлопотала у стола, какой-то застой, какая-то чрезмерная неподвижность чувствовались в окружавшей их тишине. Слишком уж все тут было упорядоченным, размеренным, безукоризненно правильным для хрупкой, мятущейся, полной томлений живой человеческой души.

Солон Барнс, непогрешимый квакер, сидел и молчал, разглядывая скатерть на столе; потом он взял тарелку с рыбой, которую ему передала жена, и начал есть. Но брови его были нахмурены: в банке не все шло гладко, а тут еще эти домашние неприятности. Бывают такие дни, когда заботы сыплются на человека, как сухой лист осенью.

— Да, насчет Этты, — заговорил он, подняв глаза на жену. — Не кажется ли тебе, что она слишком торопится? У меня нет особых возражений против Висконсинского университета, разве только то, что я о нем почти ничего не знаю и что это очень далеко. Но чем ей плох Льевеллин, откуда она могла бы при желании каждую неделю приезжать домой? Пока не стала вмешиваться в ее жизнь эта Волида Лапорт, она готова была поступить в Льевеллин. Я хочу, чтобы ты написала ей письмо и постаралась переубедить ее. Мне спокойнее, если она будет ближе к дому.

— И мне тоже, — сказала Бенишия, и во взгляде ее мелькнула тревога. — Право, не знаю, что такое творится с Эттой. Она стала такая скрытная, так трудно ее понять. Иногда мне кажется, что она все чего-то ищет и не может найти.

Она замолчала, словно подыскивая какие-то более вразумительные слова для выражения своей мысли.

Солон задумчиво потер рукой щеку, потом выпил чашку кофе и перевел разговор на кобылу Бесси, прихварывавшую последнее время. Закончив на том, что придется позвать ветеринара, он поднялся и вместе с женой перешел в гостиную, где каждый сел заниматься своим делом: он — разбирать привезенные из банка бумаги, она — вязать и размышлять о своих дочерях и трудностях, связанных с воспитанием.

ГЛАВА XLII

Доротея приехала в Нью-Брансуик в пятницу под вечер, и дом Уоллинов сразу поразил ее своей роскошью, обилием красивых вещей и той атмосферой праздничности, которой он был проникнут снизу доверху. Все вызывало в ней шумный восторг: цветы в комнатах, широкая терраса, откуда, точно в рамке из цветущих персиковых деревьев, открывался живописный вид на Рэритан-ривер, наконец, отведенная ей комнатка, вся белая и голубая, словно волшебное видение.

Целых три дня Рода готовилась к достопамятному событию, которое должно было завершить собою неделю. Велись телефонные переговоры, писались записки, шли бесконечные совещания с поваром и садовниками. К обеду в честь отъезжающего посла ожидался весь цвет судейства, адвокатуры, законодательных властей и просто нью-джерсийского общества, и пышность декораций должна была отвечать торжественности зрелища.

Задачу облегчали неистощимые богатства оранжереи, и в результате всех стараний эффектные массы пионов, азалий, гардений и роз в сочетании с пальмами и другими растениями превратили комнаты нижнего этажа в настоящее чудо красоты.

Доротея застала в доме еще одну молоденькую гостью, по имени Пет Гэйр; вскоре приехали две вассарские студентки — Элис Барт и Джорджина Скотт, а за ними Этел Ван-Рэнст и Рита Пул из колледжа Смита.

— Этел — дочь Уильяма Ван-Рэнста из «Харбор Траст компани», — не без гордости пояснила Доротее Рода. — Мы познакомились в прошлом году во время путешествия в Европу.

И Доротея сразу почувствовала, что Этел у Роды почетная гостья.

Девушек разместили в смежных комнатах, и Рода сразу же стала торопить их с туалетом, советуя принарядиться как можно лучше, потому что после обеда все поедут в Бремертон, к Кэдигенам, на вечер с танцами.

Вопрос о том, что надеть, немало тревожил Доротею с той минуты, как она получила разрешение ехать к Роде. Были у нее два или три «выходных» платья, но все очень простенькие, из гладкой темно-синей или серой шелковой материи, строгого покроя и совершенно не подходящие к случаю. Однако Рода со свойственной ей предприимчивостью заранее решила эту проблему. Не успела Доротея приехать, как ей было предложено выбрать любое платье из обширного гардероба тетки; ростом и фигурой они были схожи, и никаких возражений Рода и слышать не хотела. Тут же было извлечено из шкафа платье, которое сама Рода считала наиболее подходящим: бледно-голубой шифон, отделанный тончайшей серебряной вышивкой, с небольшим вырезом и пышными короткими рукавами, — у Доротеи при виде его даже дух занялся от восхищения. По настоянию Роды она сразу примерила платье, — оно сидело на ней превосходно. Нашлись и туфли под цвет и прозрачные чулки телесного тона.

— Ой, тетя Рода, я как будто совсем голая! — смутилась Доротея, так что даже щеки у нее порозовели.

— Какие глупости! Платье скромнее скромного! И тебе очень хорошо в голубом — оттеняет цвет глаз. Словом, больше никаких разговоров, ступай к себе и собирайся. Обед будет готов через час.

И платье было надето. А когда Доротея увидела, в каких красивых нарядах вышли к обеду другие девушки, она почувствовала глубокую благодарность Роде за ее доброту. Будь на ней одно из ее собственных платьев, она не знала бы куда деваться от стыда и огорчения.

Обедали, по выражению Роды, «в семейном кругу». Сигер Уоллин, разумеется, тоже был здесь и отпускал девушкам восторженные комплименты, уверяя, что все вместе они похожи на прекрасный букет цветов.

Говорили за столом преимущественно о танцах. Девушки оживленно обсуждали разные новые па. Доротея прислушивалась с некоторой тревогой.

— Не знаю, следует ли мне танцевать, — потихоньку призналась она Пет Гэйр, когда все встали из-за стола. — Мама, правда, не брала с меня никакого обещания, но я ведь никогда, в сущности, не танцевала, разве только с подругами в колледже.

— Конечно, нужно танцевать, — возразила Пет. — В этом ничего нет трудного. Давайте я поучу вас!

И, обхватив Доротею за талию, она завертела ее по комнате в вальсе.

— Боже мой, что я вижу? — вскричала Рода, входя в комнату с целой охапкой шалей и накидок: ехать к Кэдигенам предполагалось на автомобиле. — Моя милая Додо, — я решила называть тебя «Додо», — ты же знаешь, что мама отпустила тебя на мою ответственность. У Кэдигенов будет столько молодых людей, что среди них, наверно, найдутся нетанцующие; вот ты и будешь сидеть с ними, слушать музыку и смотреть, как танцуют другие. Ах, нет, я забыла, ведь слушать музыку, кажется, тоже не положено?

Все весело посмеялись этой шутке и, закутавшись в накидки и шали, поспешили на улицу, где их уже дожидались два автомобиля.

В памяти Доротеи осталась длинная проселочная дорога, стремительно убегавшая назад, темные стены леса по сторонам, которые то будто смыкались, то расступались вновь, весеннее кваканье лягушек на болотах. Потом — высокий, с колоннами, подъезд загородной виллы Кэдигенов; парадный зал, на пороге которого гостей встречали сама миссис Кэдиген и ее дочь Берил, обе в блестящем белом шелку; толпа молодых людей в черных фраках, обступившая их с приветливыми и любезными улыбками. Рода тотчас выбрала из них одного и приставила к Доротее.

— Знакомься, Додо, это Нед Рейн, очень милый молодой человек. Нед, я вам поручаю занимать эту барышню. Она квакерша, и ей нельзя танцевать, во всяком случае, она так думает, но я надеюсь, что вы не дадите ей скучать и без танцев.

И она исчезла в толпе, а молодые люди уселись в сторонке и принялись смотреть, как кружатся по залу вальсирующие пары.

Музыка, смех, пестрое мелькание лиц — все это радостно волновало Доротею, но она сидела рядом с молодым Рейном и совершенно серьезно пыталась разъяснить ему основы квакерского учения, не позволявшего ей принять участие в танцах. А он слушал с глубоким интересом и как будто вовсе не жалел о том, что из-за нее пропускает вальс. Ее красота и нежный, мелодичный голос совсем пленили его.

— Ну как, мы все еще тверды в своих убеждениях? — окликнула племянницу Рода, под руку с кавалером проходя мимо них в столовую.

— Не совсем, — нерешительно ответила Доротея.

— По-моему, она постепенно начинает сдаваться, — улыбнулся молодой Рейн.

И он был прав: после ужина ему удалось уговорить Доротею сделать с ним тур вальса. Правда, она долго отнекивалась, уверяя, что он пожалеет о своем приглашении. Но природная грация помогла ей преодолеть некоторую неловкость и скованность первых шагов, и вскоре она уже легко и без смущения кружилась в его объятиях, а когда вальс кончился, заявила со счастливым смехом, что ей никогда еще не было так весело. Потом уже она танцевала почти все танцы подряд, не отказывая ни одному приглашавшему ее кавалеру — а в приглашениях недостатка не было. И всю дорогу домой она болтала без умолку, уверяя, что это был счастливейший вечер в ее жизни.

Назавтра, в день парадного обеда, Рода снова позвала девушку к себе, чтобы выбрать ей платье. Но Доротея попросила позволения надеть опять то голубое шифоновое, в котором она была накануне; оно так нравилось ей, что она не желала другого.

— Ну, как хочешь, — согласилась Рода. — Оно тебе в самом деле очень к лицу.

Сама она была необыкновенно хороша в темно-синем бархате, оттенявшем белизну ее рук и плеч. На шее у нее был жемчуг, на руках браслеты и несколько бриллиантовых колец, в волосах торчал высокий, осыпанный драгоценными камнями гребень.

Доротея и раньше знала, что доктор Сигер Уоллин и его супруга занимают видное положение в обществе; об этом не раз говорилось в доме Барнсов. Но только теперь она увидела, что это значит. С любопытством смотрела она, как съезжались гости: губернатор с супругой, член Верховного суда, сенатор и многие другие лица, чьи имена то и дело мелькали на столбцах светской хроники, которой Доротея стала интересоваться в последнее время. Обеденный стол даже несколько смутил ее своим

великолепием. С детства она была приучена считать, что выставлять богатство напоказ — вульгарно и недостойно, а между тем все это было так красиво: тончайший фарфор, хрустальные бокалы и рюмки перед каждым прибором, ослепительная белизна столового белья, серебряные канделябры и со вкусом составленный букет роз и гардений посередине стола.

В течение всего обеда ее не покидало чувство, что она изменяет какому-то более благолепному, устоявшемуся с давних пор порядку вещей. По мере того, как пустели и вновь наполнялись бокалы, речи за столом становились все развязнее, а смех — все громче. Судья Эллисон, сидевший напротив Доротеи, человек на вид довольно грубый, с отечным лицом и в торчащей колом крахмальной манишке, положительно пугал ее своими разговорами. У миссис Томлинсон, супруги сенатора, слишком молодой для такого старого мужа, был колючий взгляд и пронзительный голос. Посол Кин, высокий, сухопарый, с бакенбардами, делавшими его похожим на фермера, одинаково благодушно улыбался всем.

Но вот обед пришел к концу, и стали прибывать новые гости, приглашенные на вечерний бал. Как и накануне, Доротея не могла пожаловаться на недостаток внимания со стороны молодых людей. Особенно донимал ее любезностями один из них, по имени Сатро Корт, молодой человек с тонкими, плотно сжатыми губами и чугунной челюстью. Он непременно хотел научить ее танцевать уан-степ и чрезвычайно интересовался ее жизнью в колледже. Оказалось, что он знаком кое с кем из уоллиновской родни. Доротея простодушно объяснила ему, что ее отец — человек старых правил, и поэтому они не поддерживают близких отношений с более вольнодумными родственниками. В ответ он улыбнулся с таким видом, словно хотел дать понять, что этот налет старомодности лишь увеличивает его интерес к Доротее.

Танцуя с ним, она испытывала некоторое смущение — ей казалось, что он слишком крепко прижимает ее к себе, но танцор он, надо ему отдать справедливость, был превосходный, и, послушная его воле, она танцевала с увлечением, которого сама от себя не ждала.

Его сменил Лютер Дэйб, молодой человек с красиво посаженной головой и спадавшими на лоб черными волосами. После танца они вместе вышли на террасу. Доротея молча наслаждалась красотой ночи, блеском звезд, благоуханием цветов, разлитым в воздухе. Она знала теперь, что она хороша, и мечтала о дне, когда к ней придет любовь и, быть может, избранником ее окажется один из тех молодых людей, которых она встретила сегодня. Дэйб, заметив мечтательное выражение ее глаз, придвинулся ближе.

— Вы довольны сегодняшним вечером? — спросил он.

— Ах, очень! Я никогда не думала, что танцевать так приятно. Это словно музыка, правда? Кажется, твои движения сливаются со звуком скрипок!

Он взял ее за руку, и она вдруг поняла, что он хочет ее поцеловать. С неловким смешком она отвернулась от него и направилась к двери.

— Пойдемте в комнаты; здесь становится прохладно, — сказала она, и молодой человек последовал за ней.

В три часа утра, когда уже заходила луна, мистер и миссис Кин откланялись и уехали, а еще час спустя Доротея уже засыпала в своей постели, и ее последние сонные мысли были о Сатро Корте, Лютере Дэйбе и том волшебном мире, ворота которого распахнулись перед ней.

ГЛАВА XLIII

Лето того года, когда совершилось вступление Доротеи в светское общество, прошло для младших Барнсов под знаком нарастающего беспокойства и неудовлетворенности. Все они проводили это лето в Торнбро, за исключением Орвила, который с полным комфортом и удовольствием жил в своей трентонской квартире. Иногда он приезжал по субботам в родительскую усадьбу, но чаще предпочитал воспользоваться приглашением Стоддардов, у которых была дача на Джерсийском побережье, близ Дила. Он усиленно ухаживал за Алтеей Стоддард с тех пор, как заручился благосклонностью ее семейства, и недавно, в апреле, состоялось оглашение их помолвки.

Орвил был прирожденным консерватором. Венцом успеха в жизни для него была выгодная женитьба. Всегда безукоризненно одетый, он являл собою образец благовоспитанного молодого джентльмена с весьма ограниченным кругозором и неистребимым пристрастием к произнесению банальных истин. Чтобы изучить дело, ему пришлось пройти в «Американском фаянсе» все ступеньки служебной лестницы, но делал он это с каким-то высокомерным равнодушием, чуждаясь тех людей труда, с которыми ему при этом приходилось сталкиваться. Для него они были лишь жалкие неудачники, очевидно, не заслуживавшие больше того, что пришлось на их долю в этом мире. Он с известной гордостью говорил о традиционном укладе, сохранявшемся в его семье, но за последнее время взгляды отца стали казаться ему чуточку отсталыми. Впрочем, он считал, что к нему лично все это не имеет отношения; он уже четыре года вел самостоятельную деловую жизнь и был на пути к

достижению своей цели — он жаждал обеспечить себе прочное положение, став одним из доверенных служащих фирмы, и жениться на богатой наследнице.

Что касается Доротеи, то за первым ее посещением Нью-Брансуика последовало много других, и там она всегда делала, что хотела. Теперь, если обстоятельства вынуждали ее сидеть дома, она часами не выходила из своей комнаты — просматривала модные журналы, пробовала новые прически перед зеркалом или придумывала фасоны платьев. Она мечтала о том времени, когда ей удастся вырваться из захолустной тиши Торнбро. Возвращаться осенью в Льевеллин у нее тоже охоты не было. Хватит с нее и двух лет, проведенных там. Ее гораздо больше интересовали те удовольствия и развлечения, к которым ее приохотила Рода, но из осторожности она никогда не говорила при родителях ничего такого, что могло бы поколебать их терпимое отношение к этой родственной дружбе. Иногда кто-нибудь из них замечал, правда, что частые поездки в гости отвлекают Доротею от занятий, но настоящей опасности они тут не видели. Бывало даже, что Солон позволял себе залюбоваться красотой своей второй дочери. Шутливо взяв ее за подбородок, он говорил:

— Ох, кажется, у меня в семье растет кокетка. Что-то я стал подмечать, в молитвенном собрании моя Доротея все больше на молодых людей посматривает.

Доротея улыбалась, хотя ей всегда становилось немножко жаль отца, когда она видела его неумелые попытки быть веселым и остроумным. Что касается ее нежелания возвращаться в колледж, то Солон и Бенишия были даже рады, что она побудет дома, с ними; ее будущее не внушало им сомнений: когда придет пора, выйдет замуж и заживет семейной жизнью.

Зато с Айсобел дело обстояло не так просто. С прошлого лета, после окончания колледжа, она безвыездно жила в Торнбро. Чтение и раздумья составляли ее единственное занятие, а между тем ей уже шел двадцать четвертый год. Радости чувственного мира остались недоступны ей, и она жестоко страдала от этого, но робость и замкнутость мешали ей бросить в чем бы то ни было вызов условностям. Ее несколько раз звали приехать в Нью-Брансуик вместе с Доротеей, но она упорно отказывалась. Ей казалось, что всюду, куда бы она ни попала, она встретит небрежное и невнимательное отношение к себе, и она боялась вновь испытать мучительную боль обиды. Нужно было обладать неотразимым обаянием Доротеи, чтобы преодолеть ту преграду, которую ставило им полученное в семье воспитание, — так думала Айсобел, и оттого, что у нее такого обаяния не было, она еще острей ощущала свою неполноценность.

Однажды, будучи в особенно тяжелом настроении и, как всегда в таких случаях, думая о Дэвиде Арнольде, человеке, с которым были связаны немногие счастливые минуты ее жизни, Айсобел вдруг приняла решение: она напишет Арнольду и спросит, не возьмет ли он ее к себе в ассистентки, если она осенью надумает вернуться в Льевеллин для научной работы. В скромном ассистентском жалованье она не нуждалась, но положение ассистентки позволило бы ей чувствовать себя как-то уверенней, а главное — находиться в непосредственной близости к нему. Спустя неделю пришел ответ: Арнольд писал, что будет очень рад иметь такую сотрудницу. Айсобел словно ожила; она даже к людям стала относиться по-другому, и эта перемена в ней была так заметна, что Солон и Бенишия охотно дали согласие на то, чтобы она в сентябре вернулась в Льевеллин. Казалось, это ее самое горячее желание.

Зато у Стюарта никаких таких утешительных перспектив не было. После трентонской истории его держали под самым строгим надзором, и к восьми часам вечера он уже должен был возвращаться домой. Все в нем возмущалось против этих строгостей, голова его была полна рассказами о рискованных приключениях сверстников: тот побывал в Филадельфии в кинематографе, другой в театре, третий в бильярдной. Один юнец совершил даже вылазку в квартал красных фонарей. Несколько человек успели съездить в Атлантик-Сити, и у них только и разговору было, что о тамошних чудесах: нарядные гостиницы, дощатый настил для прогулок по пляжу, плетеные кресла, морские купанья. А ему все это оставалось недоступным.

Стюарту шел уже семнадцатый год, а красотой лица он все больше и больше напоминал Доротею. Но в отличие от нее он был подвержен приступам хандры, в которых находил себе выражение накипавший в нем протест. В такие минуты отец смотрел на него растерянно, по-видимому, не зная, как с ним быть. Лето подходило к концу, и Стюарту давно уже следовало взяться за учебники, чтобы начать готовиться к поступлению в новую школу, но он и не думал об этом. Целыми днями он слонялся без дела, не зная, как убить время.

— Стюарт! — обратился к нему однажды вечером отец. — Как ты, собственно, рассчитываешь чего-нибудь добиться в жизни? Тебе уже шестнадцать лет, и на следующий год ты должен поступать во Франклин-холл, а ты бездельничаешь. Ведь ты же хочешь готовиться к самостоятельной жизни, верно?

— Да, сэр.

— Смотри, Стюарт, — продолжал Солон. — Не будешь учиться — потом пожалеешь. Я не собираюсь устилать розами твой жизненный путь. Тебе придется или самому добиваться всего, как это делает Орвил, или ты вообще ничего не добьешься.

Стюарт смиренно склонил голову. Он чувствовал, что отец в какой-то степени прав, и в то же время этот разговор раздражал его. Зачем это нужно ставить ему в пример Орвила? Или говорить о том, что ему придется самому всего добиваться в жизни, когда у отца столько денег? И почему ему не разрешают хоть поразвлечься немножко? Надоели до смерти все эти разглагольствования о Внутреннем свете. Все равно на него, Стюарта, Внутренний свет не оказывает никакого воздействия. Джордж Фокс, Джон Вулмэн со своим «Дневником», о котором ему прожужжали все уши, — какое ему до них дело? Что общего у них с настоящей жизнью? «Настоящая жизнь», как ее понимал Стюарт, была описана во всех своих увлекательных подробностях на страницах некоторых печатных изданий, которые привели бы в ужас его отца, если бы он подозревал об их существовании. Стюарт с жадностью набрасывался на них, когда заходил в книжную лавку Родхивера в Дакле. Журнальчики типа «Вестника» или «Полицейской газеты» пестрели фотографиями пикантных, полураздетых хористок и молодых людей, именуемых «светскими джентльменами», «денди» или «нашей золотой молодежью», чье единственное занятие в жизни заключалось, по-видимому, в содержании подобных девиц. Он даже видел их во сне, эти ночные цветы большого города.

Вообще все его мысли в этот период вертелись вокруг женского пола. У Айрис Кин, которая четыре года сидела с ним в одном классе в ред-килнской школе, были такие гладкие щеки и такие грациозные движения! Но почему-то она за последнее время стала ужасная недотрога; даже близко его не подпускает. А Марша Уоррингтон, дерзкая, пухленькая, вся розовая! Однажды он поцеловал ее на перекрестке, где расходились их пути; она сама подзадорила его на это, а потом сразу вырвалась и убежала. А когда он в другой раз попробовал поцеловать ее, она отвесила ему пощечину.

Из ночи в ночь он томился этими мыслями, все острей ощущая свои желания, все сильней возмущаясь наложенным на них запретом.

Для Этты летние месяцы в Торнбро были месяцами выжидания. Ей не хватало бодрящей и воодушевляющей близости Волиды, и под конец лета она уже считала дни до возвращения в Чэддс-Форд. Мир, в котором мечтала жить Доротея, был глубоко чужд Этте. В семнадцать лет она по своему умственному складу была ближе к Айсобел, но ее интересы лежали целиком в области прекрасного — искусства, музыки, литературы. Атмосфера родного дома казалась ей на этот раз особенно гнетущей, но ни на минуту она не теряла надежды вырваться из-под гнета. Она верила, что выход есть и она сумеет найти его.

ГЛАВА XLIV

Прошел еще год, и одному из молодых Барнсов удалось все же осуществить свои надежды и честолюбивые стремления. В июне состоялась свадьба Орвила с Алтеей Стоддард, и теперь его дальнейшую судьбу можно было считать упроченной. Солон гордился своим старшим сыном. Орвил никогда не знал тех сумасбродных желаний и смятения чувств, которые обуревали его брата и сестер. И на его примере остальные должны были бы убедиться, что разумный и правильный образ жизни всегда вознаграждается.

А вот Этта не успела приехать из Чэддс-Форда домой, как сразу же принялась донимать отца просьбами о том, чтобы он отпустил ее вместе с Волидой Лапорт на летние курсы при Висконсинском университете,

Этта нервничала все больше и больше: несмотря на ее настояния и мольбы, отец был непреклонен, а до начала занятий оставалось всего несколько недель, и было похоже на то, что ей придется отказаться от своего плана. Но об этом она и думать не хотела. Волида была единственным звеном, еще связывавшим ее с внешним миром. Если она утратит эту связь, ее неминуемо засосет то однообразное, лишенное всяких событий существование, которое, казалось ей, воплощали в себе мать и отец. Не находя себе покоя, Этта скиталась по дому и саду, глубоко равнодушная к бесхитростным радостям сельской жизни. Ее единственным утешением были книги, и каждый день, запершись у себя в комнате, она на часок-другой уносилась в мир бурных, необузданных страстей, настолько непохожий на все окружавшее ее до сих пор не только наяву, но и в мечтах, что порой она даже чувствовала себя в чем-то виноватой. Слишком уж далеко отстояло все это от религии ее детства, от того, чему учили отец и мать. Книги, которые она читала, дала ей Волида; это были «Кузина Бетта» Бальзака, «Мадам Бовари» Флобера, «Сафо» Альфонса Доде. Не все в них было доступно ее пониманию, но, читая, она вспоминала ту сцену, которую однажды наблюдала из окна своей пансионской спальни, — юношу и девушку на велосипедах, их объятие и поцелуй, — и чутьем угадывала, что эта невинная близость лишь первый шаг на пути к какому-то более полному, более завершенному физическому сближению.

По заведенному в доме порядку даже Солон и Бенишия не входили без спросу в комнаты детей, не прикасались к их личным вещам. Поэтому Этта могла спокойно читать у себя в комнате, не боясь, что ее потревожат. Но за последнее время, после того как она так неудачно, с точки зрения родителей, выбрала себе подругу, Солон пришел к мысли, что следует поближе присмотреться к ее жизни. Он наблюдал за ней, когда она бесцельно слонялась по комнатам, старался проникнуть в ее мысли, найти с нею общий язык, внушить ей, что он, отец, заботится только о ее благе. Но ничего из этого не получалось. Однажды, проходя мимо ее комнаты, дверь которой была распахнута настежь, он поддался безотчетному побуждению и вошел. На столе он увидел книгу, заложенную бумажной закладкой, по-видимому, там, где Этта прервала чтение; рядом, на полу, стоял раскрытый чемодан, и в нем виднелись еще несколько книг. Он вынул одну из них, перелистал, потом взял другую, третью. Но больше всего потрясла его та, которая лежала на столе. Это была «Сафо». Раскрыв ее на том месте, откуда торчала закладка, он прочел следующие строки:

«Вопль отчаяния, звучавший со страниц «Книги любви», нашел отклик в душе Госсена, всегда испытывавшего при чтении этой книги лихорадочный трепет; и почти машинально он пробормотал:

Я крови сердца не жалел, чтоб жизнь вдохнуть

В холодный мрамор тела твоего, Сафо!»

Не веря своим глазам, Солон захлопнул книгу, но тут же раскрыл ее опять, движимый настойчивым желанием узнать больше. На одной из соседних страниц его внимание привлек такой абзац:

«Он восхищенно смотрел, как она двигалась по уютной гостиной в мягком свете затененных абажурами ламп, разливала чай, аккомпанировала пению молодых девушек, поправляя их с ласковой заботливостью старшей сестры, и было странно представлять ее себе совсем иной, вспоминать то воскресное утро, когда она пришла к нему мокрая, продрогшая и поспешила сбросить с себя все, даже не подойдя к огню, разведенному в ее честь. До позднего вечера они оставались в постели...»

Дальше Солон не мог заставить себя читать. Забрав книги в охапку, он унес их к себе в кабинет и запер в ящике письменного стола. Потом он вышел в сад и долго шагал взад и вперед по берегу Левер-крика. Ему трудно было собраться с мыслями. Его дитя, его Этта вовлечена в мир разврата и скверны!

Он успел заметить, что на заглавном листе каждой книги нацарапано имя Волиды Лапорт. Было ясно, что именно через Волиду его дочь соприкоснулась со всей этой мерзостью. А теперь та же Волида старается отторгнуть ее от родного дома и от веры отцов.

Час спустя Этта, проходя мимо кабинета отца, увидела его в полуотворенную дверь и ласково пожелала ему доброго вечера. Вместо ответа он позвал ее к себе. Когда она вошла, он тщательно затворил за нею дверь, затем подошел к письменному столу и вынул из ящика томик «Сафо».

— Ты прочла эту книгу? — строго спросил он.

На миг Этта испуганно замерла, увидя книгу в руках отца, но за суровостью его тона чувствовался такой ужас и такое горе, что она не стала медлить с ответом.

— Нет, отец, я только пролистала ее.

— Но ту страницу, где лежала закладка, ты прочла?

— Да, прочла, — ответила она, уже понимая, что сейчас над ней разразится буря, какой еще не бывало в ее жизни.

Солон положил книгу с таким видом, словно ему противно было даже прикасаться к ней.

— И тебе не стыдно, не омерзительно было читать то, что здесь написано?

— Сначала было немножко стыдно. Но я хочу знать правду о жизни, а эта книга написана знаменитым французским писателем, который изображает жизнь, как она есть.

— Знаменитый французский писатель! — в его тоне зазвучало презрение. — Знаменитый французский развратник — вот это будет верней. И такая книга издается в нашей стране, попадает в мой дом, в руки молодой девушки, моей дочери! А человек, написавший эти ужасные, безнравственные строки, еще считается знаменитым!

— Но, папа, — запротестовала Этта, уже не вчерашняя Этта, мечтательная, наивная девочка, — многие люди считают авторов этих книг великими писателями. А потом ты не думай, что тут только про любовь, в книге много говорится о жизни вообще, и кстати сказать, она очень грустная.

— Этта, дитя мое, что хорошего может быть в такой книге и что, кроме зла, может принести знакомство с ней? Неужели ты намерена и впредь читать подобные сочинения?

Этта не сразу нашлась, что ответить. Казалось, от ее ответа будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. Она боялась сказать слишком много и потому не говорила ничего. Молчал и Солон, подавленный сложностью вставшей перед ним проблемы. Наконец он поднял на дочь взгляд, лучившийся бесконечной добротой.

— Дитя мое, если ты отвернешься от Внутреннего света, кто же будет направлять тебя в жизни? Пойми, ведь я хочу только одного — чтобы ты совершенствовалась духовно и была счастлива. Мой долг указать на опасности, которые тебя подстерегают. И предупреждаю: если ты будешь упорствовать в своих нынешних намерениях, читать подобные книги и следовать советам таких подруг, как Волида Лапорт, это приведет тебя только к разочарованиям и несчастьям.

— Значит, ты не позволишь мне ехать в Висконсин?

— Ни в коем случае! — В голосе его снова зазвучали строгие ноты. — Если и раньше я опасался, что эта девушка может дурно влиять на тебя, то теперь я уверен! Я сделаю все, чтобы воспрепятствовать твоему желанию дружить с ней. Что же касается книг, то я позабочусь о том, чтобы они были уничтожены.

Этта встала, готовая протестовать, но по тону отца она поняла, что спорить бесполезно; поняла она и другое — что, оставшись в родительском доме, лишится всего того, что теперь, когда она научилась по-иному смотреть на жизнь, стало для нее насущной потребностью, и потому она решила сейчас больше ничего не говорить. Ей вдруг сделалось ясно, что нужно уходить, нужно расстаться с отцом и матерью и уйти туда, где ничто не будет стеснять ее свободу. Она вышла из комнаты, подавленная и испуганная серьезностью вставшей перед ней проблемы, но с твердым решением не сдаваться и искать выхода.

Однако, когда она осталась одна у себя в комнате и задумалась над тем, как осуществить это решение, ей сделалось страшно. Прежде всего, для того чтобы уехать, нужны деньги, а у отца их теперь, разумеется, не возьмешь. Жить в Висконсине она сможет в семье Лапорт, — так говорила Волида; но ведь это еще не все. Этта сидела погруженная в молчаливое раздумье, и чем больше она думала, тем безнадежней казалось ей ее положение. Вдруг у нее блеснула мысль, и хотя ей тут же сделалось мучительно стыдно за себя, она уже знала, что приведет эту мысль в исполнение. Материнские драгоценности! Сколько раз мать давала ей рассматривать их! Старенькая шкатулка, в которой они лежали, хранилась в одном из ящиков рабочего столика Бенишии, и та нередко доставала их, чтобы в простоте души полюбоваться ими или показать детям для забавы. Этте особенно запомнился один случай; она тогда простудилась и лежала в постели, и, желая развлечь больную дочку, мать разложила все драгоценности у нее на одеяле. Там была овальная камея тончайшей работы в массивной золотой оправе, нитка жемчуга, которую Бенишии подарила мать, в свою очередь получившая ее по наследству от своей матери, бриллиантовый кулон в виде солнца с лучами и еще с полдюжины разных украшений, в том числе изящный медальон, осыпанный жемчугом, с детским портретом самой Бенишии. Ничего этого Бенишия никогда не носила; вещи достались ей от матери, которая происходила не из квакерской семьи, и, только выйдя замуж за Джастеса Уоллина, отказалась от суетного обыкновения выставлять напоказ свои богатства.

Этте припомнилось, что, когда Волида приезжала в Торнбро на День благодарения, она показала ей материнские драгоценности, быть может, из желания доказать, что ее родной дом не вовсе чужд роскоши. Волида тут же сказала:

— С такими вещами и разорение не страшно. Если все это заложить, можно довольно долго просуществовать на полученные деньги.

Сейчас эти слова ожили в памяти Этты и приобрели значение, которого она в них тогда не увидела. Наверно, Волида знает в Филадельфии место, где дают деньги под заклад таких вещей. Нужно будет написать ей и спросить. В конце концов ведь тетушка Эстер оставила Этте капитал, проценты с которого должны ей регулярно выплачиваться; вот эти деньги и пойдут на выкуп драгоценностей.

В тот же вечер Этта написала Волиде письмо, рассказала обо всем случившемся и просила немедленно сообщить, сколько стоит железнодорожный билет до Мэдисона, сколько нужно платить за обучение на летних курсах, где можно заложить драгоценности и как это делается. Она тут же добавила, что не считает свой поступок воровством, поскольку у нее есть деньги, оставленные ей тетушкой Эстер, и со временем она получит право ими распоряжаться.

Целую неделю после этого она каждое утро выбегала навстречу старому Джозефу, когда он возвращался из Даклы с утренней почтой. Ей казалось, что от письма Болиды зависит все ее будущее. О книгах больше разговору не было. Бенишии Солон только сказал, что застал Этту за чтением романов. Он не решился осквернить чистоту их общих родительских мечтаний теми тревогами, которые внушила ему глубокая испорченность Волиды, неоспоримо доказанная ее интересом к подобной литературе. Этта не раз заглядывала мимоходом в отцовский кабинет, но книг нигде не было видно. Зато во всем поведении отца чувствовалась безмолвная, но суровая укоризна, и это камнем ложилось ей на душу. Она чувствовала себя глубоко несчастной. Даже с Айсобел и Стюартом она с трудом заставляла себя разговаривать, когда они вместе сидели за столом.

На третий день Бенишия, от которой не укрылось состояние дочери, не выдержала и, отведя ее после завтрака в сторону, спросила:

— Этта, родная, неужели тебя так огорчает, что мы с отцом не одобрили твоего желания ехать в Висконсинский университет? Хочешь, съездим вместе в Льевеллин, выясним, можно ли тебе поступить туда уже нынешней осенью?

— Нет, мама, в Льевеллин я не поеду, — сказала Этта, но так кротко, что мать не почувствовала в этом ответе всей силы ее протеста.

Для нее уже теперь это был не только вопрос о том, в какое учебное заведение поступить. Выхода на простор жизни — вот чего искала она, полного освобождения от того гнета религиозных и нравственных представлений, который мешал ей дышать полной грудью. Волида словно олицетворяла для нее право думать и поступать, как считаешь нужным, и в то же время у Волиды она находила то тепло и понимание, которых жаждало все ее существо.

И вот наконец из Мэдисона пришел ответ, очень деловой и ободряющий. Конечно, Этта должна ехать, и ехать не откладывая. И, конечно, нужно заложить драгоценности. Учение на летних курсах обойдется не дороже двухсот долларов, да еще сотню нужно считать на дорогу. Но, став студентками университета, они найдут себе работу. И потом, раз у нее есть наследство тетушки Эстер, о чем же вообще беспокоиться? А родители ее простят, когда увидят, как серьезно она относится к занятиям и какие делает успехи — потому что она непременно будет делать успехи. В конце письма была названа одна компания, ссужавшая деньги под залог и имевшая отделения во всех крупных городах — вероятно, в Филадельфии тоже.

Это письмо словно прорубило брешь в той стене мрака и сомнений, которая до сих пор окружала Этту; теперь ей казалось, что стоит только собраться с силами, и можно будет выбраться на свет. О том, как ей уехать из дому, не вызвав подозрений у родителей, она уже много и долго думала. Сначала у нее была мысль посвятить в тайну Айсобел, которая иногда ездила в Даклу одна, без провожатых. Айсобел сама была достаточно несчастлива, и это позволяло надеяться на ее сочувствие. Но потом Этта вспомнила, что по пятницам старый Джозеф спозаранку отправляется в город за покупками, и решила, что, пожалуй, лучше будет поехать с ним, не взваливая на Айсобел ответственности за свой поступок.

В роковое утро Этта сидела за завтраком очень бледная и молчаливая; ореол светлых волос еще сильнее подчеркивал бледность ее лица. После завтрака Бенишия по своему обыкновению вышла на кухню отдать распоряжения кухарке; не теряя времени, Этта бросилась наверх, в комнату матери, вытащила шкатулку с драгоценностями из ее рабочего столика и унесла к себе. Вещь за вещью она перебрала все содержимое шкатулки и, наконец, решила, что возьмет только нитку жемчуга и бриллиантовый кулон. Ей казалось, что это наиболее ценные вещи, а кроме того, в отличие от медальона и камеи, с ними не было связано никаких личных или семейных воспоминаний. Этта отнесла шкатулку на место, затем вернулась к себе в комнату и поспешно переоделась в дорожный костюм. Чемодан с бельем и платьем, уложенный еще накануне, стоял под кроватью. Этта вышла на площадку лестницы и прислушалась; потом достала чемодан из-под кровати, бесшумно ступая, спустилась с лестницы и вышла из дому. Подъездная аллея была обсажена живою изгородью; держась как можно ближе к ней, Этта прошла всю аллею и очутилась у ворот в ту самую минуту, когда подъехал в кабриолете старый Джозеф.



— Раненько вы сегодня, мисс Этта, —— приветливо сказал он, ожидая, когда она усядется.

— Да, я за покупками в Филадельфию; хочу поспеть к раннему поезду, — ответила Этта и мысленно поздравила себя: первая часть задуманного ею предприятия благополучно завершилась.

Наступило время обеда, а Этта все не показывалась, и Бенишия встревожилась не на шутку. Днем ее отсутствие никого не удивило: старый Джозеф сказал, что отвез ее к утреннему поезду в Филадельфию, и все считали, что она вернется вместе с Солоном, а может быть, даже и раньше. Но, когда Солон вернулся один и сразу прошел к себе в кабинет, Бенишия почуяла недоброе. Она подошла к двери кабинета и заглянула. Солон неподвижно сидел у стола, держа в руке какое-то письмо.

— Солон, ты не видел Этту? — тревожно спросила Бенишия.

Он поднял голову и как-то странно посмотрел на нее, потом молча протянул ей письмо. Она прочла:

«Отец!

Я уезжаю в Висконсин. Ты знаешь, как горячо я люблю вас обоих, и тебя и маму, но после той истории с книгами я больше дома жить не могу. Мне нужно, чтобы меня понимали, чтобы не стесняли моих мыслей. Я поступлю в университет и, надеюсь, сумею выучиться там какому-нибудь полезному делу. Как только устроюсь — напишу. Прости меня.

Этта».

— Этта, моя маленькая Этта! — воскликнула Бенишия и зарыдала.

Солон встал и нежно обнял ее.

— Не надо плакать, Бенишия, — сказал он. — Мы должны придать друг другу мужества. Не беспокойся, я найду ее и привезу домой. Это все дело рук Болиды. Но наша девочка еще так молода, так невинна, что ее нетрудно будет вернуть на путь истины.

Так, обнявшись, они и пошли в столовую, где их уже ждали с ужином.

Весь вечер Солон раздумывал о том, где Этта могла взять деньги на побег — если только ей не прислала Болида. Да, поистине роковым оказалось влияние этой дерзкой и самоуверенной молодой особы; мало того, что она отравила воображение невинной девушки книгами гнусного содержания, — она еще подучила ее покинуть родной дом ради учебного заведения, где, наверно, девушки и молодые люди свободно общаются друг с другом! Но это влияние нужно побороть! Если понадобится, он сам поедет в Висконсин и привезет Этту домой.

И тут он вспомнил о Внутреннем свете, который всегда был утешением от всех земных горестей, и, склонив голову, обратился к богу с безмолвной, но страстной мольбой о том, чтобы его дитя было возвращено ему невредимым. В это время в комнату вошла Бенишия и, взглянув на Солона, поспешила подойти к нему.

— Не отчаивайся, Солон! Я уверена, что все не так страшно, как тебе кажется. Будь снисходителен к Этте. Она в сущности еще дитя. Поезжай в Висконсин, и если ты подойдешь к ней ласково, с добрым словом, она непременно послушает тебя и вернется.

Но, говоря это, Бенишия чувствовала, что кривит душой, ибо всего лишь несколько минут назад она сделала ошеломляющее открытие. Стараясь собраться с мыслями, она в волнении расхаживала по своей комнате и вдруг заметила, что один из ящиков ее рабочего столика неплотно закрыт. Она машинально подошла исправить непорядок, но, повинуясь какому-то безотчетному побуждению, выдвинула ящик и заглянула в него. Шкатулка с драгоценностями была на месте; Бенишия рассеянно откинула крышку, и сразу же ей бросилось в глаза исчезновение жемчуга и бриллиантового кулона. Инстинкт подсказал ей, что вещи взяла Этта, и первым ее побуждением было бежать к Солону, чтобы поделиться с ним своей догадкой. Но когда она увидела его измученное лицо, его глаза, скорбно устремленные в одну точку, она не решилась заговорить. В глубине души Бенишия твердо верила, что Этта чиста душой — просто она молода, и ей хочется вырваться в другой, более красочный мир. Когда-то самой Бенишии были знакомы такие желания.

ГЛАВА XLV

Этта и Волида шли рука об руку по университетскому парку, направляясь в канцелярию — записываться на лекции. С озера тянуло теплым летним ветерком, в аллеях парка и у входа в учебные корпуса толпились студенты, слышался смех и оживленные разговоры.

Три дня прошло с тех пор, как Этта уехала из Торнбро, и все это время ей не давала покоя мысль об отце.

— Как здесь красиво! — сказала она вздыхая. — Ах, только бы отец не очень рассердился! Только бы он не вздумал приехать за мной! Сегодня же напишу им про драгоценности, пока они сами не хватились. Меня это больше всего беспокоит.

— Вот еще! — отозвалась Волида. — Мало, что ли, девушек уезжает из дому. А что касается драгоценностей, пошли отцу залоговые квитанции, и дело с концом.

— А вдруг он не захочет выдать мне деньги тетушки Эстер? Что тогда, Волида? Ты уверена, что мы могли бы получить работу?

— Совершенно уверена, да в этом пока нет надобности. У тебя ведь куча денег.

— Не так уж много. За бриллиантовый кулон мне дали триста долларов, а за жемчуг только пятьдесят. Говорят, жемчуг теперь не в цене. По правде сказать, я думала, что получу гораздо больше.

— Ничего, на лето тебе этого вполне хватит. Жить ты можешь у нас; сама видела, как хорошо тебя приняли папа и мама. Наконец рано или поздно твоему отцу придется же выплатить тебе твою долю старухиного наследства. А на работу мы все равно устроимся, так что нечего огорчаться.

Доводы подруги, как всегда, убедили Этту и придали ей бодрости, но на душе у нее все-таки было неспокойно. Она не могла отделаться от мысли о родителях, о том, сколько тревоги и огорчений она им причинила.

— Ты не знаешь моего отца, Волида, он так серьезно всегда все принимает! Ты даже представить себе не можешь, как он тогда расстроился из-за того только, что нашел у меня твои книги.

— А, пустяки, — решительно заявила Волида. — В конце концов ты свободный человек. Если тебе хочется добиться, чтобы из тебя вышел толк, никто не вправе мешать твоему желанию. Это было бы бесчеловечно.

По лицу Этты видно было, что она сосредоточенно думает о чем-то.

— Ты в самом деле считаешь, Волида, что я могу прожить без помощи родных? Я так привыкла всегда все получать от них.

— Ну что ж, привыкла, а теперь будешь отвыкать, только и всего. Тебе это даже полезно. Если у человека есть мужество, выход всегда найдется.

— Все равно, я не могу отделаться от предчувствия, что отец приедет сюда, — сказала Этта. — Кто знает, может быть, он уже сейчас в пути. Ведь он будет требовать, чтобы я вернулась домой. Что же мне тогда делать?

— Отказаться! Наотрез отказаться! Не может же он увезти тебя силой. Ты забываешь, что тебе уже исполнилось восемнадцать лет. — Волида остановилась и, глядя ей прямо в глаза, с пафосом проговорила: — Этта Барнс, если ты теперь, после всего, сдашься и уедешь, между нами все кончено! Так и знай!

Этта вздохнула.

— Хорошо, Волида, что бы ни случилось, я останусь и постараюсь быть твердой. Только ты не покидай меня.

За разговором они дошли до главного здания, где происходила регистрация студентов. К большому удивлению Этты, ее зачислили и оформили без всяких оговорок. Девушки долго и внимательно изучали расписание занятий и в конце концов решили прослушать курсы литературы и психологии, а кроме того, еще и курс экономики. Это была идея Волиды, считавшей, что им необходимо получить некоторые познания о жизни общества. Хотя обе девушки выросли в обстановке материального благополучия, их всегда смущали те резкие контрасты между богатством и бедностью, которые они наблюдали в окружающей жизни. Им хотелось доказать, что они могут пробить себе дорогу самостоятельно, Волиде — в силу врожденного духа независимости, Этте — потому что она всегда с сочувствием и пониманием относилась к другим.

Психология, как им казалось, должна была научить их лучше разбираться в жизни и людях; Волида считала также, что это пригодится ей впоследствии в ее занятиях медициной. Курс литературы выбрала Этта; она как-то смутно ощущала свою близость к миру искусства и красоты, хотя этот мир еще только чуть приоткрылся перед ней. Ее тянуло узнать побольше о великих писателях прошлого и настоящего, особенно о тех, чьи книги были так бесцеремонно у нее отняты. Она всей душой верила, что писатели — это существа высшего порядка, наделенные даром проникновения в истинную суть жизни. Таким же даром наделены и художники; впрочем, о художниках Этта знала еще меньше, чем о писателях. На немногих виденных ею картинах жизнь представала в каком-то особом свете и была не совсем понятна ей, но вызывала глубоко благоговейное чувство.

А в это время поезд мчал Солона от Чикаго к Мэдисону. Из Филадельфии в Чикаго он ехал в спальном вагоне, но на более коротком перегоне до Мэдисона решил удовольствоваться сидячим местом. Он сидел у окна, застегнутый на все пуговицы, так что в вырезе темно-серого сюртука едва виднелся простой черный галстук. Странно было вдруг почувствовать себя оторванным от привычной обстановки. С тех пор как его тринадцатилетним мальчиком увезли из Сегукита в штате Мэн, где прошло его детство, он ни разу не совершал такого дальнего путешествия. За окном тянулись леса и рощи, иногда вдруг открывалось озеро, и Солону было приятно смотреть на этот пейзаж, напоминавший ему родные места. Но где-то в глубине его

сознания все время билась тревожная мысль об Этте, о том, как добиться, чтобы она вернулась домой. Солон предвидел — это будет нелегко, однако не сомневался, что в конце концов он сумеет убедить ее в своей правоте и таким образом спасет от того, что ему представлялось верной гибелью.

На одной из последних станций перед Мэдисоном в вагон вошел и уселся возле Солона пожилой человек с рыжеватыми волосами. Новый сосед — школьный учитель, как выяснилось позже, — был весьма общительного нрава и сразу же попытался завязать разговор, но Солон, занятый своими невеселыми мыслями, не склонен был его поддерживать. Однако, услышав вопрос: «Не в университет ли едете?» — Солон растерялся и вынужден был ответить.

— Да... то есть я направляюсь в Мэдисон, — сказал он.

— Вот и я тоже. Я каждое лето туда езжу. Это возможность, которой мы, старшее поколение, не должны пренебрегать! Нам никак нельзя отставать от молодых. Вероятно, и вы в своей деятельности это чувствуете, — говорил учитель.

Солон пришел в замешательство.

— Я мало знаю о Висконсинском университете, — сухо ответил он.

— О, вам там, наверно, понравится! — воскликнул сосед. — И вы встретите много таких же, как и вы, священников, они съезжаются туда со всей страны.

— Я не священник. Я — квакер, член Общества друзей, — сказал Солон. — И я не собираюсь посещать летние курсы при университете, я просто еду повидать свою дочь.

По ледяному тону, которым все это было сказано, непрошеный собеседник почувствовал, что совершил ошибку, пытаясь завязать знакомство, и стал извиняться.

— Вы уж простите меня, — сказал он, — я как увижу нового человека, так просто не могу удержаться, чтоб не заговорить о летних курсах. Это такое замечательное начинание! Каких только людей там не встретишь — и старых и молодых, да притом из самых различных кругов общества. И со всеми перезнакомишься!

После этого он отодвинулся от Солона и, вынув из кармана книгу, стал читать.

Солон с едва слышным вздохом облегчения повернулся к окну и снова стал смотреть на проплывающий мимо ландшафт. От этого случайного дорожного разговора на душе у него стало еще тревожнее. Удастся ли, в самом деле, уговорить Этту бросить университет, который вызывает такое восторженное отношение к себе даже у человека немолодого и, по всей видимости, почтенного?

Покончив с регистрацией и выбором учебных дисциплин, Этта и Волида вышли из канцелярии и не торопясь пошли по дорожке к главным воротам. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как Этта вдруг застыла на месте с округлившимися от ужаса глазами.

— Волида! — вырвалось у нее. — Посмотри! Вон идет мой отец!

Первым ее побуждением было повернуться и бежать, однако новое, еще неизведанное чувство независимости удержало ее. Она останется и сумеет постоять за себя.

— Этта, дочка, как ты могла так поступить? — сразу же начал Солон, взяв ее за руку и словно не замечая Волиды. — Разве ты не понимаешь, сколько беспокойства ты нам причинила? Идем отсюда.

Он сделал движение, намереваясь увести ее, но она не двигалась с места.

— Постой, отец, нам нужно поговорить, — сказала она и, запнувшись на мгновение, прибавила: — Над озером есть скамейки, там нам никто не помешает.

— Хорошо, но только попроси эту молодую особу оставить нас вдвоем.

Он не обратился непосредственно к Волиде, опасаясь, как бы ему не изменила выдержка, но Волида сама вмешалась в разговор.

— Мистер Барнс, позвольте вам сказать, что я никакого вреда не принесла вашей дочери. Это вы вредите ей, потому что мешаете жить нормальной человеческой жизнью.

— Очевидно, вы считаете, что жить нормальной жизнью — это значит читать книги, которые вы читаете сами и даете другим. У меня на этот счет другое мнение. Живите, как вам угодно, а мою дочь прошу оставить в покое.

— Отец! — вскричала Этта. — Пожалуйста, не говори с Волидой таким тоном!

— За меня не беспокойся, Этта, — спокойно сказала Волида. — Я буду ждать тебя дома. Дорогу ты знаешь. И помни, о чем мы с тобой сегодня говорили!

Она улыбнулась, как бы желая подбодрить Этту, и быстрым шагом пошла к воротам.

— Пойдем, отец, — сказала Этта.

Медленно, не глядя друг на друга, они спустились к берегу озера и сели там на скамейку. Несколько минут прошло в молчании, потом Солон заговорил. Снова он обрушился на книги, которые нашел у Этты, снова предостерегал ее от их тлетворного влияния. Мимо скамейки, где они сидели, то и дело проходили юноши и девушки и располагались парами на травке у воды. Этта долго слушала молча, но наконец терпение ее истощилось, и она прервала речь Солона.

— Взгляни на этих молодых людей, — сказала она с мольбой в голосе. — Все они читают книги, которые ты так поносишь; что же, разве они от того стали хуже? Оглянись кругом, посмотри, как здесь красиво!

— Этта! Неужели ты совсем забыла свой дочерний долг, забыла праведный путь, о котором так хорошо сказано в «Книге поучений»?

Этта поднялась со скамейки; она поняла, что продолжать спор бесполезно.

— Пойдем со мной к Лапортам, отец, ты сам увидишь, какие это славные, достойные люди. Они тоже принадлежат к Обществу друзей, однако не видят ничего дурного в желании Болиды учиться в университете. А дома у них так уютно и просто, гораздо проще, чем у нас. И встретили меня там, как родную. Пойдем, я хочу, чтобы ты сам убедился в этом.

— Нет, дочка, это ни к чему, — сказал он. — Я подожду на улице, пока ты соберешь вещи. Я только хотел бы возместить этим людям расходы, в которые ты их ввела.

— Но, отец... — Этта слегка дрожала, произнося эти слова. — Я с тобой не поеду.

— Этта! Что ты сказала?

Он словно не поверил своим ушам.

— Я не могу, отец. Мне очень тяжело дома. Так тяжело, что я больше не в силах этого выносить.

— Но отчего же тебе тяжело?

— Я там не могу свободно дышать, — сказала она глухим голосом. — Думать ни о чем не могу свободно.

— Ты раньше такой не была, дочка, это все твоя подруга сбивает тебя с пути. Неужели она тебе дороже отца, матери, братьев и сестер?

— Не в том дело, отец, я хочу учиться, это мое право, и Болида понимает меня.

— Она, может быть, понимает и ту безнравственную жизнь, о которой говорится в ее французских книгах, — сказал Солон. — Это-то и заставляет меня содрогаться — мысль о том, что ты, чистая, нежная девушка, не представляешь себе всей глубины падения, которое ожидает людей, преступивших нравственный закон господа бога, не знаешь, как легко поддаться соблазну, находясь в дурном обществе, в атмосфере таких вольных и распущенных нравов, какие царят здесь.

— Перестань, отец! — вскричала Этта. — Позволь сказать тебе раз и навсегда, что ни я, ни Болида не собираемся брать пример с героев каждой прочитанной книжки, на каком бы языке она ни была написана. Нас просто интересует жизнь, так же как нас интересует психология и экономика. Болида решила даже изучить медицину, чтобы облегчать людские страдания. А о мужчинах она вовсе и не думает. Она только хочет стать человеком — и я тоже хочу!

Борясь с подступающими слезами, она отвернулась и стала смотреть на озеро. Но Солон, хотя искренность этой вспышки и произвела на него впечатление, все еще цеплялся за мысль, что только Болида виновата в упорстве Этты.

— Чего хочет Болида, меня не касается, — сказал он. — Но она не смеет увлекать тебя в своем падении. Где ты взяла деньги на поездку сюда? У Болиды?

— Нет, отец, не у нее и ни у кого другого. Я совершила страшный проступок и как раз сегодня собиралась написать тебе об этом. Я взяла мамин бриллиантовый кулон и жемчуг и заложила их. Она об этом не знает. Вот квитанции. — Она достала квитанции из маленькой черной сумочки и показала отцу. — Я их выкуплю, как только смогу.

— Этта! Что ты говоришь! Ты взяла материнские драгоценности!

— Я рассчитывала выкупить их на те деньги, что мне завещала тетушка Эстер. Я не посмела просить денег у тебя. О папа, я не хотела сделать ничего дурного.

— А чего же хорошего ты могла ожидать от воровства? — спросил Солон, но Этта, не слушая его, пылко продолжала:

— Ты знаешь, как я люблю и тебя и маму, но я не могу больше думать так, как мне указывают. Я хочу сама отвечать за свои мысли и действия.

— Сколько ты получила под залог? — глухо спросил Солон.

— Всего триста пятьдесят долларов. Около сотни у меня ушло, а остальные — вот. Возьми их, если хочешь.

Гнев в голосе Солона вдруг сменился мольбой.

— Этта, девочка моя, мне нужна ты, только ты сама. Я готов тебе все простить, если ты поедешь со мною домой.

— Не могу, отец, не могу, — повторяла она, бессильно опустившись на скамью. Раскрытая сумочка лежала у нее на коленях.

Солон с минуту смотрел на нее в раздумье, потом потребовал, чтобы она отдала ему залоговые квитанции.

— Драгоценности я выкуплю, потому что они принадлежат твоей матери, — сказал он грустным, усталым голосом. — А деньги пусть остаются тебе на жизнь, пока ты не одумаешься. Я не хочу, чтобы ты нуждалась или зависела от чужих людей.

Они еще посидели, безмолвно глядя на студентов, группами и в одиночку спешивших мимо них к выходу. Наконец Этта встала.

— Мне пора. Родные Волиды ждут меня. Отец, я тебя очень, очень прошу — пойдем со мной, посмотри сам, что это за люди.

Но он отказался, и у ворот они расстались.

Вернувшись к себе, в номер маленькой уютной гостиницы, выходившей окнами в университетский парк, Солон сел и задумался. Прошло около часу, и мало-помалу он стал успокаиваться, мысли его прояснились. В окно вливалась прохлада мягкого июньского вечера, над деревьями и газонами, над видневшимся вдали озером стояла чудесная тишина. У Солона немного отлегло от души, и он решил, что самое разумное будет отправиться к Лапортам, чтобы еще раз поговорить с Эттой или хотя бы познакомиться с людьми, у которых она нашла себе приют.

Как он уже знал из слов дочери, Лапорты жили неподалеку от университета; пока он шел по улице, указанной ему портье гостиницы, навстречу то и дело попадались компании молодежи и студентов постарше, оживленно обсуждавших свои университетские дела.

Наконец он очутился перед двухэтажным деревянным домиком, где на двери с невысокой приступкой, заменявшей крыльцо, значилась фамилия Лапорт. Он позвонил; дверь отворила женщина с открытым, приятным лицом. Услышав, что Солон желал бы видеть мистера Лапорта, она не выказала никакого удивления и, не вступая в разговоры, проводила его в комнату, служившую, очевидно, гостиной. Если это мать Волиды, подумал Солон, то дочка напористостью не в нее пошла. Гостиная была просто и скромно обставлена, но в ней было довольно много книг и картин, и чувствовалось, что это жилая комната, а не помещение, специально отведенное для приема гостей.

Спустя несколько минут вошел невысокого роста, приятный с виду мужчина с небольшой лысиной, тщательно прикрытой гладкими черными волосами.

— Лапорт, — представился он и протянул Солону руку с такой дружелюбной улыбкой, что Солон невольно тоже улыбнулся в ответ.

Завязалась беседа, впрочем, говорил по преимуществу Лапорт, а Солону пришлось больше слушать. Выяснилось, что Лапорт происходит из квакерской семьи и воспитание получил квакерское, однако, как он тут же признался, не всегда находил время соблюдать все свои религиозные обязанности. Жизнь его сложилась нелегко, но в конце концов ему удалось стать владельцем солидного аптекарского магазина на соседней улице, неподалеку от университета. Благодаря этому сотни студентов постоянно вертелись у него на глазах, и он никогда не замечал, чтобы атмосфера университетской жизни оказывала на молодежь дурное влияние. Он не припомнит ни одного недоразумения, ни одной скандальной истории, связанной с совместным обучением девушек и молодых людей; напротив, благодаря умелой постановке дела университет пользуется во всем штате большим и заслуженным уважением. Люди не нахвалятся разнообразием учебных программ и основательностью знаний, приобретаемых студентами.

Когда речь зашла о Болиде, стало ясно, что он немало гордится ее умом и той настойчивостью, с которой она добивается поставленной перед собой цели. У Солона не хватало духу прямо сказать отцу, что он считает его дочь безнравственной, но все же он отважился заметить:

— Не кажется ли тебе, друг Лапорт, что нынешние молодые девушки читают и изучают много такого, что для них представляет большую опасность?

— Видите ли, мистер Барнс, — ответил Лапорт, несколько смущенный старомодной формой обращения на «ты». — Я, признаться, не имею возможности следить за их чтением, но раз голова у них остается ясной и мысли здравыми — о чем же беспокоиться? Что касается моей Волиды, то я всегда считал ее девушкой благоразумной и рассудительной и думаю, что при такой подруге вам нечего опасаться за свою дочь. А жить Этта может у нас, мы ей будем очень рады; моя младшая дочка уезжает на все лето, так что места хватит.

— Я вам очень признателен за вашу доброту, — сказал Солон с некоторым сомнением и даже ноткой враждебности в тоне. — Но мы, мать Этты и я, предпочли бы, чтобы она оставалась при нас, во всяком случае на ближайшее время. Я, собственно, с этим и пришел — убедить ее со мною вместе вернуться домой. — И он добавил, что желал бы поговорить с дочерью, после чего Лапорт простился и вышел, а через несколько мгновений в комнату вошла Этта.

Потратив, однако, целый час на споры, доказательства и увещания, Солон понял, что дело безнадежно. Она не поедет. Единственное, чего ему удалось от нее добиться, это не слишком твердого обещания оставить дом Лапортов, как только окончатся занятия на летних курсах, которые были рассчитаны на полтора месяца.

С этим он и ушел, поцеловав ее на прощание и в короткой безмолвной молитве поручив ее заботам всемогущего.

На следующее утро Солон уже сидел в вагоне поезда, шедшего в Филадельфию. При всех огорчениях и разочарованиях у него теперь все же было легче на душе. Ему понравилась семья Лапортов и весь уклад их дома. В бумажнике у него лежали залоговые квитанции на драгоценности Бенишии, которые он собирался выкупить тотчас же по приезде в Филадельфию. Эту часть прегрешения Этты он уже простил и намерен был забыть навсегда. Перебирая в памяти происшедшее, он пришел к выводу, что сделал все, что мог.

ГЛАВА XLVI

В Дакле Солона ожидала печальная новость, которая сразу же вытеснила мысли об Этте и всех ее проступках. Накануне вечером скоропостижно, от разрыва сердца, умер Джастес Уоллин, и Бенишия была вне себя от горя. Для самого Солона смерть тестя явилась тяжелым ударом. Джастес Уоллин много лет был ему верным другом.

Последующие недели принесли много новых забот, в которые Солону пришлось уйти с головой, — забот не только домашних, но и связанных с его работой в банке. Председатель правления банка Эзра Скидмор скончался еще несколько месяцев назад, и со смертью Джастеса Уоллина, который был одним из вице-председателей, в правлении оказалось два незанятых места. Нужно было срочно подобрать новых директоров и вообще произвести реорганизацию. В сущности говоря, за последние три года, с тех пор как Скидмор по болезни удалился от дел, многое изменилось в Торгово-строительном банке, хотя на первый взгляд это было незаметно. И Сэйблуорс и Эверард, люди более современных взглядов и более энергичного характера, считали возможным не так строго разбираться в достоинствах и репутации каждого возможного клиента. До сих пор Джастес Уоллин силой своего авторитета и влияния удерживал их от чересчур рискованных авантюр. Но время было такое, что стремление к переменам словно носилось в воздухе. Создавались грандиозные проекты. Транспортные компании и предприятия общественных услуг раскидывали свою сеть по всей стране. Город рос с каждым днем, в короткое время возникали целые кварталы, прорываясь за старую городскую черту. Господа Сэйблуорс и Эверард рассуждали так: почему бы Торгово-строительному банку — а заодно и лично им — не урвать свою долю в этом общем подъеме благосостояния? Казалось, нет ничего легче, чем взять деньги вкладчиков и пустить их в оборот, разумеется, под очень высокие проценты, или даже употребить на покупку акций каких-нибудь бурно развивающихся новых предприятий. Мысль о шестнадцати миллионах, лежащих в банке, и о том, что́ можно было бы сделать с такими деньгами, не давала Эверарду покоя. Сэйблуорс тоже об этом думал, но ему не хватало деловой сметки и решительности Эверарда.

Между тем один из членов правления ушел в отставку, так что предстояло заместить целых три вакансии. И Эверард с Сэйблуорсом, заручившись поддержкой нескольких более молодых членов правления, без труда провели на все три места угодных им людей. Солону ни один из троих не внушал доверия, но, поскольку он остался в одиночестве, это ничего не изменило.

В числе новых директоров оказался Уилтон Б. Уилкерсон, владелец ковроткацкой фабрики, которая была хорошо знакома Солону, — каждый день по дороге, из Даклы в Филадельфию и обратно, он видел ее высокие корпуса с бесчисленными, ярко освещенными окнами, ее красные трубы, подпирающие небо. Как-то раз, из чистого любопытства, он заглянул в баланс предприятия Уилкерсона и нашел, что дела его идут превосходно. Кроме фабрики, Уилкерсону принадлежала еще целая система бакалейных лавок, приносившая ему солидные доходы. Однако ни в обществе, ни в религиозных кругах этот человек не имел никаких связей и не пользовался влиянием. Это был огромный, нескладный детина, ходивший по-матросски, вразвалку; крючковатый нос и тяжелые нависшие брови придавали его лицу свирепое выражение людоеда. Верхняя губа, украшенная короткими сивыми усами, то и дело приподнималась, обнажая кривые желтые зубы. Из-под взлохмаченной седой гривы пронзительно и зорко смотрели голубые холодные глаза. Он словно щеголял нарочитой небрежностью, даже неряшливостью в одежде, что особенно бросалось в глаза по контрасту с дорогими материями, из которых эта одежда была сшита. На его текущем счету в Торгово-строительном банке значилась довольно крупная сумма. Но, кроме того, у него постоянно были дела с отделом кредитов; последнее время он вел переговоры о получении займа на сто тысяч долларов.

Он и Сэйблуорс с первого знакомства прониклись симпатией друг к другу. Сэйблуорс решил, что Уилкерсон — именно тот тип дельца, который ему давно нужен, а Уилкерсон сразу почувствовал в Сэйблуорсе человека, которого можно выгодно использовать. Сэйблуорс не замедлил представить клиента Эверарду и Солону, намекнув им, что это крупная дичь. Но моралист Солон не мог правильно оценить такого человека, как Уилкерсон. Он внимательно поглядел на него, припомнил знакомые корпуса его фабрики и то, что он знал о его финансовом положении, и отнесся к нему с теплотой и сердечностью, которую при желании умел проявить как никто. Уилкерсону Солон понравился; он решил, что этот тихий, аккуратный человек может быть ему отличным помощником в делах. Зато в Эверарде фабрикант ковров сразу почуял равного себе по силе партнера, с которым нужно держать ухо востро.

Вопрос о стотысячном займе был, разумеется, быстро улажен, но знакомство продолжалось, и вскоре у руководителей банка возникла мысль, что Уилкерсон, если только он согласится, может быть очень ценным приобретением в качестве директора. Об этом без конца шли разговоры у Сэйблуорса с Эверардом и другими директорами, и вскоре им удалось настроить в пользу Уилкерсона все правление. Барнс отнесся к этой идее не очень сочувственно — не то, чтобы он был решительно против, но ему казалось, что можно бы найти более подходящего кандидата; однако в конце концов и он решил, что Уилкерсон все-таки фигура, и не стоит придираться. Вероятно, и в самом деле у него, Барнса, слишком уж щепетильный и устарелый подход ко всему. Надо, пожалуй, приучить себя шире смотреть на вещи и относиться к людям более терпимо и снисходительно.

Вместе с Уилкерсоном в правление вошел некий Фриборн К. Бэйкер, чье имя за последние годы все чаще и чаще упоминалось в деловом мире в связи со строительством городских железных дорог, угольных шахт и газовых заводов. Его избрание Солон тоже счел рискованной затеей, на которую банку не следовало бы идти. Очень уж он отличался от директоров прежнего типа.

Наружность у Бэйкера была довольно курьезная: приземистый толстяк с короткими руками и ногами, похожими на обрубки, он производил впечатление человека дубоватого, но это впечатление было столь же обманчиво, как деревянная неподвижность крокодила. Жир складками висел на его квадратном лице, под маслянистыми глазками набрякли мешки, сальные волосы

лоснились; однако за этой непривлекательной внешностью скрывался недюжинный ум и деловая хватка. Его специальностью было финансирование промышленных предприятий; никто лучше его не владел тонким и сложным искусством прибирать к рукам выгодные подряды или концессии, и притом с наименьшими затратами для себя и своих друзей. Он постоянно рыскал по Филадельфии и ее окрестностям, вынюхивая новые возможности, причем маленькие городки даже пользовались у него предпочтением, потому что в таких городках благодаря невежеству и беспечности обывателей легче провести и околпачить местные власти и буквально за гроши приобрести привилегии, которые сами по себе являются золотым дном. К тому же в крупных городах наиболее выгодные предприятия — снабжение газом, освещение, прокладка трамвайных линий и тому подобное — давно уже были отняты у общества и сосредоточены в руках гигантских корпораций, на могущество которых мистер Бэйкер не смел посягать. На его долю оставалась, таким образом, только провинция, но и эта провинция, ввиду своего уже наметившегося роста, представляла достаточно благодарную почву. Вот мистер Бэйкер и возделывал эту почву, подбирая себе помощников из числа людей, которые умели бы видеть и учитывать те перспективы, которые видел и учитывал он сам. Он вел нескончаемые закулисные переговоры с разными прожектерами и политическими авантюристами, и содержание этих переговоров всегда сводилось к одному и тому же: как похитрее изловчиться, чтобы за ничтожную цену получить тот или иной подряд, концессию, привилегию. Не обходилось и без денежной мзды нужному лицу или лицам, но сам мистер Бэйкер при этом никогда не фигурировал. Он был слишком осторожен. Подобно тем крупным хищникам, которые обитают в морских глубинах, он редко охотился на поверхности. Добыча сама плыла к нему в пасть.

Третьим был С. Гай Сэй, владелец большого универсального магазина с отделениями в нескольких городах. По виду он легко мог сойти за одного из своих приказчиков: высокий, вылощенный, с большими темно-карими глазами и матовым лицом, бледность которого оттеняли холеные черные бакенбарды, доходившие до тщательно выбритого подбородка. Нрав у него был бешеный, но он умел скрывать это под светской непринужденностью манер, производившей всегда самое приятное впечатление. Кроме того, он занимал хорошее положение в обществе.

Сэйблуорс и Эверард, а с ними и другие члены правления были убеждены в том, что банку предстоят большие дела. Сэйблуорс, по каким-то чисто эмоциональным побуждениям, стремился связать свою судьбу с судьбой Уилкерсона. Эверарда больше тянуло к Бэйкеру, хотя и Сэй ему нравился. Солон со стороны наблюдал всех троих и ни одного по-настоящему не понимал. Он отдавал должное деловой сметке Бэйкера и изяществу манер Сэя, Уилкерсон же казался ему человеком грубым и необузданным, настоящим дикарем.

Будь Солон Барнс несколько иного склада, он мог бы значительно преуспеть в то время, потому что сами обстоятельства выводили его на путь, каким достигаются большие и даже огромные состояния. Люди, с которыми ему теперь приходилось работать, были из породы тех, кто постоянно стремится захватывать, господствовать, подчинять себе других. Там, где дело касалось денег, для них не существовало морали, хотя в других отношениях это были обыкновенные люди, такие же рабы условностей, как и все. К Солону они относились весьма благожелательно. Их подкупала его простота, чистосердечие, добросовестность; на Уилкерсона эти качества произвели такое сильное впечатление, что он как-то даже завел об этом разговор с мистером Сэйблуорсом.

— Кстати, о квакерах, — сказал он, мотнув головой в сторону перегородки, за которой сидел Солон. — Много у нас вкладчиков из этой публики?

— Да, немало, — ответил Сэйблуорс не без оттенка похвальбы, так как в Филадельфии популярность того или иного учреждения у квакеров служит наилучшей рекомендацией, чуть ли не гарантией солидности. — Мы всегда смотрели на мистера Барнса, — продолжал он, — как на одну из самых надежных ценностей в активе банка. Его честность и добропорядочность снискали ему всеобщее уважение. Состоятельные люди предпочитают иметь дело именно с ним. Он не из тех, кто легко заводит дружеские отношения, и тем не менее у него очень много друзей.

Мистер Уилкерсон поджал губы.

— Любопытно, как эти квакеры держатся за свои принципы, — сказал он. — А в то же время они неплохо умеют наживать деньги.

— Да, это верно, — согласился Сэйблуорс, изображая на лице улыбку, которая ему самому казалась глубокомысленной. — Но вы не найдете человека, который лучше мистера Барнса разбирался бы в делах нашего банка, — да и не только нашего. Его осведомленности просто удивляешься. Прежде у нас ведал кредитами мистер Эверард, но задолго до того, как стать вице-председателем, он в сущности передоверил все дело Барнсу. Он вам и сам это подтвердит.

Этот разговор заставил Уилкерсона задуматься. Такого человека, как Барнс, хорошо иметь другом и опасно — врагом.

Бэйкер с первых же дней стал делать откровенные попытки сблизиться с Солоном. Бывая в банке, он постоянно останавливался у его стола поговорить о том, о сем. Как-то раз, дружески поздоровавшись с Солоном, он заметил, словно бы между прочим:

— Скажите, мистер Барнс, вы последнее время не интересовались Пенсильванскими автомобильными и сталелитейными?

— Специально не интересовался, — ответил Солон. — Но я обычно слежу за биржевыми курсами. Пенсильванские как будто стоят на шестидесяти восьми?

— Именно, — подтвердил Бэйкер и затем добавил с благосклонной улыбкой: — Если у вас есть какая-нибудь мелочишка, которой вы хотели бы распорядиться, учтите, что на каждой акции, приобретенной до августа месяца, можно заработать десять долларов. Но это, разумеется, строго между нами...

— Спасибо за любезный совет, — сказал Солон, улыбаясь в ответ. — Я не премину им воспользоваться.

Он сразу же подумал о своей двоюродной сестре Роде: она недавно говорила ему, что у нее есть восемь тысяч долларов, которые ей хотелось бы вложить в какие-нибудь солидные бумаги, и спрашивала его совета.

У Сэя тоже были причины стараться расположить Солона в свою пользу. Став одним из директоров банка, он быстро сообразил, что было бы очень неплохо заручиться поддержкой такого союзника, как Солон, и иметь возможность всегда рассчитывать на его голос. Видя, что Солон — человек высоких нравственных правил, он часто заводил с ним разговоры о квакерском учении, всячески превознося преимущества этого учения. Как-то раз он пригласил Солона вместе с Бенишией к себе на обед. Говоря о своем доме на Мэн-лайн, он всегда называл его «скромным», но когда Солон и Бенишия подъехали к этому дому в автомобиле, который прислал за ними предупредительный хозяин, их взгляду представился особняк, отделанный с кричащей роскошью, сразу оскорбившей сдержанный вкус Солона. Мишурное великолепие — так он назвал потом в разговоре с Бенишией этот вычурный фасад в стиле итальянских вилл, сад, разбитый по английскому образцу, и огромный вестибюль, увешанный картинами мастеров Возрождения и загроможденный всяким средневековым хламом.

Но все это были люди сильные и влиятельные, и Солону льстило их внимание. Поэтому, как уже не раз в жизни, он решил смотреть и слушать, сам ничего не говоря и бдительно оберегая себя от опасности впасть в заблуждение. Сказано же в Библии: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

ГЛАВА XLVII

Гринвич-вилледж, начало двадцатых годов. То было время, когда вся атмосфера этого района Нью-Йорка необычайно благоприятствовала расцвету творческой деятельности. Население Гринвич-вилледжа почти сплошь состояло из людей, приехавших сюда в надежде стать писателями, художниками, танцовщицами, положить начало новому течению в театральном искусстве или основать журнал, единственное назначение которого — выражать взгляды редактора, вообразившего, что у него имеются взгляды, и на этом основании возомнившего себя достойным мировой славы. Были тут журналисты и адвокаты из Средне-западных штатов, которые пренебрегли налаженным, благополучным существованием, чтобы, вдохновляясь атмосферой Гринвич-вилледжа, попытать счастья на литературном поприще. Были девушки, приехавшие с далекого Юга в поисках знаний, волнующих приключений или просто заработка, так или иначе связанного с искусством.

Ибо здесь и в самом деле был центр творческой жизни, притягивавший даже тех, кто, не обладая никакими художественными дарованиями, жаждал хотя бы общения с людьми искусства. Многие покидали куда более комфортабельные квартиры в других районах или даже загородные виллы, и ютились здесь в каком-нибудь подвале или на чердаке. Привлеченные духом романтики, приключения, съезжались сюда со всех концов страны мужчины и женщины, одни — работать, другие — просто пожить в таком месте, где могло случиться самое неожиданное. И из этой массы, бродившей под действием творческой закваски, нередко выходили и добивались признания настоящие таланты — писатели, драматурги, критики, художники, музыканты и теоретики искусства.

Существенную роль в жизни Гринвич-вилледжа играли бесчисленные ресторанчики и подпольные кабачки (тогда в Америке еще действовал «сухой закон»). Были среди них такие, где за двадцать пять центов вы могли получить сносный обед — если соглашались предварительно вымыть посуду, помочь на кухне или обслужить двух-трех посетителей; и надо сказать, многие обитатели Гринвич-вилледжа пользовались преимуществами этой системы. Особенно популярен был ресторан «Голубой гусь». Он занимал просторное помещение в подвальном этаже, с низким потолком, на котором перекрещивались обнаженные балки, с огромным открытым очагом в одном конце; окна были завешаны темно-красными драпировками, на столах горели свечи, а в углу можно было всегда видеть парочку любителей шахмат, согнувшихся над шахматной доской.

Как-то сентябрьским вечером в «Голубом гусе» шло большое веселье. Посредине зала было сдвинуто вместе несколько столов, и вокруг них разместились пирующие. Виновником торжества был красивый, хотя немного растрепанный молодой человек, праздновавший свой день рождения, а заодно и другое радостное событие: в этот самый день крупная издательская фирма приняла к печати его первый роман. Прочие столики занимали обычные посетители ресторана; были среди них и знаменитости, и только еще восходящие светила, и просто наблюдатели нравов Гринвич-вилледжа.

За одним из таких столиков, у окна, из которого, несмотря на красные драпировки, порядком дуло, сидели две девушки; лица их казались розовыми в мерцании поставленной между приборами свечи. Одна — круглолицая, коротко подстриженная, похожая на рослого крепыша-мальчишку, другая — изящная, тоненькая, настоящая статуэтка, с бледным нежным личиком в ореоле шелковых пепельно-белокурых волос и голубыми глазами, удивленно скользившими по сторонам. Это были Волида Лапорт и Этта Барнс.

Занятия на летних курсах при Висконсинском университете кончились в начале сентября, но до тех пор успели произойти события, в результате которых подруги и очутились в Нью-Йорке. На курсах они повстречали нескольких девушек, живших в Гринвич-вилледже и собиравшихся осенью туда вернуться. От них Волида и Этта наслушались восторженных рассказов о нравах и обычаях этого своеобразного места. Особенными энтузиастками Гринвич-вилледжа были две девушки, уже попробовавшие свои силы в искусстве и на мелкой газетной работе. Этта и Волида слушали их, как завороженные. Другим решающим обстоятельством явилось то, что Волида к этому времени уже раздумала поступать на медицинский факультет. Она переняла от Этты интерес к литературе, все лето усиленно занималась филологическими дисциплинами и с жаром рассуждала о журналистской карьере. Этта очень радовалась такой перемене в планах Волиды, тем более что сама она за эти полтора месяца прочла и узнала много нового по своему любимому предмету, написала несколько рассказов, которые все очень хвалили, и окончательно утвердилась в решении посвятить себя занятиям литературой.

— Мы поедем в Нью-Йорк, будем учиться в университете и жить в Гринвич-вилледже! — объявила Волида в один из последних дней занятий на летних курсах. — Иначе просто быть не может! Это место положительно для нас с тобой создано. Представь только: быть среди людей, вся жизнь которых принадлежит искусству в той или иной его форме! А сколько из них выходит настоящих знаменитостей!

— В самом деле, это будет чудесно! — подхватила Этта. — Может быть, нам удастся устроить себе такую студию, как у той танцовщицы, помнишь?

Она говорила о девушке из класса истории искусств, рассказывавшей им как-то про свою студию в Гринвич-вилледже. Девушка эта приехала в Нью-Йорк с Юга почти без денег и в поисках жилья набрела на большую пустовавшую мансарду. В одном конце мансарды находилось небольшое возвышение, нечто вроде подмостков, что как нельзя лучше соответствовало ее планам. Она подробно описывала, как она устроилась в этой мансарде: раздобыла пустые упаковочные ящики и обила их кретоном, навесила черные занавеси на окна, приладила к одной из стен большое зеркало. А теперь у нее собираются ценители искусства, беседуют, иногда она танцует перед ними на своей импровизированной эстраде. Девушка была полна самых смелых честолюбивых замыслов, поговаривала даже о поездке в Париж и о занятиях в русском балете.

— Только бы нам попасть туда, а уж где жить, мы найдем, — сказала Волида. — Ты понимаешь, Этта, ведь там бывает столько знаменитостей! И среди них легко встретить человека, который поможет найти работу по душе.

Отец Волиды огорчился, узнав об этом новом решении: ему нравилась мысль, что его дочь будет врачом. Но он давно уже привык считать, что Волида сама сумеет устроить свою судьбу, и потому без всякого спора согласился дать ей денег на дорогу и на необходимые расходы. Солон за это время тоже более или менее примирился с тем, что младшая дочь в значительной мере ушла из-под его родительской власти. Она уже достигла совершеннолетия, и он не в праве был отказывать ей в деньгах, приходившихся ей по завещанию тетушки Эстер. Из этих денег он еще раньше удержал сумму, пошедшую на выкуп драгоценностей из заклада, и теперь скрепя сердце должен был обещать, — сопроводив свое обещание целой кучей родительских наставлений, — что каждый месяц будет высылать ей чек на семьдесят пять долларов. Этта сочла, что тем самым денежная проблема для нее раз и навсегда решена. На такую сумму она отлично проживет в Нью-Йорке вместе с Волидой, пока та не найдет себе работы.

После конца занятий они прожили в семье Лапортов всего неделю. Отпуская их в Нью-Йорк, отец Волиды поставил единственное условие. У него имелась дальняя родственница, которая жила в Гринвич-вилледже на Хорэйшо-стрит и держала пользовавшийся солидной репутацией пансион для девушек, зарабатывавших на жизнь своим трудом. Там и должны были поселиться Волида с Эттой. Девушки охотно согласились на такое условие — теперь, когда заветная цель была близка, они согласились бы на что угодно; к тому же оказалось, что в большом каменном доме на Хорэйшо-стрит совсем не плохо жить, в особенности на первых порах, пока они еще не огляделись на новом месте. Они и столовались большей частью у своей хозяйки: это было дешевле, а они довольно быстро убедились, что их бюджет не допускает особых роскошеств. Но время от времени они разрешали себе променять сытный домашний ужин на тощую закуску в каком-нибудь ресторанчике, где лучше всего можно было почувствовать своеобразную и неотразимо привлекательную для них атмосферу Гринвич-вилледжа.

Особенно полюбился им ресторан «Голубой гусь». Сегодня тут было веселей, чем когда-либо. Шум и оживление создавала компания за центральным столом; тосты обходили весь зал, в веселье втягивались сторонние посетители. Дошла очередь до Этты и Волиды, им прислали по бокалу красного вина с предложением выпить за виновника торжества. Девушки со смехом приняли предложенный тост. Опуская свой бокал, Волида бросила беглый взгляд на столик, стоявший как раз напротив их столика.

— Слушай, Этта, — только не поворачивай сейчас головы, — сказала она вполголоса. — Ты заметила мужчину, который сидит вон за тем столом? Высокий, красивый, с темными волосами. С тех пор как мы вошли, он не сводит с тебя глаз.

— Глупости! Ничего я не заметила! — Этту даже насмешило такое предположение. — Тебе просто показалось.

— Нет, не показалось! — упрямо возразила Волида. — Постой, да он, кажется, хочет подойти.

Этта не успела ответить, потому что рослый, плечистый молодой человек — Волида говорила правду, он действительно был красив — уже стоял у их столика и смотрел прямо на нее. Встретив ее вопросительный взгляд, он немного смущенно улыбнулся.

— Моя фамилия Кейн, Уиллард Кейн, — сказал он. — Я художник. Скажите, вы не согласились бы позировать мне? Вам такая просьба может показаться чересчур смелой, но дело в том, что, — тут он повернулся к Болиде, — у вашей подруги такое лицо, какое я давно ищу.

— Да вы присаживайтесь, — дружелюбно сказала Волида, снимая с соседнего стула свою сумочку и свертки с покупками. — Мне всегда хотелось, чтобы какой-нибудь художник написал портрет Этты, вот, кажется, мое желание и осуществляется. — Она засмеялась и повернулась к Этте. — Мою подругу зовут Этта Барнс. А меня — Волида Лапорт.

Застенчивая улыбка Этты ободрила художника, и он стал объяснять, что работает над мужскими и женскими портретами, которые должны составить серию «Типы современных американцев». Ему кажется, что Этта подходит для этой серии, и он хотел бы сделать с нее несколько набросков, проверить свое впечатление.

— А вы откуда, девушки? — спросил он как бы между прочим.

— Мы приехали из Мэдисона — учились в Висконсинском университете, — сказала Волида. — Я там и живу, а Этта живет в Филадельфии.

— Ну, а я родом из Мэна, — сказал художник. — Мне наскучило писать жителей Новой Англии; вот я и приехал сюда поискать другой натуры.

Разговаривая, он все время смотрел на Этту, и она почувствовала, что нужно что-то сказать.

— Мой отец тоже из Мэна, — сказала она. — Он родился в маленьком городке, который называется Сегукит.

— Сегукит? Я там был, — с живостью подхватил Кейн. — Хотя мои родные места дальше к северу.

Видя, что девушки слушают его с интересом, он принялся рассказывать о своей работе, о современных направлениях в искусстве. Болиде и Этте нравилась его легкая, непринужденная манера разговора и подкупающая искренность, с которой он критиковал самого себя.

— Я думаю, Этта охотно согласится вам позировать, — сказала Волида во время минутной заминки в разговоре.

Этта пришла в замешательство.

— Ах, Волида, я, право, не знаю, удобно ли это. — И, обращаясь к Кейну, пояснила: — Видите ли, мне ни разу в жизни не случалось позировать, и...

Он поспешил перебить ее:

— Я ведь хочу писать только вашу голову, мисс Барнс. Я уверен, что вам это не покажется трудным. Может быть, вам даже будет интересно.

И он улыбнулся самой подкупающей улыбкой.

Этта совсем растерялась. У нее просто в мыслях не укладывалось — как это она придет к художнику в мастерскую и будет позировать ему для портрета. С другой стороны, после того как она уже отрешилась от стольких условностей своей прежней

жизни, отказать Кейну в его просьбе было бы, вероятно, глупо. И, кроме всего прочего, она невольно почувствовала себя польщенной.

Кейн по выражению ее лица понял, что она колеблется.

— Вы согласны, правда, согласны? — спросил он. Она молча кивнула. — Вот и чудесно! Давайте завтра в два часа и начнем.

Он достал визитную карточку, приписал на ней адрес мастерской и подал девушке.

— Это в двух шагах отсюда, — сказал он, поднимаясь. — Так не забудьте! Завтра в два часа!

И, помахав на прощанье рукой, он вернулся к своему столику.

И повторился старый, как мир, сюжет о художнике и его модели. В художнике говорило то же, что и всегда: извечное преклонение перед красотой и совершенством форм, перед жизнеутверждающей сущностью женщины. Кейн уже написал для своей серии пять или шесть портретов американцев, показавшихся ему типичными; но здесь он почувствовал возможность создать произведение, которое должно явиться венцом всей работы. Кроме того, его с первого взгляда потянуло к Этте; и девушку, хотя она сама этого не сознавала, тоже влекло к нему.

Когда Этта в два часа явилась в мастерскую, Кейн уже ждал ее. Он был одет в длинную свободную блузу, перепачканную краской, и довольно поношенные брюки; на ногах у него были коричневые кожаные сандалии. Непокорная прядь спадала на лоб над правым глазом, и Этте он в небрежном рабочем костюме показался еще привлекательнее, чем накануне. Он сердечно поздоровался с ней и поблагодарил за то, что она пришла. И она вдруг почувствовала себя дома в этой большой комнате с голыми стенами, почти пустой, если не считать подрамников, сваленных в кучу в одном углу. Торнбро, Чэддс-Форд, вся безмятежная ясность прежних дней навсегда канули в прошлое; новый мир раскрылся перед ней, и она уже стала частицей этого нового мира.

— Снимите, пожалуйста, шляпу, и начнем работать, — деловым тоном сказал Кейн и повел ее к большому старинному креслу, установленному на возвышении. Этта села, немного смущаясь, и спросила, не повернуться ли ей лицом к окну.

— Да, пожалуй, — сказал Кейн. — А вообще примите удобную, непринужденную позу. Мне нужно, чтобы ваша голова была хорошо освещена, а свет лучше всего падает именно здесь. Смотрите для развлечения в окно — на воробьев, прыгающих по мостовой, или на хозяек в доме напротив. Вон одна как раз собирается вытрясти пыльную тряпку на головы прохожих.



Этта рассмеялась, и Кейн взялся за кисть. Работая, он расспрашивал ее о занятиях в университете, о том, что привело ее сюда, в Гринвич-вилледж. Так прошло около часу. Наконец Кейн, видимо довольный сделанным, перевел дух и объявил, что на сегодня хватит.

— Я вам больше не нужна? — спросила Этта вставая.

Он молча посмотрел на нее, и она в ответ смущенно улыбнулась. Не отводя взгляда, он подошел и, помогая ей сойти с возвышения, сказал почти шепотом:

— Красавица моя! Вы мне всегда будете нужны. — И тут же продолжал уже совсем другим тоном: — Видите ли, обычно я сперва делаю два-три наброска с модели, чтобы уяснить себе детали будущего портрета. Так что если вы не передумали позировать мне, наша работа только начинается. Разумеется, я буду платить вам гонорар, как всякой натурщице. Согласны? Тогда позвольте, я запишу ваш адрес и номер телефона.

Он сделал паузу; его глубокие серые глаза смотрели на нее не отрываясь, в складке крупных, ласковых губ был горячий призыв.

— Так, может быть, завтра в это же время? Вас устраивает?

И Этта поняла, что никакая сила в мире не помешает ей завтра прийти.

Так она вступила на новый путь, на котором искусство переплеталось с жизнью сердца.

ГЛАВА XLVIII

Целых полтора месяца Этта почти каждый день приходила в мастерскую Уилларда Кейна, и отношения, складывавшиеся между ними, занимали все больше места в ее и его жизни. Однако ни эти первые проблески чувства, ни богатство и разнообразие новых впечатлений не могли заставить Этту окончательно забыть родную семью. Она очень тосковала по матери и в то же время боялась, что если она приедет домой, ей не избежать бесконечных споров с отцом, от которых у всех только останется неприятный осадок в душе. Солон ни в чем не изменил своих взглядов относительно того, как должны и как не должны поступать его дети; он по-прежнему пытался склонить Этту к возвращению в Торнбро, а она упорно не соглашалась, отказываясь даже приехать на два-три дня повидаться.

Не раз Солон высказывал желание навестить Этту в Нью-Йорке, но Бенишия отговаривала его, опасаясь, как бы его посещение не отдалило девушку еще больше от семьи. В письмах, которые Этта довольно часто писала матери, уверяя, что здорова и занятия идут хорошо, постоянно говорилось о том, как ей не хочется, чтобы вновь повторялись ненужные и бесполезные сцены с отцом. В конце концов решено было, что в Нью-Йорк поедет Бенишия, и в один прекрасный день она появилась на Хорэйшо-стрит в простой серой тальме и квакерском чепце, из-под которого сияли лаской и надеждой ее лучистые глаза. У Этты при виде матери сердце сжалось от волнения; ей вдруг показалось непонятным, как она могла причинить малейшее страдание этой нежной, любящей душе. Мать и дочь обнялись и с минуту ни та, ни другая не могли произнести ни слова. Бенишия опомнилась первая.

— Родная моя! — вымолвила она тихо. — Наконец-то я тебя вижу, могу тебя обнять, поцеловать! Если б ты только знала, как я по тебе соскучилась! Ну, расскажи же мне, как ты живешь, все, все расскажи!

— Милая мамочка, а я как рада, что могу поговорить с тобой, — сказала Этта, целуя ее. — Все тебе расскажу, не утаю ничего!

Она усадила мать в лучшее кресло, а сама села на пол у ее ног и положила ей голову на колени. И, пригретая материнской лаской, стала рассказывать обо всем, что с ней произошло после отъезда из Торнбро: об университете, о том, как они с Волидой решили ехать в Нью-Йорк, о своем желании стать писательницей, добиться успеха на этом поприще. Когда же мать попыталась спросить, не могла ли бы она работать, живя дома, Этта мягко, но решительно возразила, что ей необходимо, как воздух, ощущение свободы и независимости, а дома у нее этого ощущения никогда не будет. Ее занятия так же важны для нее, как для отца — его религия, но из этого вовсе не следует, что она разлюбила своих родных.

— А больше тебе нечего мне рассказать, дорогая? — спросила Бенишия, выслушав ее до конца. — О твоих друзьях, например, — нет ли среди них таких, с кем бы тебе не следовало водить знакомство? Что, Волида в самом деле хорошая, серьезная девушка? Есть ли у нее или у тебя приятели мужчины?

— Волида — настоящий верный друг, мама. Мы обе много и серьезно работаем, и мужчины нас не интересуют. Но кое о чем я, пожалуй, должна тебе рассказать. — Она замялась, голос ее зазвучал теплее, задушевнее. — Месяца полтора назад я повстречалась с одним художником. Он работает над серией американских типов и захотел написать для этой серии мой портрет. Человек он очень серьезный, пользуется известностью. Я позирую ему в его мастерской, и он мне платит за каждый сеанс. Надо сказать, эти деньги пришлись довольно кстати, потому что одними процентами с наследства тетушки Эстер не проживешь!

— А ты уверена, что тут нет ничего дурного, — в том, что ты ходишь в мастерскую к этому человеку? — тревожно спросила Бенишия.

— Ну, конечно, мама. Это так принято, и к тому же он ни о чем не думает, кроме своей работы. Мне бы очень хотелось тебя с ним познакомить.

— В другой раз, Этта. Сейчас я спешу домой. Отец с нетерпением ждет вестей о тебе. У него столько забот и огорчений — и из-за тебя, и из-за Стюарта, и дела идут не всегда гладко. Но если я заверю его, что тебе в самом деле на благо твоя жизнь здесь, это снимет большую тяжесть с его души. Могу я сказать ему так?

— Да, мама, можешь, — сказала Этта со слезами на глазах.

Они еще немного поговорили о доме, об Айсобел, Доротее, Стюарте, потом Бенишия простилась и уехала.

Свидание с матерью всколыхнуло все существо Этты, и много дней потом ее мучили сомнения — не отказаться ли от того, о чем она так долго и страстно мечтала, и не вернуться ли домой в Торнбро? Если б не ободряющая близость Волиды, тем бы, вероятно, и кончилось. Впрочем, тут сыграло роль еще одно обстоятельство — все растущее, хотя и безотчетное пока влечение к Уилларду Кейну. Так или иначе, она не уехала, и мало-помалу отношения ее с художником достигли такой стадии, когда отступать было уже невозможно.

Как-то холодным ноябрьским утром придя в мастерскую, она увидела, что Кейн в раздумье стоит перед ее портретом. Она подошла и остановилась рядом. Так написать женщину мог только художник, глубоко проникший в душу своей модели и не оставшийся безучастным к тому, что творилось в этой душе. Чувство горделивой радости переполняло Этту. И вдруг она поняла главное, о чем без слов, но достаточно выразительно говорил этот портрет: Кейн ее любит! Она повернулась, глаза их встретились, и ей стало ясно, что противиться бесполезно. Медленно, словно покоряясь какой-то непреодолимой силе, она придвинулась ближе. Он обнял ее и прижал к себе.

С этого безмолвного признания началась связь, которой суждено было стать для Этты источником и несказанного блаженства и постоянных терзаний, потому что она без ужаса не могла подумать о том, что будет, если каким-нибудь образом узнают отец и мать. Но время шло, опасность разоблачения казалась все менее и менее вероятной, и Этта невольно глубже и глубже втягивалась в новый для нее мир любви и эстетических наслаждений. Кейн, однако, принадлежал к людям, для которых все в жизни подчинено искусству; любовь и красота казались ему неотъемлемыми элементами существования, но он никогда не позволил бы любви перерасти в силу, способную причинить ущерб ему или его искусству. К Этте он относился с нежностью, был признателен ей за то, что она вдохновляет его в работе, ее юная красота влекла его к себе. Но он не задумывался о том, что если их отношения зайдут слишком далеко, это может принести Этте горе, даже погубить ее. Его пленяли в ней молодость, тонкий ум, чуткая душа. Он восхищался ею, желал ее, подчас испытывал к ней страстное обожание. Но он не любил ее по-настоящему. К тому же он ничего не знал о той атмосфере условностей и строгих правил, в которой она росла, о суровом религиозном духе, царившем в ее семье. Она никогда ему об этом не рассказывала, не говорила даже, что ее родные — квакеры. И с самого начала у него не было намерения превратить их связь в прочный, постоянный союз.

Под конец осени у Этты вошло в привычку по пути из университета заходить в мастерскую к Кейну; он уже знал это и старался освободиться ко времени ее прихода. Портрет был окончен, но ему хотелось писать ее еще и еще. Теперь они почти каждый вечер ужинали вместе где-нибудь в ресторане, а потом Этта нередко возвращалась к нему в мастерскую.

И вот на беду как-то раз они повстречали в ресторане человека, который оказался приятелем Орвила. Человек этот давно уже стал почтенным семьянином и жил в Трентоне, но время от времени наезжал в Гринвич-вилледж повидать одну свою старинную приятельницу. Он был знаком с Кейном и, гордясь этим знакомством, не преминул подойти, так что художнику ничего не оставалось, как только представить его Этте.

— Знакомьтесь, пожалуйста: мисс Барнс — Рэнс Кингсбери, — сказал он.

Молодой человек бросил на девушку взгляд, который показался Кейну чересчур пристальным. Это ему не понравилось: он знал, что Кингсбери человек женатый, живет в Трентоне, а сюда приезжает навещать прежнюю приятельницу, с которой сам Кейн тоже был знаком. В глазах Кингсбери, обращенных на Этту, читалось откровенное любопытство; она, видимо, показалась ему непохожей на тех женщин и девушек, которых он привык встречать в Гринвич-вилледже.

Прощаясь, он вдруг спросил, как бы между прочим:

— Скажите, мисс Барнс, не родственница ли вы Орвилу Барнсу, который живет в Трентоне?

От неожиданности Этта до того растерялась, что, не успев подумать, сразу же ответила:

— Это мой брат.

— Да что вы! А я очень хорошо знаю Орвила; только на прошлой неделе провел очаровательный вечер у него в гостях. Вы ведь там не были, правда? Я бы непременно заметил вас.

Этта, испугавшись, что выдала себя, ответила довольно сухо:

— Я не видела Орвила с тех пор, как переехала в Нью-Йорк. Я здесь учусь в университете.

Но сделанного промаха уже нельзя было исправить. Вернувшись в Трентон, Кингсбери не замедлил сообщить Орвилу, что видел его сестру в Гринвич-вилледже с известным художником Уиллардом Кейном. Орвил сделал вид, будто эта новость его ничуть не заинтересовала, однако на самом деле встревожился не на шутку. Человеку его положения не пристало иметь что-либо общее с Гринвич-вилледжем. И так уже, с тех пор как Этта уехала из дому, жена и родственники жены без конца донимали его расспросами — где она и что делает. Слова Кингсбери не давали ему покоя, и в конце концов он решил проверить все сам.

В следующее воскресенье он приехал в Нью-Йорк и, несмотря на довольно ранний час, прямо с вокзала отправился на Хорэйшо-стрит. Там ему сказали, что его сестра еще в субботу уехала куда-то и не вернется до понедельника. Ничего больше ему узнать не удалось. Тогда он припомнил имя человека, с которым, по словам Кингсбери, Этта была в тот вечер: Уиллард Кейн. Он разыскал адрес Кейна в телефонном справочнике и пошел по этому адресу. Сонный лифтер, к которому он обратился, вызвал по внутреннему телефону квартиру Кейна.

— Что, мистер Кейн дома? — спросил он.

— А кто спрашивает мистера Кейна? — раздался в трубке женский голос, при звуке которого Орвил вздрогнул. Это был голос его сестры. Не дав лифтеру ответить, он поспешно крикнул в трубку:

— Этта, послушай, это я, Орвил. Я хочу тебя видеть. Можно мне подняться наверх?

Последовало короткое молчание, потом голос Этты сказал:

— Подожди минуту, Орвил. Я сейчас спущусь к тебе.

В ожидании Этты Орвил мерил шагами вестибюль. Прошло минут десять, прежде чем она появилась, явно смущенная. Орвилу сразу бросилась в глаза перемена, совершившаяся в ней за то время, что они не виделись: она словно выросла, стала живее и удивительно похорошела. Впрочем, это наблюдение не смягчило закипавшего в нем гнева.

— Ты где, собственно, живешь, здесь или на Хорэйшо-стрит? — спросил он с ядовитой усмешкой.

— Конечно, на Хорэйшо-стрит. Я просто зашла к мистеру Кейну.

— Ты выбираешь странное время для визитов, — заметил он.

— Я, видишь ли, позирую мистеру Кейну, и время сеансов от меня не зависит. Мистер Кейн назначает те часы, когда ему удобно. Он знаменитый художник.

— Что ни говори — это выглядит довольно странно. Воскресенье, десять часов утра...

— Не понимаю, Орвил, что с тобой такое, — сердито сказала Этта. — Мы не виделись чуть не полгода, и не успел ты приехать, как начинаешь говорить мне неприятности.

Но Орвил пропустил ее слова мимо ушей.

— Если за этим позированием действительно ничего не кроется, проводи меня наверх, я хочу поговорить с мистером Кейном.

— И не подумаю! Я отлично знаю, что когда мистер Кейн работает, он никого не принимает, не примет и тебя.

— Так я и думал! — Орвил оглянулся, желая удостовериться, что лифтера нет поблизости. — Что это все значит? Ты любишь этого человека или просто путаешься с ним?

Глаза Этты сверкнули.

— Тебя это во всяком случае не касается! — только и нашла она что ответить.

— Конечно, доброе имя семьи для тебя ничего не значит. — Орвил распалялся все сильнее. — Зато для всех нас оно значит очень много. Неужели ты не понимаешь, что люди уже говорят о тебе? Если у тебя самой нет стыда, подумала бы хоть об отце и матери.

— Тебя только и беспокоят людские толки и пересуды. А до отца и матери, как и до всех нас, тебе, в сущности, дела нет. По какому же праву ты берешься судить меня? У тебя своя жизнь, у меня своя.

Она повернулась и пошла к лестнице.

— Настанет день, когда ты пожалеешь об этом! — крикнул Орвил ей вслед.

Но тут растворились дверцы лифта, Этта вошла в кабину и в следующее мгновение уже исчезла из глаз.

ГЛАВА XLIX

Казалось бы, посещение Орвила и неприятный разговор, который при этом вышел, должны были испугать Этту и заставить ее отказаться от Уилларда Кейна. Но случилось наоборот. Она восприняла это так, словно еще одна преграда легла между нею и всем тем, что составляло ее прежнюю жизнь. Орвил поднял совсем новый вопрос — о скандале в обществе, о людских пересудах, и все в ней возмутилось против этого гораздо больше, чем против религиозных и нравственных доводов отца; те по крайней мере шли от сердца — горячего сердца человека, который хоть и был ограничен в своем кругозоре, но искренне верил и любил. А в злобных упреках Орвила лишь сказалась мелкая душонка, не знающая иных стремлений, кроме стяжательства и погони за житейским благополучием, и Этта с радостью думала о том, что больше не принадлежит к его миру. Она не хотела причинять огорчения родным, но не могла допустить, чтобы их обывательские, узкоморалистские предрассудки стесняли ее свободу.

Орвил, получивший от нее достаточно резкий отпор, никогда не узнает о том, как глубоко была она уязвлена на самом деле, а она никогда не забудет этого тупого филистерского выражения на его лице. Но за время, проведенное вдали от дома, Этта не только лучше узнала жизнь и приобрела некоторый опыт, она стала более смелой и независимой в своих взглядах. Что ей в конце концов презрение и осуждение мира богачей и мещан — мира, где брат может возненавидеть сестру, недавнюю подругу своих детских лет? Она радовалась при мысли о том, что ушла из этого мира — навлекла на себя его презрение, — ибо в нем все подчинено условным житейским правилам, которые душат стремление личности развиваться и совершенствоваться. Дружба с Волидой и общение с такой богатой артистической натурой, как Кейн, помогли ей окончательно сбросить гнет этого мира.

Таким образом, все способствовало тому, что Этта умом и сердцем сильней и сильней привязывалась к Кейну. В отличие от ее отца и брата он так хорошо понимал смысл и красоту жизни. Он побуждал ее стремиться к духовному росту, учил ее находить наслаждение в мысли и понимать радости творчества. Он говорил с ней о книгах и музыке, водил ее в картинные галереи и так умно и хорошо объяснял все, что ей было непонятно. И в то же время он приобщал ее к таинствам любви, проявляя такое умение чувствовать и выражать свои чувства, которое как нельзя лучше отвечало самым сокровенным потребностям ее существа.

Волида, несмотря на свои передовые идеи, была поражена и даже несколько разочарована, обнаружив в Этте свойственную всем обыкновенным смертным ее пола потребность любви и физической близости с любимым человеком. Впрочем, тут скорей всего проявилась безотчетная зависть или ревность, шевельнувшаяся в Волиде, потому что ей самой ни разу не случалось затронуть сердце мужчины, хотя бы и не такого привлекательного, как Кейн. Она много раз бывала вместе с Эттой в мастерской художника и восхищалась его умом и высоким мастерством его произведений. И она не теряла надежды, что когда-нибудь ей посчастливится внушить нежные чувства человеку, столь же красивому и внутренне утонченному. А пока дружба с Эттой заменяла ей более сильные привязанности. Она и в самом деле была беззаветно предана подруге, сознавая, что значительно уступает ей в богатстве мыслей и чувств. Услышав о встрече Этты с Орвилом, она тут же посоветовала ей выбросить из головы эту тяжелую и неприятную сцену. Ведь у нее есть свои деньги, правда? Она не должна спрашивать у старшего брата разрешения жить так, как ей хочется. Он и сам уже, наверно, понял, что не имеет над нею никакой власти.

В этом Волида не ошиблась. Орвил действительно уехал из Нью-Йорка с чувством полного поражения. Больше всего его мучила мысль о скандале, боязнь, как бы слух о неподобающем образе жизни, который ведет его сестра, не достиг ушей жены и жениной родни. Он решил ни отцу, ни матери и никому в семье не говорить о своей поездке. Лучше молчать и ждать; надо посмотреть, как все сложится дальше. Быть может, Этта еще одумается и изменит свое поведение. Все равно ему скоро придется побывать в Торнбро — он аккуратно раз в месяц ездил навещать родных, — и тогда уж он на месте оглядится и надумает, как ему быть.

Но когда на следующей неделе он приехал в родной дом, там все были увлечены подготовкой к свадьбе Доротеи, которая должна была состояться в октябре. Минувшим летом она стала невестой Сатро Корта, того самого молодого человека, с которым она танцевала в памятный вечер своего первого приезда к тетушке Роде; отец его был крупным подрядчиком по прокладке трамвайных линий, и Доротея не жалела изобретательности ради того, чтобы свадьба явилась событием в жизни местного общества. Орвил застал ее за изучением «Светского справочника», откуда она выписывала имена и адреса лиц, достойных приглашения на торжество. Она очень обрадовалась приезду брата, считая, что в этом вопросе он может быть неоценимым советчиком.

Они были одни в кабинете Солона. Орвил стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом, а Доротея сидела за отцовским столом. Она читала вслух имена, а он делал свои замечания, большею частью одобрительного свойства.

— Рэнс Кингсбери с женой. — Карандаш Доротеи задержался в воздухе. — Пригласим?

— Кингсбери? — Орвил отскочил от окна и поспешно подошел к ней. — Нет, нет, ни за что!

— А почему? — удивилась Доротея. — Чем он нехорош?

— Дело вовсе не в том, хорош он или нет, — сказал Орвил. — А просто ему кое-что известно об Этте, что нам вовсе не желательно распространять, особенно сейчас.

Доротея выпрямилась в кресле.

— Что такое? Я не понимаю, Орвил, о чем ты говоришь?

Орвил нахмурился и приложил палец к губам, как бы в знак того, что это тайна.

От этого, разумеется, любопытство Доротеи только разгорелось, и, пустив в ход присущую ей настойчивость, она в несколько минут вытянула из Орвила всю историю. То, что она услышала, потрясло ее и в то же время испугало: перед ее мысленным взором сверкнуло страшное слово «скандал». Подумать только, что ей и ее семье угрожает такая опасность — и именно сейчас, перед ее свадьбой! Она решила ничего не говорить родителям, но случилось так, что на следующий день, когда они с матерью обсуждали какие-то хозяйственные приготовления, Бенишия вдруг сказала:

— Доротея, тебе, по-моему, следует написать Этте сердечное, теплое письмо и попросить ее приехать на свадьбу. Я не сомневаюсь, что она и так приедет, но пусть видит, что ты этого хочешь.

— Но, мама... — начала Доротея и запнулась.

— Что, дитя мое?

— Мама, ты не все знаешь об Этте. Если б вы с отцом знали правду о ее нью-йоркской жизни, вы бы ее не похвалили. Мне кажется, лучше ей совсем не приезжать.

— Доротея! — воскликнула Бенишия. — Как ты можешь так говорить о своей сестре!

— Это не я говорю, мама, это Орвил; и он тоже считает, что ей лучше не приезжать.

— Ты меня очень огорчаешь, Доротея, таким отношением к сестре. Это ее дом в такой же мере, как и твой. А если у Орвила есть в чем обвинить ее, пусть придет и расскажет мне все сам.

И сразу у Бенишии мелькнула мысль о художнике, про которого упоминала Этта. С тех пор прошло немало времени, в письмах Этта почти не касалась своей личной жизни, и у Бенишии тревожно защемило сердце — не случилось ли чего-нибудь нехорошего с чистой, задумчивой, мечтательной девочкой, которая несколько недель назад так прямо смотрела матери в глаза, уверяя, что ей нечего скрывать.

Последовавший затем разговор между Бенишией и двумя ее детьми был болезненно тягостным для всех троих. Орвил повторил все, что говорил Доротее, только в иных выражениях, менее оскорбительных, по его мнению, для слуха матери.

Ошеломленная и подавленная услышанным, Бенишия прежде всего подумала о Солоне. Она теперь опасалась худшего, но не хотела подавать виду перед Орвилом и Доротеей, что ее вера в Этту поколебалась. Она продолжала твердить, что они, может быть, ошибаются; что во всяком случае им не пристало так дурно говорить о своей сестре; напротив, пусть приедет и оправдается. Она требовала, чтобы Солону ничего не говорили до тех пор, пока она не узнает правду от самой Этты. Она сейчас же напишет ей, и из ее ответа все будет ясно.

Но этот долгожданный ответ оказался настолько уклончивым, что на душе у матери стало еще тяжелее и тревожнее. Мучительное волнение отразилось на ее здоровье; несколько раз, пока шли приготовления к свадьбе, ее одолевали приступы слабости, и она хорошо знала, что виной тому не усталость, а боль и страх за Этту, от которой больше не приходило ни строчки.

Обеспокоенный Солон в конце концов заподозрил неладное, тем более что Бенишии плохо удавалось скрывать свое горе. Он стал настойчиво расспрашивать детей, в особенности Доротею, не знают ли они, что так тревожит их мать.

— Она, наверно, огорчается из-за Этты, — не задумываясь, ответила ему Доротея. — Этта написала, что не может приехать к свадьбе, потому что будет очень занята, а мама все надеется.

Услышав это, Солон сразу подумал, что за отказом младшей дочери приехать скрывается нечто большее, чем те общие соображения, которые она ему высказывала при их последней встрече. Он пошел к Бенишии и попросил ее рассказать все, что ей известно об Этте, так как ему кажется, что от него что-то скрывают. И Бенишия нехотя призналась ему: да, в жизни Этты появился мужчина, художник, пользующийся известностью, но каковы отношения между ними, она не знает и не хочет верить, будто это отношения предосудительные; сама Этта говорила ей, что их связывает только искусство, и родителям остается лишь молиться и верить, что бог не допустит ее до чего-либо дурного.

Теперь они разделили это тяжкое бремя, и невесело было у обоих на сердце в день, который должен был бы стать самым большим праздником для Солона, — день свадьбы его дочери в прекрасном доме, где прошла его юность.

Часть третья

ГЛАВА L

Осенью того самого года, когда Этта начала новую жизнь в Нью-Йорке, а Доротея вышла замуж, в судьбе Стюарта тоже произошли перемены. Отец отдал его в училище Франклин-холл, заведение, проникнутое религиозным или, во всяком случае, высоконравственным духом, где при наличии искренней тяги к знанию многому можно было научиться. Оно помещалось в тихом, живописном и довольно уединенном уголке, который когда-то был одним из предместий Филадельфии, а теперь представлял собой нечто среднее между дачным местом и городской окраиной. При училище был парк акров в двадцать, обнесенный высоким сплошным забором, с аккуратно подстриженными лужайками и нарядными цветочными клумбами. К услугам воспитанников были спортивные площадки, теннисные корты. Посреди парка стояли три дома: один был отведен под аудитории и административные помещения, в двух других жили воспитанники.

Стюарту, который все шестнадцать с половиной лет своей жизни провел безвыездно под родительским кровом, здесь сразу понравилось: и обстановка и люди были совсем иные, чем дома. Впрочем, распорядок дня учащихся был строго регламентирован: в таком-то часу вставать, в таком-то ложиться, столько-то тратить на еду, занятия, отдых.

Стюарт к этому времени выровнялся в складного красивого юношу без малого шести футов росту, весьма осведомленного во всем, что касалось радостей жизни, и весьма неглубокого в других отношениях. Он был веселого нрава, и здесь, в училище, его привлекала не столько возможность расширить свой кругозор, сколько перспектива знакомства и дружбы с более искушенными сверстниками, которые введут его в желанный мир спорта и развлечений.

Надо сказать, что все его интересы сосредоточивались теперь вокруг девушек. Он испытывал то же томление пола, которое причиняло столько мук старшей из его сестер, только в нем оно было гораздо сильнее и не умерялось, как у Айсобел, привычкой обуздывать и сдерживать себя. Его постоянно терзал неутоленный голод плоти. Вид округлой шейки или щечки, грациозная походка, блеск глаз, прикосновение руки хорошенькой девушки — все это словно заряжало его электрическим током. От одной только мысли о чем-либо подобном ему становилось жарко, радостно, сладко-тревожно. Но, верный себе, он мечтал не об одной, а обо всех. Ему редко случалось пройти по улице, чтобы не встретить девушку, которая показалась бы ему неотразимо привлекательной. И он тотчас же воспламенялся, не думая о том, насколько мимолетны его восторги.

Однако училище оставляло гораздо меньше времени и даже возможностей — так по крайней мере казалось на первых порах — для тех неуклюжих флиртов, которых он так жаждал. Чтобы провести у товарища субботний вечер или воскресенье, требовалось письменное разрешение родителей. Правда, некоторые мальчики — те, у кого родители были не слишком строги,

— ухитрялись все же бывать в театрах или иным способом развлекаться вне стен училища. Но Солон и Бенишия требовали, чтобы он по субботам приезжал домой или же оставался в училище и готовил уроки.

Немудрено, что Стюарта очень скоро начал злить этот бдительный родительский надзор, по его мнению, обидный и ненужный. Дело еще усугублялось тем, что у него никогда не бывало денег. Солон заранее подсчитал его бюджет и пришел к выводу, что если одежду и необходимые учебные пособия он будет получать от родителей, то пяти долларов в неделю вполне хватит на проезд и карманные расходы. В случае непредвиденных надобностей Стюарт должен был обращаться к отцу каждый раз особо, и предполагалось, что такие случаи будут редки. Солон хотел, чтобы сын знал деньгам цену и тратил их разумно и осмотрительно.

Но Стюарту такая система вовсе не нравилась. Рядом, чуть ли не у самых ворот, был большой город со всеми его соблазнами — магазинами, ресторанами, театрами, которые ему никогда не разрешалось посещать. И некоторые из его сверстников, не нуждавшиеся в деньгах, как он, часто, в обход строгих школьных правил, отправлялись по субботам в Филадельфию и поочередно «ставили угощение» товарищам в каком-нибудь ресторане или павильоне с мороженым. У многих чемоданы были полны изысканных предметов туалета, о каких он и мечтать не мог, а больше всего его задевало, когда какой-нибудь юнец начинал хвастать, что у его отца есть автомобиль: Стюарту никак не удавалось уговорить Солона купить машину.

Автомобиль в те годы являлся предметом особой роскоши, и были такие любители пустить пыль в глаза, которые залезали в долги, лишь бы его приобрести. Дорогие американские марки соперничали с заграничными, и сотни больших и маленьких, окрашенных в яркие цвета автомашин с оглушительным ревом мчались по улицам Филадельфии и других городов, заставляя простых смертных трепетать от зависти.

Среди однокашников Стюарта был один мальчик, отец которого недавно завел первоклассный автомобиль. Лестер Дженнингс-младший даже научился сам править и в разговорах любил упомянуть об этом вскользь, как о предмете, не заслуживающем внимания, хотя на самом деле ему до смерти хотелось покрасоваться перед товарищами за рулем.

Однажды, когда он с увлечением описывал автомобильную прогулку, совершенную семейством Дженнингс в прошлое воскресенье, другой мальчик из их кружка, Виктор Брудж, вдруг прервал его похвальбу.

— Послушай, Дженнингс, а что бы тебе как-нибудь взять у отца автомобиль и покатать нас, — сказал он. — Вот была бы красота! Отсюда не больше часа езды до Атлантик-Сити, а то можно поехать и в Уилмингтон. В Уилмингтоне у меня есть знакомые девушки.

И Лестер ответил, что непременно постарается устроить это, когда автомобиль не будет нужен отцу.

Вполне естественно, что Стюарт, жизнерадостный, жадный до развлечений, сразу пришелся ко двору в этой компании. Особенно он сдружился с Дженнингсом и Бруджем и быстро подпал под их влияние. Оба отличались таким же легкомысленным нравом. Дженнингс был добрый малый, хоть, пожалуй, чересчур напористый. Коротенький, коренастый, с широким, почти квадратным лицом и выдающейся челюстью, он при разговоре словно сверлил собеседника своими маленькими глазками сквозь круглые очки в металлической оправе. Он питал пристрастие к хорошим вещам, носил дорогое белье и костюмы, ездил всегда с превосходными кожаными чемоданами всевозможных размеров; говорили, что он единственный наследник миллионного состояния.

Виктор Брудж, высокий, фатоватый юнец лет восемнадцати, был другого склада — нервный, чувствительный, себялюбивый. Он тоже щеголял своими костюмами и у него в комнате было полно всяких занятных и необычных вещиц. Мать баловала его, считая, что ее муж слишком строг к сыну, и Виктору ничего не стоило получить от нее письменное разрешение на что угодно — поехать к Дженнингсу в гости, например, или просто провести воскресный день в Филадельфии. Она только сетовала при этом, что редко его видит.

Вскоре у приятелей вошло в обыкновение собираться втроем в чьей-нибудь комнате среди дня или даже вечером, после того, как погасят свет, хотя это и запрещалось правилами. При всяком удобном случае они совершали вылазки в соседний поселок. Разговаривали преимущественно о девушках — обсуждали их сравнительные достоинства, спорили о том, проявила или не проявила такая-то ответный интерес к кому-нибудь из них. Не забывали и о таких вещах, как карты, сигареты, театр. И у Бруджа и у Дженнингса были щегольские портсигары, из которых, когда позволяли обстоятельства, они небрежным жестом вынимали «гвоздик», как на тогдашнем жаргоне именовались сигареты. Дженнингс, кроме того, играл в безик и покер, а Брудж считал себя первоклассным бильярдистом — он недавно выучился играть на бильярде и очень этим гордился.

Как именно он изловчится воспользоваться отцовским автомобилем для задуманной экскурсии, Дженнингс еще не знал, но он не сомневался, что это ему удастся — хотя бы на несколько часов. Нужно будет только прихватить с собой каких-нибудь девушек. Об этом и шел у них разговор в одну из суббот, перед тем, как всем троим разъехаться по домам.

— Ох, и здорово же будет! — вскричал Стюарт, вспоминая Маршу Уоррингтон, школьницу из Даклы. Она была такая хорошенькая, полненькая, с розовыми щечками.

Бруджа тоже взволновала эта затея. У него была привычка садиться на стол, конторку, сундук — все равно что, лишь бы повыше, и, разговаривая, беспокойно болтать ногами и размахивать руками.

— Можно поехать в Уилмингтон, — снова предложил он. Его семья была из Уилмингтона и только недавно переехала в Филадельфию. — Я там знаю таких девчонок — пальчики оближешь.

— Или в Атлантик-Сити, — вставил Стюарт. — Поедем в Атлантик-Сити. Думаете, мы за один день не обернемся?

Брудж и Дженнингс сомневались, удастся ли обернуться за один день. Но в конце концов главное было достать автомобиль и уехать, все равно куда, лишь бы уехать, и на это они теперь направили всю свою изобретательность.

ГЛАВА LI

Для осуществления этого увлекательного плана Стюарт решил попросить у отца немного денег сверх положенной ему суммы, а также заручиться разрешением на поездку в гости к Дженнингсу или Бруджу, приурочив это к той субботе, когда выяснится, что Дженнингс может располагать автомобилем.

Однако в следующий свой приезд домой он сразу увидел, что разумнее будет не обращаться сейчас к отцу с просьбами. Как оказалось, Солон получил из Франклин-холла письмо, в котором декан сообщал ему, что Стюарт сильно отстал по трем предметам и если не выправится до конца семестра, то будет исключен.

«Я очень сожалею, что должен огорчить Вас, мистер Барнс, — писал декан. — Стюарт, безусловно, способный мальчик, но с наклонностью к легкомыслию и поэтому нуждается в особо бдительном надзоре. Кроме того, он здесь сдружился с несколькими юношами, которые склонны бесцельно проводить время и его приучают к тому же. Ввиду всего этого полагаю, что Ваше родительское внушение явится сейчас весьма своевременным и, быть может, предотвратит необходимость более крутых мер в дальнейшем».

Это письмо ошеломило Солона. Он еще не успел оправиться после того удара, который нанесло ему вызывающее своеволие Этты — и вдруг новое потрясение. Столько молитв, столько размышлений, столько заботы со стороны его и Бенишии, и тем не менее вот уже второй из их детей ведет себя недостойным образом. Разумеется, он поговорит со Стюартом, но поможет ли это? Ему хорошо запомнилось то странное, испуганное выражение, которое было в больших голубых глазах Этты, когда он отчитывал ее по поводу найденных в ее комнате книг и ее желания ехать в Висконсин с Волидой Лапорт. И тем не менее несколько дней спустя она покинула родной дом, не побоявшись лишить себя родительской ласки и защиты. А теперь и Стюарта одолевает такая же, пожалуй еще более неуемная, жажда жизни. Если его исключат, то из страха перед суровым осуждением домашних он может броситься навстречу еще большим опасностям. Нет, нет! Что бы ни случилось, у этого мальчика никогда не должно возникнуть мысли, что ему тяжело в родном доме и что отец не понимает его и не сочувствует ему. Видно, в самом деле мир изменился. Нужно научиться понимать детей, не поступаясь своими представлениями о том, что хорошо и что плохо — поскольку поступиться ими для него невозможно.

После длительного раздумья Солон решил, что попробует подойти к Стюарту по-новому. Когда тот в субботу приехал из Франклин-холла, отец встретил его ласково. Но письмо декана он положил в комнате сына на видном месте, где его нельзя было не заметить.

И в самом деле, как это письмо, так и неожиданная снисходительность, проявленная отцом, произвели сильное впечатление на Стюарта. Он сам пришел к Солону, откровенно сознался в том, что запустил занятия, и пообещал исправиться. При этом он был вполне искренен: ему вовсе не хотелось, чтобы его исключили из Франклин-холла, не хотелось расставаться с товарищами, общество которых сулило столько интересного и неизведанного.

После этого случая его отношения с отцом как будто наладились; но прошло немного времени, и Стюарт снова убедился, что настоящая близость и взаимопонимание между ними невозможны. Отец всегда оставался для него только серьезным, почтенным человеком, который постоянно разбирает какие-то бумаги, ведет душеспасительные беседы или восседает торжественно за обеденным столом, человеком, который ко всему подходит обстоятельно, осторожно, без улыбки, тогда как ему, Стюарту, столь многое в жизни казалось забавным — взять хотя бы даклинских квакеров в их старомодной одежде, часами просиживавших в молитвенном доме, храня благоговейное молчание. Даже старый Джозеф, кучер, вызывал у Стюарта смех: он так потешно семенил по двору, шамкая беззубым ртом, а брови у него были такие густые и лохматые, что из-под них почти не видно было глаз. При ходьбе он смешно выворачивал ноги пятками внутрь, и Стюарт не раз забавлял Доротею, очень ловко передразнивая старика. Однажды отец застал его за этим занятием и сурово отчитал.

Привычка Стюарта употреблять жаргонные словечки тоже стоила ему строгого выговора. Как-то субботним вечером, сидя дома из-за дождя, он от скуки принялся подбрасывать и ловить трость, мячик и книги, подражая жонглеру, которого они с Бруджем видели в трентонском мюзик-холле. Доротея была у него за публику.

— Смотри на меня, Додо! Смотри во все гляделки! — пыхтя, приговаривал он. — Вот я тебе сейчас покажу класс. Закачаешься! — Тут он уронил все три предмета на пол. — Здорово, а? Шик-блеск!

Доротея, войдя во вкус забавы, уже хотела попробовать сама, но в это время в комнату вошел Солон.

— Что за выражения ты употребляешь, Стюарт? — спросил он, глядя на сына поверх очков. — Я был в соседней комнате и случайно слышал.

— Да это так, ходовые словечки, папа, — признался Стюарт. — Я тут Доротее фокусы показывал.

— А разве при этом необходимы подобные выражения? Где ты им научился?

— У нас все мальчики так говорят. — Стюарт закусил губу, чтобы сдержать непочтительную улыбку. — Но дома-то, пожалуй, правда не стоит, — добавил он нерешительно.

— Вот что, Стюарт, — сердито сказал Солон, — и дома, и в училище, и где бы ты ни был, потрудись говорить нормальным человеческим языком. Ты с каждым днем становишься все более дерзким, все менее похожим на воспитанного юношу. Это товарищи на тебя так влияют? В таком случае придется взять тебя из Франклин-холла и определить в другое учебное заведение.,

Он вышел из комнаты, оставив детей одних. Им обоим было не по себе после этой сцены. Доротея сочувственно улыбнулась Стюарту, потом сослалась на какое-то дело и ушла, а Стюарт вышел на веранду и принялся расхаживать из угла в угол. Ну и семейка, нечего сказать! Уж какой теперь может быть разговор о деньгах, когда отец так настроен!

Было от чего прийти в отчаяние: ведь, может быть, в ближайшую субботу Дженнингсу удастся заполучить отцовский автомобиль, и тогда — страшно даже подумать! — Стюарту не придется принять участие в этом долгожданном похождении!

ГЛАВА LII

Миссис Сигер Уоллин была в полном восторге от результатов кампании, которую она провела в интересах Доротеи. Блестящий успех, увенчавший ее усилия — помолвка племянницы с Сатро Кортом, — доказывал, что она была совершенно права в своем желании спасти молодых Барнсов от иссушающего пуританизма их домашней обстановки. Теперь она решила заняться Стюартом, и вот, вскоре после того воскресенья, которое оказалось для мальчика таким незадачливым, ее автомобиль остановился у ворот Франклин-холла.

Наружный вид заведения показался Роде вполне «в духе Барнсов»: простота и строгость во всем. Кругом царила торжественная тишина; только на лужайке, где совсем не по-сентябрьски пригревало солнце, несколько мальчиков играли в крикет.

Рода прошла в канцелярию и попросила вызвать Стюарта. Он тотчас же прибежал, раскрасневшийся, веселый, с крикетной битой под мышкой, и, стараясь пригладить торчавшие во все стороны вихры, стал извиняться за свой вид. На нем была рубашка с короткими рукавами, серые брюки и парусиновые туфли.

— Можешь не извиняться, — сказала Рода. — Мне только приятно видеть одного из Барнсов без барнсовской чопорности. Я бы тебя охотно расцеловала за это. Да только, пожалуй, ты уже слишком взрослый, даже для родственницы.

Она весело улыбнулась, забавляясь явным смущением мальчика, вызванным ее последними словами. В своем облегающем костюме, коричневом в клетку, и коричневой же фетровой шляпке, кокетливо сидящей на пышно взбитых светлых волосах, она казалась Стюарту удивительно молодой и привлекательной.

— Какие у тебя красивые руки, Стюарт, сильные, смуглые, — заметила Рода и тут же, перебив сама себя, перешла на заговорщический тон. — Впрочем, не для того я приехала во Франклин-холл, чтобы говорить о твоих руках. На днях я видела Доротею. Мы с ней делали кое-какие покупки для ее приданого, и она рассказала мне, что у тебя вышло с отцом. Он, видно, совсем тебя не понимает. — Рода остановилась, заметив легкую тень, промелькнувшую в глазах Стюарта. — Я ведь его хорошо знаю, твоего отца. Мы выросли вместе, можно было за это время изучить человека.

Стюарт усмехнулся.

— Да, старик у меня серьезный. — Дома он никогда бы не посмел назвать отца «стариком». — Но я знаю, что он желает мне добра.

Рода Уоллин любовалась его тонкой, стройной фигурой. «Красивый мальчик», — решила она.

— Вот что, Стюарт, — заговорила она с присущим ей экспансивным пылом. — Мне хочется, чтобы мы с тобой стали друзьями, для этого я сюда и приехала. Ведь мы же близкая родня. Я горячо люблю твоего отца и твою мать. Мало того, я отношусь к ним с величайшим уважением. Солон Барнс — достойнейший из людей, а Бенишия — самая нежная и преданная мать на свете. Но вместе с тем — пойми меня правильно, мальчик, — оба они чуть-чуть старомодны. А главное, чересчур уж набожны. Барнсы и Уоллины всегда были непримиримы в вопросах религии и долга. Они так строго придерживались квакерских правил, что в конце концов в них не осталось почти ничего человеческого. Мы с доктором составляем исключение. Я ничего не хочу сказать дурного о квакерах. Напротив, они мне очень симпатичны. Если б можно было жить по квакерским заветам и в то же время занимать то положение в обществе, которое я занимаю, я бы непременно так и жила. Но это невозможно, Стюарт. И не только для меня. Это вообще невозможно. Если отказаться от музыки, танцев, не читать книг, не ходить в театры и кино — как же тогда существовать на свете? Просто немыслимо.

Стюарт ничего не говорил, но по выражению его глаз было видно, что он вполне согласен с нею.

— Есть тысячи людей, таких же добрых и хороших, которые вовсе не считают все это греховным. И мне кажется, в глубине души твой отец и сам так не думает. Не может он так думать. Он просто не хочет отступать от традиции. Нас с доктором осуждают в семье за чрезмерную светскость, но я всегда находила, что вас, детей, несправедливо лишают причитающейся вам доли радостей, которыми так богата жизнь. Зачем отнимать у молодых молодость? Вот мы с доктором живем одни, без детей, дом у нас большой, а из-за нелепых старомодных предрассудков вы у нас уже сколько лет не бываете. Разве это не глупо?

— Но ведь Доротея часто ездила к вам и, кажется, неплохо проводила время, — улыбаясь, заметил Стюарт.

— Ах да, Доротея. Как это чудесно, что она выходит за Сатро Корта, правда? Но ведь ты знаешь, мне пришлось чуть ли не похитить ее из пансиона. Мне бы так хотелось всем вам помочь. Мне бы хотелось, чтобы наш дом в Нью-Брансуике стал для вас вторым родным домом. Не знаю, как Айсобел, она ведь очень долго воспитывалась по старинке, и ей у нас может не понравиться. Но вы с Доротеей должны приезжать как можно чаще. — Этту она бессознательно пропустила. — Будете веселиться, встречаться с людьми, это вас развлечет. Обязательно приезжай на следующей же неделе, с Доротеей или один, как выйдет; с родителями я сговорюсь и со здешней администрацией тоже.

— Ой, тетя Рода, это вы здорово придумали! Я ведь почти нигде не бываю и с большим удовольствием приеду к вам в гости. — Он вдруг замялся, потом, встретив ее вопросительный взгляд, вымолвил почти умоляюще: — Если бы вы согласились помочь мне в одном деле...

Она ласково положила ему руку на плечо, словно ободряя его.

Но он в замешательстве вертел в руках биту, не решаясь договорить. Потом взъерошил волосы и наконец, набравшись духу, выпалил:

— Мне в будущую субботу хотелось бы поехать в гости к Дженнингсам — вы их, верно, знаете. Но я боюсь спрашивать у старика разрешения. Может, если я скажу, что еду к вам...

— Ну, конечно, конечно! Я знакома с Дженнингсами и охотно помогу тебе. Знаешь что, Стюарт, — внезапно воодушевилась Рода, — едем сейчас со мной, мы вместе пообедаем где-нибудь в Филадельфии и все обсудим. Как ты думаешь, отпустят тебя?

— Если вы попросите, тетя Рода, наверно, отпустят. Я уверен, что вы все можете.

И она оправдала это лестное мнение — тут же добилась разрешения увезти Стюарта на прогулку с условием, что доставит его обратно не позднее девяти часов вечера.

Десять минут спустя Стюарт, наспех переодевшись в свой лучший костюм, уже сидел рядом с нею в автомобиле, плавно мчавшемся к городу. Всю дорогу он внимательно прислушивался к каждому ее замечанию, чувствуя, что в лице этой оригинальной тетушки неожиданно приобрел сильную союзницу, которая может чрезвычайно пригодиться ему не только

сейчас, но и в будущем. Отвечая на ее расспросы, он невольно коснулся своих денежных затруднений, и она выслушала его с сочувственным интересом.

Они возвратились во Франклин-холл за несколько минут до девяти. Прощаясь, Рода сунула племяннику в руку тоненькую пачку бумажек. У себя в комнате он торопливо пересчитал их — к его изумлению, в пачке оказалось шесть пятидолларовых кредиток. Тридцать долларов! Он возликовал: теперь нечего беспокоиться насчет субботней эскапады — все уладилось как нельзя лучше.

ГЛАВА LIII

И вот долгожданная суббота наступила. Своих домашних Стюарт известил, что проведет конец недели у Роды, благо она заранее дала ему на это согласие. Сразу же после уроков он, Виктор Брудж и молодой Дженнингс отправились в Честер, где жили родители Дженнингса, с тем чтобы оттуда, уже на автомобиле, ехать в Уилмингтон. На Уилмингтоне настоял Брудж, уверявший, что у него там есть знакомые хорошенькие девушки, которых можно будет пригласить покататься.

Стюарт был сам не свой от волнения. Даже денежная проблема благодаря щедрости тети Роды разрешилась для него благополучно. Наконец-то он может сказать: «Не беспокойтесь, я заплачу!» или: «Сегодня я угощаю!» Это сразу возвысило его в собственных глазах.

Автомобиль Дженнингса — мощная открытая машина туристского типа — стремглав мчался к Уилмингтону, заставляя лошадей и кур шарахаться в стороны, пугая собак, отчаянно лаявших вслед, и вздымая облака пыли. Тогда еще правила движения были не столь строги, как в наше время, и Дженнингс развивал такую скорость, что Стюарт то и дело вскрикивал от восторга. Он наслаждался вовсю. Как бы это уговорить отца купить автомобиль! Он представил себя за рулем; уж, наверно, он сумел бы справляться не хуже Лестера Дженнингса, а может быть, и лучше.

Они влетели в Уилмингтон и остановились у дома, который им указал Брудж. Он позвонил, был впущен и через несколько минут появился снова в сопровождении белокурой девицы в синем с белым вязаном джемпере и белой шапочке.

— Рекомендую, друзья, — одна из моих приятельниц, о которых я вам говорил. Мисс Этель де Фреммери собственной персоной, — торжественно объявил Брудж, подсаживая девушку на заднее сиденье, рядом со Стюартом.

— Здравствуйте, здравствуйте! — восклицала она, улыбаясь всем по очереди. — Это чья машина? Ваша? Вот счастливец!

По дороге к дому ее подруги, тоже знакомой Бруджа, девушка повернулась к Стюарту и с любопытством принялась рассматривать его своими блестящими голубыми глазами.

— Ах, и шевелюра же у вас! — сказала она.

Стюарт дернул свисавшую на лоб белокурую прядь.

— Вам нравятся мои золотые кудри? Хотите поделюсь?

— Нет, спасибо, мне со своими возни хватает!

Майра Темпл, подруга Этель, оказалась в противоположность ей миловидной брюнеткой. Она предложила прихватить еще третью приятельницу, Жоржетту Гилмен, тоже брюнетку и тоже хорошенькую, что было встречено общим одобрением. Все три девушки состояли членами школьного женского клуба, и в разговоре выяснилось, что как раз сегодня одна их подружка по клубу устраивает у себя вечеринку с танцами, и молодые люди могут получить туда приглашение, если хотят.

— Очень даже хотим! — вскричал Дженнингс, заметно оживившийся от соседства черненькой Гилмен, сидевшей с ним рядом.

— Да, вам-то хорошо, — сказал Стюарт, — а я что буду делать? Ведь я же не танцую.

— Нет, вы слыхали? — воскликнула Этель, которой явно нравился Стюарт. — Он не танцует!

— Ах, бедненький! — отозвалась с переднего сиденья Жоржетта. — Ну ничего, как-нибудь поможем.

— Давно пора выучиться, балда этакая, — весело вставил Брудж. — Девушки, вы бы поучили его.

— Ну что ж, — поспешила согласиться Этель и, теснее прижавшись к Стюарту, прибавила: — Тут ничего мудреного нет. Я вас в два счета научу.

Перспектива столь приятным способом постигнуть это соблазнительное искусство привела Стюарта в восторг. Они уже выехали за город, и под колесами машины шуршала опавшая листва. Рука Этель очутилась в его руке, и девушка не делала попыток ее высвободить.

Проезжая через какой-то маленький городок, они остановились выпить горячего шоколаду, а потом в мягких октябрьских сумерках покатили обратно, довольные и веселые. Девушек развезли по домам, чтобы они успели переодеться к вечеринке. Условились, что мальчики будут ждать их у Этель, взявшейся за это время научить Стюарта танцевать.

В какой-нибудь час, под руководством Этель, а позднее — Майры и Жоржетты, Стюарт с грехом пополам одолел па вальса и тустепа, во всяком случае настолько, что каждая из трех девушек соглашалась пройтись с ним разок по залу. Стюарт был в восторге от собственных успехов, однако, услышав, что пора отправляться, он немного струсил. Когда они подъехали к дому мисс Дороти Прендергаст — «очень славной девушки», по отзыву Этель, — вечеринка была в полном разгаре. Десятка два девиц и юнцов с увлечением отплясывали под звуки граммофона. Девушки почти все были похожи друг на друга — бойкие, кокетливые, подзадориваемые чувственным любопытством, как раз во вкусе Дженнингса и Стюарта; Бруджа уже тянуло к особам более искушенным. Многие были одеты в длинные вечерние платья. Стюарт жадно рассматривал их, всем своим существом подчиняясь тому властному ритму жизни, который только в молодости ощущаешь по-настоящему.

Брудж чувствовал себя здесь своим и живо перезнакомил гостей друг с другом. Все это были сынки и дочери зажиточных родителей, и родство Стюарта с уилмингтонской ветвью известной фамилии Уоллинов послужило ему хорошей рекомендацией. Девушки, плененные его красивой наружностью, расточали ему обворожительные улыбки; только одна, стройная, немного надменная блондинка, осталась, видимо, нечувствительной к его чарам. Позже, однако, он вдруг поймал на себе ее неотрывный пристальный взгляд; он удивился и, улучив удобную минуту, подошел к ней.

— Можно вас пригласить на следующий танец? — храбро спросил он. — Я, правда, танцую довольно плохо, но...

Олив Риттер была одной из тех избалованных вниманием девушек, которые говорят вслух все, что думают, и не терпят, когда их гладят против шерстки.

— Вы в самом деле хотите со мной танцевать? — переспросила она довольно язвительным тоном. — До сих пор вы танцевали со всеми, кроме меня. Я решила, что я вам не нравлюсь.

Стюарт покраснел от тщеславного удовольствия. Он едва поверил своим ушам. Такая соблазнительная девушка и так явно им интересуется.

— Я ведь вас предупреждал, что танцую плохо, — извинился он, сбившись с такта и едва не наступив ей на ногу. — Я только сегодня выучился.

— Кто же это вас учил? Этель де Фреммери?

— И она, и мисс Темпл, и мисс Гилмен.

— Не много ли учительниц на одного ученика! Вы что, давно с ними знакомы?

— Только сегодня познакомился.

— Но ведь вы приехали сюда с Этель де Фреммери?

— Мы приехали целой компанией, — сухо возразил Стюарт. — И я вовсе не состою при мисс де Фреммери. Я ее до сегодняшнего вечера и в глаза не видал.

Выходило, что иметь дело с девушками не так-то просто. Встает вопрос о верности, о постоянстве симпатий, а Стюарт вовсе не был склонен ни к тому, ни к другому. Олив Риттер, видимо, не любила Этель и хотела отбить у Стюарта интерес к ней.

— Вы часто бываете в Уилмингтоне? — спросила она.

— Теперь буду часто бывать.

— Ради Этель?

— Нет, ради кого-то другого, — не задумываясь, ответил он.

— Вы, я вижу, привыкли флиртовать направо и налево! — воскликнула она.

Стюарт состроил мину оскорбленной невинности.

— Я? Вот уж нет. И потом с кем тут флиртовать? Все эти девушки вам в подметки не годятся.

Олив Риттер презрительно рассмеялась.

— Честное слово, — подтвердил Стюарт.

— Уж не воображаете ли вы, что я вам поверю, мистер Барнс? — насмешливо сказала она, продолжая кружиться с ним в танце.

— Но вы позволите мне иногда навещать вас?

Она пытливо посмотрела на него, словно обдумывая его вопрос, потом сказала с язвительностью:

— Не лучше ли вам сосредоточить свое внимание на Этель де Фреммери?

— Ну что ж, — с напускной небрежностью сказал Стюарт. — Если вы на этом настаиваете...

Его самолюбие было задето.

— Ну, ладно, не дурите! — Она решила не упрямиться больше и заговорила другим тоном: — Вы мне напишите, я подумаю и отвечу вам.

— Ничего подобного! Отвечайте сейчас же! Хотите, чтобы я приехал навестить вас, или не хотите?

— Хочу, но... Я сама вам напишу когда. Какой ваш адрес?

— Франклин-холл, — сказал он, чувствуя себя хозяином положения и наслаждаясь этим новым для него чувством. — А ваш какой?

— Пейн-стрит, номер две тысячи двадцать, — ответила она почти покорно.

После танца он отвел ее на место и удалился, высоко держа голову. Вот как нужно обращаться с девушками! Не давать им никаких поблажек!

Все это время Этель ревниво следила за Стюартом.

— Вам, кажется, очень понравилась мисс Риттер? — ехидно начала она, когда он подошел к ней.

— Ничего девушка, — свысока уронил Стюарт. — А кто она такая, между прочим?

Он еще не освоился в новой для него роли светского волокиты и потому не знал, что когда говорить.

— По-моему, у ее отца кондитерская лавчонка, — сказала Этель, горя желанием принизить соперницу — на самом деле отец Олив Риттер был владельцем кондитерской фабрики. Пренебрежительный тон Этель не укрылся от Стюарта. Но он с детства был приучен считать, что все люди равны перед богом, и потому ее замечание, вместо того чтобы понизить шансы Олив Риттер, представило в невыгодном свете самое Этель де Фреммери.

Тем не менее Стюарт решил «приручить» Этель. Ему нравилось, что две девушки готовы передраться из-за него. Да они у него все по ниточке ходить будут. Дайте только срок и денег побольше.

ГЛАВА LIV

Дружба между тремя мальчиками все крепла, и Брудж с Дженнингсом уже привыкли смотреть на Стюарта, как на непременного участника всех их похождений. В Уилмингтоне он оказался настоящим героем дня; в нем было что-то, что очень нравилось девушкам. Ободренные успехом уилмингтонской затеи, друзья решили повторить опыт, но уже в другом месте и с другими партнершами. Впрочем, Стюарт слушал разговоры об этом без воодушевления. Для таких авантюр нужны были прежде всего деньги, а денег неоткуда было взять.

— Как ты думаешь, Лес, когда тебе удастся снова получить машину? — спросил как-то Брудж, недели через три после поездки в Уилмингтон.

— Когда? — Дженнингс на минуту задумался. — В эту субботу едва ли, а вот в следующую, я думаю, можно будет.

— А что, если нам прихватить тех двух девиц из Филадельфии, с которыми мы познакомились прошлым летом? Помнишь, Лес?

— Еще бы не помнить! Стюарту, наверно, понравится Психея Тэнзер, как, по-твоему, Брудж?

— Пожалуй, ему больше понравится Рэй Паттерсон, — сказал Брудж. — Помнишь, как она непременно хотела ночевать в парке?

При одном воспоминании Брудж прыснул со смеху. Стюарт навострил уши. Разговор становился интересным.

— Да, но ведь их только две, — сказал Дженнингс, заботясь о Стюарте.

— Неужели у них не найдется какой-нибудь подруги? Надо будет сказать Психее, она все устроит, — возразил Брудж.

Тут Стюарт решил, что нужно высказаться начистоту.

— Вот что, ребята, — сказал он. — У меня нет денег. Мой старик проверяет каждый цент, который я трачу, а просить опять у тетки мне неохота.

— Об этом можешь не беспокоиться; мы тебя выручим, — сказал Дженнингс с видом человека, у которого широкая натура.

— Так, значит решено: в будущую субботу едем, и ты, Стюарт, с нами, — тоном, не допускающим возражений, заявил Брудж. — Вот увидишь, с какими мы тебя познакомим девицами.

«Девиц», о которых шла речь, Психею Тэнзер и Рэй Паттерсон, Брудж и Дженнингс встретили как-то минувшим летом в одном из увеселительных парков Филадельфии. Психея была высокая тоненькая шатенка с мальчишескими ухватками, миловидная, привлекательная, но на редкость легкомысленная. У нее начисто отсутствовало чувство реальности и меры вещей. Отец ее был плотником; мать, опустившаяся, неряшливая женщина, очень мало интересовалась тем, что делают ее дети. Почти все свое свободное время она занималась чтением душещипательных романов; вероятно, и дочь получила свое мудреное имя в честь одной из книжных героинь — другое объяснение трудно было подобрать. Семья ютилась в плохонькой квартирке в Кенсингтонском районе Филадельфии и влачила довольно жалкое существование, усугублявшееся еще тем, что «сам» пил запоем. Обе дочери: Психея, которой едва исполнилось семнадцать, и ее тринадцатилетняя сестра в качестве основного развлечения проводили целые вечера на улице, наблюдая уличные нравы и переругиваясь с теми из соседских мальчишек, у кого хватало смелости задирать их. Летом они ходили гулять в увеселительные парки, которых в городе было несколько. О том, чтобы работать, Психея и слышать не хотела. «А что там заработаешь — грош!» — говорила она, и, поскольку она ничего не умела, это была правда.

Рэй Паттерсон выросла примерно в такой же обстановке, но, будучи от природы более практического склада, предпочла поступить на службу. Она работала продавщицей в универсальном магазине. Смуглая, стройная, с кокетливым и в то же время мечтательным выражением лица, она не отличалась особым умом. Отец ее промышлял тем, что малевал вывески, до по большей части сидел без работы.

Дженнингс и Брудж натолкнулись на них у каруселей в Фермаунт-парке. Они стояли и грызли поджаренные кукурузные зерна. Мальчики давно уже бродили по парку, томимые жаждой приключений. До сих пор у них не было таких знакомых, с которыми можно было позволить себе мало-мальски фамильярное обращение; но считалось, что девушки из бедных семей проще смотрят на вещи, и потому, увидя Психею и Рэй, приятели решили попытать счастья.

— Не хотите ли прокатиться на каруселях, девушки? — предложил Брудж.

— Конечно, хотим! — откликнулась Психея, более разбитная и решительная, чем ее подруга.

Все четверо уселись и сделали несколько кругов. Потом катались на чертовом колесе и на русских горах. Видя, что их новые знакомые не стесняются в деньгах, девушки становились все благосклоннее. Психея сразу же выбрала Бруджа, а Рэй Паттерсон занялась Дженнингсом. Чтобы достойно завершить веселый вечер, отправились на танцевальную площадку и танцевали до самого закрытия. Уже после двенадцати, когда они шли к трамвайной остановке, Рэй вдруг предложила остаться в парке до утра. Это было именно то, о чем оба мальчика все время мечтали; но теперь, когда дошло до дела, у них не хватило смелости осуществить свои мечты.

Однако они еще не раз в течение лета встречались с обеими подругами и проводили вечера, похожие на тот, первый вечер. Ни Рэй, ни Психея не были девушками — обеих давно уже испортили соседские юнцы; но все же отношения дальше не пошли, страхи и сомнения Бруджа и Дженнингса этому помешали.

Сейчас, однако, вспомнив прошлогоднее знакомство, мальчики решили, что лучших спутниц для веселой субботней прогулки и желать нечего. Брудж, не откладывая, разыскал Психею Тэнзер, и когда он попросил ее прихватить еще девушку для ровного счета, она тут же предложила Аду Морер, дочку рабочего с ковровой фабрики. Ада, по ее словам, чудно подходила к их компании. Стюарт не видел этих девушек вплоть до той субботы, когда Дженнингсу представился случай взять отцовский автомобиль и все шестеро сошлись в условленный час у вокзала Брод-стрит, а увидев, сразу понял, что родители ни за что на свете не позволили бы ему водить с ними знакомство. Впрочем, от этого они не стали для него менее привлекательными.

Ада Морер была аппетитная толстушка, веселая и приветливая, с целой шапкой вьющихся черных волос. Стюарт предпочел бы Психею, которая показалась ему самой хорошенькой; но Брудж первый подхватил ее под руку и уселся рядом с ней на заднем сиденье машины.

Они на пароме переправились через реку и понеслись по направлению к Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Как только город остался позади, Дженнингс, увлекшись, дал полный газ.

— Ты что, с ума сошел? — закричал Стюарт. — Хочешь, чтоб у меня ветром голову снесло!

Ада, сидевшая рядом с ним, достала из сумочки зеркальце и несколько головных шпилек.

— Ничего, — отозвался Дженнингс через плечо своей соседки, Рэй Паттерсон. — Если кто из вас очень уж замерзнет, подайте голос, мы тогда остановимся где-нибудь погреться.

День был прохладный, и на горизонте собирались серые тучи, предвещавшие снег.

— Ну вот еще, — сказала Психея, тесней прижимаясь к Бруджу. — Мне так никакой холод не страшен. Я бы, кажется, век не вылезала из этой машины!

И она засмеялась от удовольствия.

Стюарт, с интересом смотревший, как Ада подбирает и закалывает шпильками растрепавшиеся на ветру волосы, придвинулся к ней поближе.

— Не найдется ли у вас и для меня штучек двух-трех? — спросил он.

Она посмотрела на него взглядом, который говорил, что ей нравятся его глаза, волосы, голос — все в нем.

— Может быть, и найдется. А больше вам ничего не нужно? Пудры, например?

— Нет, но если у вас есть рожок для обуви, английская булавка или гребень, — сказал он, — давайте их сюда, я тоже буду приводить себя в порядок.

Все дружно захохотали, как будто он сказал нечто в высшей степени остроумное. Машина неслась теперь по открытой, плоской равнине, кое-где поросшей по-осеннему голым дубняком и зелеными сосенками, среди которых стояли выбеленные или просто бревенчатые дома. Почва кругом была песчаная. Стюарт и Брудж предложили не делать остановки для обеда, чтобы засветло добраться до Атлантик-Сити. Стюарту не терпелось поскорей увидеть океан, которого он никогда не видал.

— Рэй меня всегда ругает за то, что я долго собираюсь, — ни с того ни с сего пожаловалась вдруг Ада Стюарту. — Она говорит, что я вечно всюду опаздываю, а ведь вот не опоздала же я сегодня, правда?

— Ну, это в виде исключения, — откликнулась Рэй, сидевшая впереди. — Помнишь, в позапрошлое воскресенье?

— А что вы такое делали в позапрошлое воскресенье, девушки? — полюбопытствовал Брудж.

— Не твое дело, что мы делали, сынок, — покровительственным тоном сказала Психея: — Маленьким мальчикам о таких вещах знать не полагается.

— А я знаю! — понимающе хихикнул Брудж. — Ты ведь тоже знаешь, Дженнингс?

— Могу себе представить, — подтвердил Дженнингс.

— А ну-ка, скажите, чтó, если вы такие догадливые!

Ада явно наслаждалась оборотом, который принял разговор.

— Да уж знаем, не беспокойтесь, — посмеивался Брудж.

Стюарт посмотрел на Аду; ее, видимо, ничуть не смущали эти намеки на что-то особенное и, может быть, даже недозволенное в их поведении. А Психея в ответ на последнее замечание Бруджа даже рассмеялась многозначительным, смущающим смехом.

Как и в прошлый раз, они мчались с головокружительной быстротой, распугивая встречных кур, приводя в бесплодную ярость собак, возмущая фермеров и прохожих к полному своему удовольствию.

— Как хорошо! — Ада раскинула руки в стороны и шумно вдыхала воздух. Психея льнула к плечу Бруджа.

Десятка за полтора миль до Атлантик-Сити они въехали в густую сосновую рощу. Здесь не чувствовалось ветра, и деревья, расступаясь в обе стороны от дороги, устлали землю плотным покровом из хвойных игл. Дальше дорога шла берегом речки, поросшим осокой и камышом. И, наконец, проехав довольно ухабистый участок пути, они вырвались на опушку, и впереди засинела узкая, длинная полоса залива. Стюарт был вне себя от восторга.

— Это океан? — спрашивал он, озираясь по сторонам.

К тому времени среди них уже создалась та интимная атмосфера, которая естественно сближает молодых людей этих лет и склонностей. Брудж и Дженнингс по своему прошлогоднему опыту были вполне уверены, что им легко будет добиться от Рэй и Психеи согласия на большее. Именно это и было сейчас у обоих на уме. Как только они очутились снова в зарослях сосняка, тянувшихся по берегу этого уединенного залива, Дженнингс по уговору с Рэй Паттерсон остановил автомобиль, заявив, что спустил баллон. Брудж сразу понял намек и, выйдя из машины, вместе с Психеей направился к берегу.

Стюарт, чувствуя благорасположение Ады, тоже мало-помалу осмелел. Еще в машине он обнял ее за талию, потом рука его, словно бы невзначай, скользнула выше, к ее груди, и не встретила сопротивления. Сейчас они оба тоже вышли из машины, и Ада побежала вперед. Вдруг она остановилась, поджидая его.

— Дайте мне ножик, — попросила она. — Я хочу вырезать на дереве свои инициалы.

— А что мне за это будет? — спросил он, не вынимая руки из кармана.

— А чего бы вы хотели? — она подняла на него притворно наивный взгляд.

— Я вам сейчас покажу, — сказал он. — Закройте глаза и не открывайте, пока я не сосчитаю до трех.

Она зажмурилась, но как только его губы коснулись ее губ, она открыла глаза и оттолкнула его. В ответ на это он схватил ее в объятия.

— Осторожнее, — сказала она вполголоса. — Нас могут увидеть. Не надо...

— Почему не надо? Разве тебе неприятно?

— Не балуйтесь, Стюарт, пустите меня.

Она оторвала его руки, но неторопливо и без злости.

— Не могу. Ты слишком мила.

Он снова обнял ее, но на этот раз сзади, и через плечо заглянул ей в лицо.

— Говорят вам, осторожнее! — сказала она, но вырываться не стала.

В Стюарте все ходило ходуном. Хвастливые рассказы Бруджа и Дженнингса об одержанных победах распалили его воображение. Он был точно неоперившийся птенец, который видит, как летают другие, и ему тоже не терпится расправить крылья и полететь. Он мучительно хотел обладать этой девушкой, не из любви к ней — никакой любви не было, — но потому, что стремился утолить сжигавшую его чувственную жажду. Красота, извечная загадка женского начала на земле, ключ к которой скрыт в магии линий, форм, красок, отравила его своим ядом. У него закружилась голова: то, что другого, более робкого юношу смутило бы и отпугнуло, ему лишь придало действенную, магнетическую силу. И такая легкомысленная девушка, как Ада, неминуемо должна была подчиниться этой силе.

Но сейчас Ада, казалось, думала только о том, как бы отвлечь его мысли в другую сторону.

— Вы обратили внимание, какие красивые глаза у Рэй? — спросила она.

— У тебя красивее.

— Ой, Стюарт, перестаньте! Ну, право же! Лучше скажите, ведь, наверное, у вас там по соседству есть немало хорошеньких девушек? Почему вы их не приглашаете кататься?

Она улыбнулась манящей улыбкой.

— Потому что все они хуже тебя.

Она коротко хихикнула.

— Куда это запропастились остальные? Пойдемте посмотрим; они, наверно, гуляют за тем забором.

— А на что они нам нужны? — Он нагнал ее и снова обнял за талию. — Гуляют и пусть гуляют.

— Да, а вдруг они нас не дождутся и уедут?

— Не уедут! Им, верно, сейчас вовсе не до нас.

Эта догадка очень рассмешила Аду.

— А если мы им понадобимся, они нас кликнут, — заключил Стюарт.

Они подошли к деревянному забору, разделявшему два участка земли на самом берегу, и заглянули на ту сторону. Силуэты Бруджа и Психеи, удаляясь, мелькали вдалеке. Забор был невысокий, и Стюарт без труда перемахнул через него.

— Иди сюда, — сказал он Аде. — Я тебе помогу перелезть.

— А мы не заблудимся, Стюарт? Тише! Никого не слышно?

— Ни души! — он приложил руку к уху. — Нат Пинкертон, знаменитый сыщик! — Потом он повернулся к ней и схватил ее за обе руки. — Ну, давай. Ставь ногу на перекладину, а дальше уж мое дело.

Она повиновалась, и на мгновение перед ним мелькнул край чего-то розового, шелкового, с кружевной оторочкой.

— Ну, раз, два, три!

Он крепко обхватил ее обеими руками и приподнял. Его щека пришлась у самой ее щеки. Он усадил ее на верхнюю перекладину и не отпускал. Теперь его руки лежали у нее на бедрах.

— Ну? — сказала она вопросительно.

— Ну? — ответил он, глядя ей прямо в глаза, и, подняв одну руку, погладил ее по шее, потом по щеке.

— Ну? — повторила она, и на этот раз в тоне ее прозвучало ожидание.

Он притянул к себе ее лицо и прижался губами к ее губам. Она не отстранялась, и на мгновение они замерли. Потом она потихоньку высвободилась.

— Осторожнее, — прошептала она. — Отпусти меня. Кто-нибудь может увидеть.

Он снял ее с забора, но лишь для того, чтобы уложить на кучу опавших листьев, темневшую рядом. Первые редкие снежинки, медленно кружась в воздухе, падали на землю.

— Нет, нет, Стюарт, не надо... нехорошо...

— Ты прелесть, — прошептал он.

Так совершилось его посвящение в тайну жизни.

ГЛАВА LV

Если раньше интересы Стюарта вертелись вокруг любовных отношений, то теперь, после близости с Адой Морер, он больше ни о чем думать не мог. Но бесхитростного кокетства Ады было недостаточно, чтобы заполонить его целиком, и его распаленному воображению уже мерещились новые и новые победы. Наконец-то мир раскрывается перед ним во всем своем блеске. Возможности приятных встреч представлялись на каждом шагу — в поездах, в ресторанах, на станциях железной дороги и просто на улицах; всюду было полно соблазнительных девушек, ничего не имевших против того, чтобы молодой человек выказал им надлежащее внимание. И Стюарт быстро приучался действовать на собственный страх и риск, без помощи и поддержки Бруджа или Дженнингса.

С той памятной поездки в Атлантик-Сити Рэй Паттерсон сделалась «девушкой Дженнингса»; теперь он почти каждую субботу ездил с ней кататься на машине. Брудж, не знавший тех денежных затруднений, которые мучили Стюарта, то и дело похвалялся новыми знакомствами. Но при этом ему по-прежнему не давали покоя золотистые локоны и длинные ноги Психеи Тэнзер, и он продолжал встречаться с ней, хотя по каким-то непонятным соображениям она отклоняла все его домогательства.

И Брудж и Дженнингс пользовались дома полной свободой и могли проводить субботу и воскресенье как им вздумается. Как-то в одну из суббот Стюарту снова удалось примкнуть к их компании. В обществе все тех же трех девушек они неслись на машине Дженнингса среди полей, над которыми сгущался вечерний сумрак, пронизанный тревожным ощущением надвигающейся метели. В Филадельфию вернулись уже поздно вечером, с шиком пообедали в модном ресторанчике в деловой части города, затем развезли девушек но домам и расстались в самом лучшем настроении; юноши были довольны своими

успехами у девиц, а девицы полны признательности за это кратковременное приобщение к миру, который так отличался от того мира, в котором они жили.

На следующий день, в воскресенье, Стюарт и Ада условились снова встретиться в городе. Но Стюарт истратил накануне все свои деньги и потому не мог предложить ей ничего, кроме скромного чая в кондитерской, после чего они сели на трамвай и поехали в парк. Там, в укромном дальнем уголке, она снова отдалась ему, и восторг, который он при этом испытал, заставил его потом ломать голову над тем, как устроить, чтобы им встречаться чаще и в более подходящей обстановке. Ведь на автомобиль Дженнингса не всегда можно было рассчитывать, а кроме того, ему хотелось быть с Адой вдвоем. Но где достать деньги, которые для этого необходимы? И так уже он порядочно задолжал Дженнингсу, а просить у отца — значило подвергать себя бесконечным расспросам и нравоучениям, которых Стюарт боялся больше всего на свете. Попросить у матери? Но она сейчас же скажет отцу, а кроме того, такая необычная просьба встревожит ее.

Оставалось только одно: обратиться к тетушке Роде. Но он уже не раз перехватывал у нее по нескольку долларов, и в общем это, вероятно, составляло около сотни. А своего обещания приехать как-нибудь на конец недели в Брансуик он так до сих пор и не сдержал. Получив разрешение на поездку к Роде, он предпочитал под этим предлогом улизнуть из школы для встречи с Адой.

Не придумав никакого выхода, Стюарт решил в ближайшую субботу съездить домой. Может быть, все-таки удастся выпросить или занять такую сумму, которая позволит ему не отказываться от удовольствий. На билет до Даклы пришлось истратить последние гроши, но он все-таки поехал. Дома Стюарт застал Орвила, приехавшего навестить родителей, что он исправно выполнял через определенные промежутки времени. У Стюарта мелькнула было мысль попросить у брата взаймы, но, представив себе, как тот станет выматывать у него душу подробным допросом, он отказался от этой мысли.

Вечером, ломая голову над своей задачей, Стюарт рассеянно бродил по дому. В гостиной ему на глаза попался кошелек матери, лежавший на ее рабочем столике, и он не мог устоять против искушения раскрыть его и заглянуть внутрь. Слово «воровство» не приходило ему в голову; его родители были богатые люди, и он считал, что они не по праву урезывают его в карманных деньгах. При виде раскрытого кошелька мысль о лишениях, на которые он обречен, сделалась невыносимой. Он подумал, что мать даже не хватится, если он возьмет несколько долларов: она равнодушна к деньгам и никогда их не пересчитывает. Он заколебался, но только на одно мгновение, потом решительно вытянул из кошелька две бумажки, в пять и в десять долларов, и бросился бежать. Теперь у него было чем заплатить Дженнингсу долг и еще оставалось пять долларов на расходы до следующей субботы.

К сожалению, это не разрешало проблемы. Чтобы снова встретиться с Адой Морер, нужны были деньги на дорогу, на угощение, и пяти долларов хватить не могло. Наутро, проходя мимо комнаты старшего брата, Стюарт заметил его брюки, висевшие на спинке стула. В комнате никого не было, но из соседней ванной доносился плеск воды. Всего несколько секунд потребовалось Стюарту, чтобы войти в комнату, обшарить карманы брюк, достать бумажник и вынуть из него десятидолларовый кредитный билет. Потом, боясь, как бы у него случайно не обнаружили этих денег, он засунул их на полку стенного шкафа, под груду старых газет, рассчитывая достать их вечером, когда придет время возвращаться во Франклин-холл.

Но даже эти предосторожности ни разу не заставили его подумать, что он совершает преступление. Напротив, он даже повеселел от того, что все так удачно складывалось. Правда, к этому примешивалось некоторое чувство досады на отца, который не умеет понять его желаний и потребностей и тем вынуждает его прибегать к таким крайним мерам. Ну что стоило бы положить ему приличные карманные. У Айсобел, Доротеи и Этты есть свои деньги, завещанные им тетушкой Эстер. У Орвила выгодная, необременительная служба и богатая жена. Все они устроены лучше его, а между тем вкус к жизненным удовольствиям у него гораздо сильнее. В одной только Этте есть что-то общее с ним. Надо будет как-нибудь съездить к ней в Нью-Йорк. Она, пожалуй, сумеет понять его, может быть даже лучше тети Роды.

Спустя две недели, в следующий свой приезд домой, он снова стащил деньги у матери из кошелька. Ничего другого он не мог придумать. В утешение себе он рассуждал так: ведь это его родная мать, и потому взять у нее совсем не то, что взять у кого-нибудь другого. Кроме того, в письмах к отцу он то и дело просил прислать денег «на непредвиденные расходы». Но тут нужно было соблюдать большую осторожность, потому что каждую просьбу Солон изучал весьма тщательно. И страх, что отец потребует от него отчета, до того давил на его сознание, что ему легче было украсть, чем лишний раз обратиться к отцу.

Как-то раз, войдя зачем-то в комнату Дженнингса, он заметил в выдвинутом ящике стола кучку долларовых бумажек и немного мелочи. И сразу же у него мелькнула мысль, что такой беспечный мот, как Дженнингс, едва ли заметит исчезновение нескольких долларов. В тот же день, улучив минуту, когда Дженнингса не было, он вошел к нему в комнату и взял из ящика три доллара.

На следующее утро Дженнингс сказал:

— Знаешь, Стюарт, у нас тут завелся воришка. У тебя ни разу не пропадали деньги?

— Нет, — ответил Стюарт, сделав удивленное лицо.

— Ну пусть только попадется мне, я с ним разделаюсь, кто бы он ни был! А пока что надо будет пожаловаться декану.

Жалоба была принесена, но разумеется, ни к чему не привела — если не считать того, что Стюарт больше не отваживался воровать в школе.

Но его жажда иной, более привольной жизни все обострялась, а между тем Солон, удрученный мыслями об Этте и встревоженный отставанием Стюарта в ученье и его постоянными просьбами о деньгах, все суровее и строже относился к членам своей семьи.

ГЛАВА LVI

Между тем возникли новые и весьма щекотливые обстоятельства, чрезвычайно осложнившие положение Солона в Торгово-строительном банке.

По тогдашним законам, всякий банк имел право выдавать ссуды на сумму, не превышающую семидесяти пяти процентов имевшихся в его распоряжении средств, считая как основной капитал, так и деньги вкладчиков. Причем одному юридическому лицу могло быть предоставлено в виде ссуды не более десяти процентов дозволенной суммы. Однако банки ухитрялись обходить закон: создавались фиктивные компании, которые получали ссуду в установленном размере и затем передавали деньги предприятиям или отдельным лицам, уже исчерпавшим свой лимит. Это, разумеется, было нечестно, и банковские дельцы старого закала смотрели на такие вещи неодобрительно. Но тем не менее это практиковалось, хотя были случаи, когда мошенничество оказывалось раскрытым и виновные даже попадали за тюремную решетку.

Многие банкиры считали себя вправе руководствоваться при определении размера ссуды собственными соображениями, особенно если дело касалось хорошо знакомых им людей или же компаний с установившейся финансовой репутацией. Солидному ссудополучателю достаточно было падать заявление за своей подписью. Любой из старших служащих банка мог оформить ссуду, то есть дать распоряжение о том, чтобы тому или иному постоянному клиенту была выписана требуемая сумма, а на очередном заседании правления это распоряжение утверждалось. Так, иногда правление Торгово-строительного банка за каких-нибудь три четверти часа успевало утвердить до сотни ссуд, выданных по распоряжению Сэйблуорса, Эверарда или Барнса. Там, где речь шла о небольших суммах, достаточно бывало одного слова или кивка любого из этих лиц, и дело считалось улаженным. В случае крупных ссуд, предоставляемых новым клиентам или же таким, чье финансовое положение было недостаточно ясно, вопрос подвергался всестороннему обсуждению.

С появлением новых директоров, Уилкерсона, Бэйкера и Сэя, ничего не изменилось, разве что ходатайства о крупных ссудах стали поступать чаще. Из разговоров с этими тремя людьми Солон узнал о многих рискованных начинаниях, суливших большие прибыли тем, кто решится вложить в них свои средства. Дело касалось по большей части снабжения городов газом и электричеством, прокладки железнодорожных и трамвайных линий или расширения промышленных предприятий. Но Солон предпочитал отдавать деньги под залог недвижимости или земельных участков, что было надежнее, хотя и не столь выгодно. Он с тревогой прислушивался к звучавшему все чаще со страниц газет и журналов протесту против монополий, захватывавших в свои руки производство и распределение некоторых товаров. Цены на многие предметы первой необходимости начали расти, и кучка удачливых дельцов наживала огромные состояния.

А между тем уже шли разговоры о том, что труд рабочих оплачивается не по справедливости. Один за другим возникали профессиональные союзы, выдвигались настойчивые требования восьмичасового рабочего дня. На большой ковроткацкой фабрике Уилкерсона вспыхнула забастовка, и во всем городе только об этом и говорили. Уилкерсона обвиняли в том, что из всех фабрикантов ковров он самый прижимистый и что он или его помощники беспрестанно снижают сдельные расценки, так что заработка его рабочих не хватает даже на то, чтобы кое-как прокормиться. Забастовщики вели борьбу, выставляли пикеты у фабричных ворот, не пропуская набранных Уилкерсоном штрейкбрехеров. И в конце концов Уилкерсон обратился к судебным властям, требуя постановления, запрещающего забастовщикам мешать работе его фабрики.

В свете всех этих событий Солон впервые задумался о том, что за человек в сущности Уилкерсон. Глядя на темные громады бездействующих фабричных корпусов, он с болью душевной размышлял о рабочих, оставшихся без куска хлеба в холодные, суровые зимние месяцы. Больше всего Солона раздражала нахальная уверенность Уилкерсона в том, что все богатые и влиятельные люди округи непременно должны быть на его стороне. Он, как видно, не сомневался, что и Солон смотрит на дело его, Уилкерсона, глазами. Как-то, выходя вместе с Солоном после заседания правления, во время которого он внимательно изучал весьма умно и хлестко написанный газетный отчет о событиях на его фабрике (Солон сидел рядом и видел это), он сказал:

— Читали, что написано сегодня в газетах? И ведь все враки! Но я скоро положу этому конец. На что тогда и деньги, если с их помощью нельзя оградить себя от неприятностей? Верно, а?

Солон со своей обычной осмотрительностью ответил:

— По-видимому, рабочий вопрос не так легко разрешить. И с каждым годом это становится труднее.

— Вы совершенно правы, — поспешил согласиться Уилкерсон, несколько сбитый с толку таким уклончивым ответом. — И мы, деловые люди, должны бы отнестись к этому вопросу с бо́льшим вниманием, чем относились до сих пор, если хотим, чтобы в Америке все было спокойно. Мы должны сплотиться и занять твердую позицию, не то через несколько лет ни один американский предприниматель не будет чувствовать себя хозяином своего предприятия.

Солон, нужно сказать, никогда не был особенно рьяным поборником прав рядового человека. Многолетнее общение с заправилами делового мира приучило его к мысли, что инициатива и уменье руководить — это качества, которые не каждому даны. Но, воспитанный в вере, последователи которой больше чем кто бы то ни было, по его убеждению, стремились создать и поддерживать гармонию и равенство в любых человеческих делах, он естественно считал, что должен быть иной путь к разрешению вопросов труда и существования, нежели стачки, штрейкбрехерство, жестокость и вражда. С другой стороны, ему было совершенно ясно, что Уилкерсон желает урвать для себя больше, чем следует. Если б не опасение допустить тактический промах, Солон охотно привел бы ему сейчас одно место из квакерской «Книги поучений», как нельзя более, на его взгляд, подходящее к случаю: «Во всех своих действиях и отношениях с людьми надлежит соблюдать полнейшую справедливость и заботиться о том, чтобы корыстные соображения не побуждали одних членов нашего Общества обманывать других».

Были еще и другие обстоятельства, касавшиеся Уилкерсона и двух других новых директоров, Бэйкера и Сэя, которые внушали Солону тревожные мысли. Все трое привыкли получать в Торгово-строительном банке крупные ссуды и, сделавшись директорами, продолжали так же широко пользоваться банковским кредитом. Ничего противозаконного в этом не было — директора банка имели такое же право на получение ссуд, как любые другие лица; но в Торгово-строительном это до сих пор не было принято. А между тем Солон замечал, что они теперь прибегают к помощи банка даже чаще, чем прежде, получая весьма крупные суммы под обеспечение акций и облигаций связанных с ними компаний, — обеспечение, которое он, Солон, не считал особенно солидным.

Иногда ему казалось странным, что Сэйблуорс и Эверард неизменно одобряют любое их предложение, любую финансовую затею. Раз или два Солон попытался обратить внимание Эверарда на то, что акции и закладные, предлагаемые в качестве обеспечения, оценены чересчур высоко, но Эверард попросту отмахнулся от него.

— Да нет, вы сшибаетесь, — сказал он. — И вообще в их кредитоспособности можно не сомневаться.

И Солон до поры до времени перестал заводить об этом речь, но сомнения его не улеглись, хотя эксперт банка счел, по-видимому, представленное обеспечение удовлетворительным; во всяком случае он не высказал никаких возражений. Правда, это был человек в банке новый, его предшественник, бессменно занимавший этот пост при Скидморе, недавно ушел в отставку.

Но когда компании, возглавляемые Уилкерсоном, Бэйкером и Сэем, стали фигурировать в числе клиентов банка, сначала как вкладчики, а там и как ссудополучатели — независимо от тех сумм, которые были взяты их руководителями лично, — Солон встревожился не на шутку. Выходило, что значительная часть банковских средств сосредоточивается в руках кучки дельцов, которые к тому же являются директорами банка. Как-то вечером, сидя у себя в кабинете, он бегло подсчитал все суммы, записанные в дебет этим трем людям и тем концернам, представителями или руководителями которых они являлись; итог получился свыше миллиона долларов — цифра чересчур внушительная при любом обеспечении.

Тогда он решился снова заговорить с Эверардом, но тот лишь посмотрел на него довольно холодно и сказал:

— Не знаю, право. Ведь обеспечение-то у них достаточное?

— Вопрос не в этом, — сказал Солон сдержанно, но в то же время с твердостью человека, который знает, что он выполняет свой долг. — Меня смущает сумма. Не слишком ли рискованно для банка отдавать столько денег практически в одни руки?

— Ах, боже мой, у всех, о ком идет речь, достаточно твердое финансовое положение, — возразил Эверард, довольно бесцеремонно давая понять, что он не расположен беседовать на эту тему. — Обеспечение представлено, значит, и беспокоиться не о чем. Люди они состоятельные, все имеют у нас счета. Нельзя же им отказать в кредите без всяких к тому оснований. Я лично не рискнул бы нанести им такую обиду. Они помогли расширить круг деятельности банка, и это расширение, несомненно, пошло нам на пользу. Чего же вы еще хотите?

Не прошло и месяца после этого разговора, как Солону стало известно, что и у Эверарда и у Сэйблуорса имеется материальная заинтересованность в нескольких компаниях, возглавляемых Бэйкером. Узнал он об этом чисто случайно, через одного из своих помощников, Элфреда Гэджа, молодого квакера, во всем разделявшего взгляды и склонности Солона и очень ему

преданного. Гэдж был послан навести какие-то справки у бухгалтера Газово-электрической компании Брайерли, объединения по видимости вполне самостоятельного и в последнее время пользовавшегося особым покровительством Эверарда и Сэйблуорса. Вернувшись, Гэдж спросил Солона, известно ли ему, что мистер Эверард является акционером компании Брайерли.

— Как ты узнал об этом? — сдержанно спросил Солон.

— Я беседовал с мистером Недроком, служащим Брайерли, — сказал Гэдж, — он говорит, что Эверард у них один из самых крупных акционеров.

Это известие чрезвычайно встревожило Солона, так как обеспечение, под которое названная компания получала ссуды в Торгово-строительном, давно уже казалось Солону весьма скудным. А между тем только недавно ей была предоставлена отсрочка по ряду платежей. Возникал вопрос — может быть, Эверард и Сэйблуорс состояли акционерами и других компаний, интересы которых находят в них горячих защитников, иными словами, оба попросту устраивают за счет банка свои дела. Необходимо было разобраться в этом, потому что при размерах выданных ссуд банк мог оказаться под угрозой краха.

Солон пошел к одному своему знакомому, управляющему местного «Бюро информации о кредитоспособности», и под предлогом наведения каких-то справок без труда установил, что Эверарду принадлежит четвертая часть акционерного капитала компании Брайерли, а Сэйблуорсу — не менее восьмой части; душой же всего предприятия является не кто иной, как Бэйкер. Таким образом, все трое получали крупные выгоды от предоставляемых компании ссуд.

Выяснив это, Солон заинтересовался другим крупным ссудополучателем — Электрической компанией Пьедмонт. Казначей ее был большим приятелем Сэйблуорса. И здесь, точно так же как в первом случае, и Сэйблуорс и Эверард оказались акционерами, а Бэйкер, как выяснилось, контролировал все предприятие. Солон обратился к третьей, четвертой, пятой компании, каждая из которых считалась самостоятельным предприятием, и везде раскрывалась одна и та же картина: значительный пакет акций находился в руках Сэйблуорса и Эверарда. Таким образом, все три новых директора наживались с помощью Сэйблуорса и Эверарда, а те, в свою очередь, наживались с помощью новых директоров.

Солон был совершенно ошеломлен этим открытием. Его совесть не могла примириться с тем, что директора и администраторы крупного, добропорядочного банка так бесцеремонно используют свое положение. Он думал о многочисленных случаях, когда мелким предпринимателям отказывали в ссудах даже под вполне надежное обеспечение и эти самые директора и администраторы первыми спешили отыскать в этом обеспечении наиболее уязвимые места. Но он так привык уважать силу и финансовое могущество тех, кто стоял выше его, что не решался выступить против них. Ведь то, что они делают, законом не запрещено, так по какому же праву он будет возмущаться и протестовать?

Но, с другой стороны, будучи квакером и человеком по натуре глубоко нравственным, как мог он молчать? Если он просто оставит службу в банке, не поднимая никаких разговоров, все будет идти, как шло до сих пор. А этого совесть не позволяла ему допустить. Может быть, ему написать письмо с объяснением причин, побудивших его уйти? Тогда положение изменится и скомпрометированным директорам придется выйти из состава правления. К несчастью, тогда банк окажется под угрозой краха. У Солона у самого около двадцати пяти тысяч лежало в Торгово-строительном, и все его деньги могли пропасть тоже.

Однако не это соображение его останавливало. Солон считал себя богатым человеком, и богатство даже тяготило его, потому что чрезмерное изобилие земных благ казалось несовместимым с квакерским учением. Но он думал о тысячах мелких вкладчиков, которые в случае катастрофы лишились бы своих сбережений, и потому боялся вызвать панику. С другой стороны, если ничего не предпринимать, какой-нибудь опасливый вкладчик или обиженный отказом в ссуде клиент мог в любую минуту докопаться до всего и поднять шум. День и ночь Солон ломал голову, стараясь найти выход из этого нетерпимого положения.

И вот однажды его осенила неожиданная мысль — обратиться в Вашингтон в министерство финансов и потребовать ревизии банка или же устроить так, чтобы авторитетное лицо, предварительно осведомленное о некоторых фактах, поговорило с виновниками «по душам». Во всяком случае, ясно одно: нельзя допустить, чтобы эти люди довели дело до банкротства.

ГЛАВА LVII

Солон съездил в Вашингтон, переговорил с некоторыми лицами в государственном казначействе, в чьем ведении находились дела по ревизии банков, — и вот в одно прекрасное утро в Торгово-строительный банк явился незнакомый чиновник, который, попросив передать мистеру Сэйблуорсу свою карточку, первым делом принял по наличности кассу, а затем потребовал ключи от подвалов, корешки приходо-расходных ордеров и все вообще документы и книги.

Весть о его прибытии мгновенно распространилась по всему банку. Эверард и Сэйблуорс встревожились не на шутку, хотя посторонний глаз мог бы этого и не заметить. Оба этих банковских деятеля всегда заботились о том, чтобы их счета и документы подкрепляли то солидное впечатление, которое они умели производить; но это не исключало опасности, что в банк

может как снег на голову нагрянуть новый, более придирчивый ревизор и, несмотря на все их подходы и ухищрения, заинтересоваться кое-какими сделками и операциями, природу которых не так легко будет объяснить. Мистеру Эберлингу, ревизору, с которым они привыкли иметь дело, ни разу не случалось признать недостаточно солидной гарантию той или иной ссуды — об этом Сэйблуорс с Эверардом поспешили довести до сведения вашингтонского гостя. По их словам, Эберлинг обычно лишь просматривал бумаги, не вдаваясь в подробности, так как не сомневался в надежности представленного обеспечения.

Однако мистер Прэнг, вашингтонский ревизор, оказался более дотошным и любознательным. Он довольно настойчиво выспрашивал у Эверарда и Сэйблуорса, что им известно о тех компаниях, которым они предоставляют столь щедрый кредит, об их руководителях и главных акционерах, о том, не являются ли некоторые из них попросту филиалами компаний, возглавляемых Бэйкером, Сэем и Уилкерсоном, о том, действительно ли полученные от банка деньги пошли на переоборудование и расширение предприятий, — если же нет, то на что они были израсходованы.

Эверард подвергся допросу первым; смущенный настойчивостью Прэнга, он предложил ему поговорить с Сэйблуорсом, ссылаясь на то, что тот более осведомлен во всех делах. Однако, оставшись с глазу на глаз с Сэйблуорсом, мистер Прэнг очень скоро убедился по уклончивым и двусмысленным ответам этого джентльмена, что его пугает необходимость прямо говорить о некоторых вещах; тогда вашингтонский ревизор вдруг прекратил свои вопросы и, перелистывая лежавшие перед ним бумаги, сказал совсем другим тоном:

— Должен вам откровенно заметить, мистер Сэйблуорс, меня чрезвычайно смущает характер многих из этих ссуд. Конечно, нужно сперва ознакомиться с делами компаний, которым они были выданы, но я сомневаюсь в том, что представленное ими обеспечение достаточно надежно. До нас то и дело доходят слухи об использовании банковских средств для поддержки тех компаний, в которых банковская администрация непосредственно заинтересована. Я не говорю, что именно так обстоит дело в вашем банке, но моя прямая задача выяснить это. Я тут составил себе полный список выданных ссуд и тех лиц и компаний, которым они выданы, пока я еще воздерживаюсь от определенных суждений, но думаю, что через некоторое время картина мне будет ясна. Одно, во всяком случае, могу сказать: все ссуды, вызывающие какое-либо сомнение, придется погасить и все расчеты по ним ликвидировать. А если кто-либо из директоров или администрации является акционером компаний, которым выдавались ссуды, то мой совет эти ссуды покрыть немедленно. Сегодня среда; я буду у вас опять в понедельник. Обещаю вам до тех пор ничего не предпринимать. Если к понедельнику все окажется в должном порядке, необходимость в дальнейших разговорах и действиях отпадет сама собой. Если же нет, придется, может быть, временно приостановить операции — впредь до урегулирования дел. — Прэнг говорил веско и решительно.

Сэйблуорс судорожно глотнул воздух.

— Вы хотите сказать... — отважился было он начать, но, заметив суровое выражение лица Прэнга, тут же осекся. Прэнг нашел шляпу, простился и вышел, оставив побледневшего Сэйблуорса в полном смятении.

После ухода ревизора Эверард и Сэйблуорс сели вдвоем обсудить положение. Нервы у обоих были напряжены до крайности, потому что злополучные ссуды составляли в общей сумме около восьмисот тысяч долларов, а при подробном разборе дел неминуемо должны были обнаружиться их личные связи с получившими эти ссуды компаниями.

— Кто-то донес, это совершенно ясно, — сказал Сэйблуорс. — Но так или иначе, нам дан срок до понедельника. Мне кажется, нужно вызвать Бэйкера, как вы думаете?

— Да, да, вызовем его сейчас же! — вскричал Эверард.

Времени терять не приходилось, а потому в контору Бэйкера на Третьей улице был снаряжен гонец, и не прошло и часу, как Бэйкер ввалился в кабинет Сэйблуорса, пыхтя и отдуваясь, но сохраняя полное хладнокровие.

— Так он, значит, желает, чтобы банк потребовал возвращения всех этих ссуд! — начал Бэйкер, усаживаясь в глубокое удобное кресло и разглаживая брюки на коленях. — Ему, значит, не нравится представленное обеспечение! Какого же ему еще обеспечения надо? Ведь это же чистое золото, если не сейчас, так в будущем? Беда только, что его в этом не убедить, а поднимать скандал на весь город нам, конечно, ни к чему. Что ж, некоторые ссуды я могу покрыть, но не все сразу, нет, не все сразу. Может быть, Уилкерсон и Сэй нам помогут обернуться. Уж очень мало сроку он дал, что тут успеешь!

Было совершенно ясно, что Бэйкер не собирается вновь брать на себя бремя обязательств, которое он так охотно переложил на чужие плечи; впрочем, услышав о том, что Прэнг грозил приостановить операции банка, он сделался сговорчивее. И все-таки в результате решений, принятых на этом тройственном совещании, Эверард и Сэйблуорс должны были — хотя бы временно — пострадать больше, чем следовало бы по их участию в деле, так как им предстояло взять из банка то сомнительное обеспечение, которое туда было внесено, и заменить его полноценными акциями и облигациями, составляющими их личную собственность.

Затем послали за Сэем и Уилкерсоном и предложили им покрыть часть полученных ими ссуд. Они согласились на это довольно легко, испугавшись, что банк заставят приостановить операции.

Разумеется, всем не давал покоя один вопрос — откуда государственное казначейство узнало об их делах? Кто докопался до существа махинаций со ссудами и установил, что они лично причастны к этим махинациям? Был ли это какой-нибудь недоброжелатель со стороны, или же кто-нибудь из их собственных служащих? Единственный человек в банке, достаточно осведомленный, чтобы при желании выдать их, был, разумеется, Солон Барнс. Он всегда уклонялся от предлагаемых ему повышений в должности, он был религиозен и крайне консервативен в своих взглядах, но им казалось невероятным, что из религиозных соображений человек может действовать вопреки собственной выгоде. Впрочем, у них не было ни малейшего желания расспрашивать его или затевать с ним ссору; он слишком много знал о закулисной стороне банковских дел и мог причинить им еще больший вред. Таких людей, как он, вообще не следовало допускать в сферу больших финансов. Но как казначей он был незаменим, настоящий оплот честности, и теперь, как никогда, они нуждались в возможности укрыться за его спиной.

В понедельник утром они предстали перед недреманным оком закона чистыми и невинными, но, надо сказать, Эверарду и Сэйблуорсу это стоило почти всего их состояния.

Однако и после отъезда Прэнга, даже когда уже стало ясно, что буря пронеслась, в отношениях между руководителями банка продолжала чувствоваться напряженность, а к Солону все они заметно охладели. Но сам Солон был доволен тем оборотом, который приняло дело, хотя он не привык радоваться чужой беде и, кроме того, опасался, что чувство досады, оставшееся у Сэйблуорса и Эверарда, и желание возместить понесенные убытки рано или поздно толкнут их на новые мошенничества. По своему врожденному прямодушию он предпочел бы сказать им о том, что это он вызвал ревизора в банк, и призвать их исправиться, но поскольку сейчас уже все было улажено, не стоило, пожалуй, вновь поднимать этот вопрос. Однако он знал, что рано или поздно ему придется открыто выступить против такого рода нечестности в делах — осудить ее вслух и, если потребуется, уйти из банка.

ГЛАВА LVIII

В то время как Солон мучительно пытался разрешить те финансовые и психологические проблемы, которые возникли перед ним в связи с делами Торгово-строительного банка, у Стюарта, в его второй, тайной, жизни тоже назревал свой кризис. За последние месяцы через его руки прошло немало денег, добытых воровством или полученных от благосклонной тетушки, но финансы его от этого не поправились.

Стюарт уже несколько раз ездил в гости к нью-брансуикским Уоллинам и погружался в тот пестрый водоворот веселья, без которого жизнерадостной, неугомонной Роде жизнь казалась пустой. Эти вечера у тетки оказались даже интереснее, чем мог ожидать Стюарт. Там всегда бывало много на редкость красивых девушек; правда, по сравнению с Адой Морер все они казались ему холодными и лишенными темперамента. Тетушка Рода даже выбрала из этих девиц одну, наследницу весьма значительного состояния, которую она сочла достойной такого юноши, как Стюарт, красивого, обаятельного и из прекрасной семьи. Но, хотя девушка была прехорошенькая, Стюарт, учуяв, что тетка незаметно пытается вывести его на дорожку, ведущую к законному браку, остался к ней равнодушен; не за этим он являлся на светские сборища, а главным образом затем, чтобы раздобыть у тетки денег, ведь без денег нельзя было вкушать радости жизни, воплощением которых была для него Ада и его друзья.

Как-то в субботу под вечер Стюарт, по обыкновению сидевший на мели, сумрачно размышлял о том, что лучше — поехать домой и проскучать все воскресенье или остаться во Франклин-холле и попытаться наверстать пропущенное хотя бы по некоторым школьным предметам. Вдруг в комнату ворвался Брудж с сияющим лицом и блестящими глазами.

— Стюарт! Живей одевайся! Дженнингс привел машину, и мы сейчас едем! Сперва в Филадельфию за девочками, а потом в Атлантик-Сити. Ну что же ты, пошевеливайся!

И он хлопнул Стюарта по спине.

— Отстань! — мрачно огрызнулся тот. — У меня нет ни цента, а занимать у тебя и у Дженнингса мне надоело.

— Вот еще глупости! Сегодня я всех угощаю! Мне мать вчера прислала тридцать пять долларов. Собирайся! Я тут придумал одну такую штуку — с ума сойдешь! Ох и повеселимся же мы! По дороге все расскажу. Ну, одевайся же, не задерживай!

Его радостное возбуждение было так заразительно, что Стюарт, которого вообще нетрудно было уговорить, очень быстро перестал разыгрывать непреклонность и через четверть часа уже сидел рядом с Бруджем в машине, которую Дженнингс полным ходом гнал к Филадельфии.

— Ну, Брудж, выкладывай, что ты там такое придумал, — сказал Стюарт, как только стены Франклин-холла скрылись из виду. — У тебя такой вид, словно ты совершил преступление и собираешься скрыть его следы.

— Ну, это бы еще пустяки! — отшутился Брудж. — Тут дело поинтересней! Вот, слушайте...

И он стал подробно излагать им фантастический план, рассчитанный на то, чтобы сломить упорство белокурой Психеи, которая до сих пор только дразнила его, а от всех попыток сближения увертывалась.

Его мать, объяснил он, жалуется на слабые нервы и часто принимает успокоительное лекарство, — всего несколько капель в стакане воды. И вот недавно он стал замечать, что если попросить у нее денег сразу после того, как она приняла эти капли, почти никогда не встретишь отказа. Она тогда «словно в тумане». Так уж, видно, действует это лекарство: человек размякает и готов согласиться на все, что ему ни скажут. Вот он и надумал с помощью этого лекарства победить затянувшееся сопротивление Психеи Тэнзер. Стоит только влить несколько капель в ее бокал с вином, а дальше все пойдет как по маслу. Вреда от этого никакого быть не может, ведь его мать постоянно пьет эти капли. Как раз в последний его приезд домой она послала его в аптеку получить по рецепту очередную порцию, и он по дороге отлил немножко в пустой пузырек, который нарочно приберег для этого. Пузырек и сейчас у него в кармане! Теперь только бы разыскать девушек...

Психея была дома и очень охотно приняла приглашение. Но с Адой им не повезло: ее дома не оказалось. Не удалось найти и Рэй Патерсон. Но все уже настроились ехать в Атлантик-Сити, и потому решено было отправиться вчетвером.

Для начала Дженнингс повез их в один известный ему тайный кабачок на окраине города, пропустить по рюмочке. Впрочем, Психея отказалась пить что-нибудь, кроме чашки кофе, и сказала, чтобы они заказывали, а она пока пойдет попудрить нос. Брудж едва скрыл свою радость при этих словах, поняв, какой ему представляется удобный случай, только бы она задержалась подольше и дала ему время сделать, что нужно.

Официант принес заказанное, и Брудж, торопливо откупорив пузырек, едва успел влить несколько капель в чашку с кофе, как Психея вернулась к столу.

Ночь была безлунная, но ясная, а когда машина выехала за городскую черту, подул свежий, бодрящий ветерок. Настроение у приятелей было приподнятое, все чувства обострены.

Брудж вдруг заметил в стороне от дороги небольшую сосновую рощицу и крикнул Дженнингсу:

— Давай остановимся здесь! Пусть Психея отдохнет немножко, она, видно, спать хочет.

Девушка сидела рядом с Бруджем на заднем сиденье и время от времени сонно ласкалась к нему. Как только Дженнингс остановил машину, Брудж помог ей выйти и наполовину довел, наполовину донес ее до песчаного бугорка под соснами. На этот раз она не сопротивлялась его ласкам и в каком-то полусонном, полустрастном забытьи отдалась ему.

Немного спустя, очнувшись от овладевшей им дремоты, Брудж взглянул на Психею, и в ее неподвижности ему почудилось что-то неестественное. Она лежала совершенно спокойно, но когда он заговорил с ней, она не ответила. Брудж встал и пошел к машине: по дороге ему навстречу попался Стюарт.

— Знаешь что, Стюарт, поди разбуди Психею. Хватит ей спать.

Стюарт поспешил в рощицу. Вызывающая красота этой девушки давно уже действовала на его воображение, и теперь, когда он увидел ее перед собой, раскинувшуюся на песке в чувственной позе, она показалась ему особенно красивой. Он наклонился и жарко поцеловал ее в губы. И вдруг страсть охватила его с такой силой, как никогда прежде, и, поддавшись неудержимому порыву, он всем телом приник к ее телу. Когда первые ослепляющие мгновения миновали, ему показалась странной какая-то неестественная податливость тела Психеи. Она по-прежнему лежала с закрытыми глазами и не отвечала на его ласки и поцелуи.

— Психея! Проснись, Психея! — громко закричал он; потом, не получив ответа, просунул ей руку под спину и приподнял ее. Но она тяжело повисла на его руке. Стюарту стало страшно, он опустил ее на землю и бросился бежать к машине.

— Брудж, послушай! — Голос у него дрожал. — Психея не просыпается! Я не могу разбудить ее. Честное слово, с ней что-то случилось!

— Как это ты не можешь ее разбудить?

Брудж выскочил из машины и торопливо направился к рощице. Дженнингс и Стюарт бежали за ним.

Психея лежала все в той же позе, как ее оставил Стюарт. Брудж стал трясти ее, потом попытался поставить на ноги, но как только он отпустил ее, она мешком повалилась на землю. Дженнингс следил за ним со страхом и любопытством.

— Что же это с ней такое, а? — проговорил он. И вдруг спросил: — Может, это от тех капель, что ты ей дал?

Но Брудж был уже готов к самозащите.

— Перестань молоть вздор. От этих капель только становится приятно. Они не усыпляют и не могут причинить никакого вреда. Надо воды достать, это мигом приведет ее в чувство.

И он побежал к заливчику, находившемуся неподалеку, захватив свою шляпу, чтобы зачерпнуть воды.

Стюарта начала бить нервная дрожь. Он не сводил с девушки испуганных глаз и бормотал:

— Какой ужас, боже мой, какой ужас!

Между тем Брудж, вернувшись, усиленно смачивал водой лицо и руки Психеи, но ничего не помогало.

— Доктора бы надо! — Стюарта вдруг кольнула жалость.

— Доктора? — прохрипел Брудж. — Умней ты ничего не мог выдумать? Только этого не хватало; тогда уж нам всем не миновать неприятностей. Она оправится, и ничего с ней не будет. Давайте снесем ее в машину. Ветер сразу приведет ее в чувство.

— Боже мой, какой ужас!

Стюарт метался взад и вперед, не находя себе места от волнения.

— Да уймись ты, ради всего святого! — закричал Брудж. — Говорят тебе, с ней ничего не будет. Незачем поднимать такую панику. Я ей никакого вреда не причинил. — И, обращаясь к Дженнингсу, он прибавил: — Ну-ка, помоги мне. Вот увидите, как поедем — она очнется.



Они снесли ее в машину и усадили на заднем сиденье. Брудж сел рядом, придерживая ее.

— А ты садись и держи с той стороны, — скомандовал он Стюарту.

В голове у него уже сложилось решение: они высадят ее где-нибудь неподалеку от дома и там оставят. Что делать дальше, он придумать не мог. От страшной мысли, что с девушкой случилось что-то серьезное, что, может быть, она умирает, в нем все цепенело. Ведь это он дал ей капли. Он пытался утешить себя мыслью, что автомобиль принадлежит не ему; а если вышла какая-нибудь ошибка с лекарством, так это тоже не его вина, а аптекаря. Пузырек от капель остался при нем и может послужить доказательством, что намерения у него были самые невинные. Что там, между прочим, написано на ярлыке? Он не мог припомнить в точности; кажется, что-то вроде «в привычку не переходит» и «употреблять только по назначению врача».

Брудж свободной рукой достал пузырек из кармана, но в зыбкой темноте разобрать надпись было невозможно. Он положил пузырек рядом на сиденье, с тем чтобы взглянуть еще раз, когда будут проезжать мимо какого-нибудь освещенного селения.

Час спустя, уже перед самой Филадельфией, мальчики заметили, что тело Психеи словно одеревенело, а кожа стала совсем холодная. Брудж велел Дженнингсу остановиться.

— Пожалуй, не стоит ее везти дальше, — сказал он. — Лучше оставим ее здесь, за городом.

— А может быть, все-таки отвезти ее к доктору? Посмотри, она стала какая-то странная, — сказал Стюарт, продолжая прижимать Психею к себе и стуча зубами от страха. — Брудж, а вдруг она умерла?

— Глупости! — огрызнулся Брудж. — Но ни к каким докторам мы ее не повезем! Ни в коем случае! Если ты больше ничего не можешь придумать, сиди и молчи! Ты что, погубить нас всех хочешь? Мы ее положим тут, в сторонке у дороги. Кто-нибудь будет идти мимо и найдет, и тогда уж вызовут врача или санитарную карету, словом, сделают все, что нужно.

— Да, пожалуй, ты прав, — дрожащим голосом подхватил Дженнингс. — Кто-нибудь, наверное, увидит ее и подберет, а мы поедем прямо в школу. Там нас ни за что не отыщут.

Теперь все трое были одержимы таким страхом, что уже не могли действовать разумно. Одно желание владело ими — спастись, убежать от смертельной развязки. Зловещая тень смерти лишила их способности рассуждать. Каждый думал только о том, как он будет прятаться, лгать, отрицать всякую свою причастность к этой увеселительной прогулке, так страшно закончившейся. Хотя никто из них, а Брудж в особенности, еще не верил, что Психея действительно умерла, одна возможность этого наводила на них ужас.

Стюарт молча смотрел, как Брудж и Дженнингс вынесли Психею и посадили у дороги, прислонив к откосу. Здесь, решили они, ее непременно заметят.

Потом Дженнингс завел мотор, быстро домчал товарищей до школы и, пока они потихоньку пробирались в свои комнаты, снова сел за руль, дрожа всем телом от страха, и поехал домой, в Честер.

ГЛАВА LIX

Так паутину зла мы ткем,

Хоть раз вступив на путь обмана!

Под утро какой-то случайный прохожий нашел Психею там, где они ее оставили накануне. Она была мертва.

И тут стали выясняться различные обстоятельства, которые не были известны невольным виновникам случившегося несчастья, а между тем в силу этих обстоятельств полиции не составило труда выследить их. Они, например, не знали, что у Психеи было больное сердце и потому она не могла перенести даже самого слабого наркотического средства. Дженнингс не знал, что в сумочке погибшей девушки лежала его визитная карточка с именем, фамилией и адресом. Точно так же и Брудж не знал, что пузырек, на дне которого еще сохранилось несколько капель снадобья, выкатился из машины на дорогу и был найден неподалеку от тела.

Первым взяли на допрос Дженнингса, на которого прямо указывала карточка, обнаруженная в сумке Психеи; а в это время полиция уже выследила Бруджа по ярлыку на пузырьке, где была обозначена фамилия аптекаря и номер рецепта. Полицейские приехали к нему домой, узнали, что он во Франклин-холле, и еще до полудня явились туда. И Бруджа и Дженнингса привезли для допроса в полицейский участок. Перепуганные и потрясенные известием о смерти Психеи, оба твердили свое: они не знали, они думали, что она просто больна или в обмороке. Настойчивые расспросы о том, кто еще был в машине, очень скоро заставили их упомянуть имя Стюарта, за ним тут же поехали и привезли его к следователю, ведшему дознание. И очень скоро выяснилась вся печальная история, главным действующим лицом которой был Виктор Брудж.

Вскрытие установило, что смерть произошла от наркотического средства, оказавшегося чересчур сильным для больного сердца Психеи, хотя само по себе оно не было смертельным. Последняя оговорка избавила Бруджа от прямого обвинения в убийстве, но сопутствующие обстоятельства, выявленные следствием, выставляли его и его сообщников в позорном и неприглядном виде.

Стюарту предъявили обвинение в том, что он вместе с Бруджем соблазнил Психею, а также принимал участие в других подобных прогулках, когда их спутницами бывали более сговорчивые подруги покойной. Издерганный вопросами следователя, вконец измученный сожалением и раскаянием, он во всем признался; и хотя по этому признанию выходило, что он не был ни

соблазнителем невинной девушки, ни тем более убийцей, картина его падения складывалась достаточно постыдная, и ему показалось лучше умереть, чем взглянуть в глаза родителям.



Преследуемый этой мыслью, он вынул из кармана небольшой перочинный ножик и спрятал его за манжетой штанины. Впредь до перевода в Филадельфийскую окружную тюрьму им разрешено было оставаться в своем платье. Нечего и говорить, что, несмотря на все старания родных и близких, в выдаче их на поруки было отказано, и всех троих сразу же после первого допроса подвергли предварительному заключению.

Крупнейшие газеты Филадельфии, Трентона и даже Нью-Йорка и Балтиморы не замедлили сообщить обо всем под кричащими заголовками и в доме Барнсов настали черные дни. Бенишия слегла и не вставала; ее слабый организм не мог вынести такого сильного душевного потрясения.

Солону словно нанесли смертельный удар; то, что произошло, казалось ему частью какой-то трагедии, всего значения которой не вмещал его разум. Рушился, рассыпался прахом весь барнсовский мир.

А между тем в совершившейся трагедии не было его вины. Относясь к себе со всей строгостью, он должен был все же признать, что по мере сил пытался воспитывать своих детей в духе «Книги поучений», призывая их обращаться всегда к Внутреннему свету, как обращался в своей набожности и сам.

Не делал ли он все, что только мог, чтобы отвести опасность гибельных заблуждений от членов своей семьи? А между тем он хорошо помнил, как Этта, тихая, смиренная, любящая Этта, открыто взбунтовалась, когда он сказал ей, что книги, которые она читает, не только стыдно, но и вредно читать, потому что они развращают ее чистую, невинную душу. И что же? Разве ее собственная судьба не служила доказательством глубокой справедливости его возражений? Ведь Этту, в сущности говоря, можно считать погибшей. А теперь — Стюарт! С малых лет этот мальчик, не слушая советов отца, пренебрегая всем, к чему тот так любовно старался его приохотить, упорно обращал свои взоры и желания на то, что в конце концов сгубило его, — деньги, автомобили, театры, танцы, девушек, — и вот пришел к такому ужасному концу!

Он размышлял, молился, даже плакал. Но ничем нельзя было облегчить горе, уменьшить позор, который лег на всю семью — на Айсобел, Доротею, Орвила, сумевших достигнуть хорошего положения в жизни. И прежде всего на ту, что была матерью Этты и Стюарта, его возлюбленную Бенишию, которую это горе приковало к постели. Что же делать? Где найти силы перенести все это и хоть что-нибудь спасти из-под развалин? Снова и снова он возвращался мыслью к Внутреннему свету, моля укрепить его дух и веру, поколебавшуюся в самых своих устоях.

И в его тяжкой доле ему вспомнился стих из евангелия от Марка: «Верую, господи! Помоги моему неверию!» слова, которые говорит отец, пришедший молить Иисуса об исцелении сына.

О, если б он мог спасти своих детей! Это казалось выше сил человеческих, но бог ведь всемогущ. Только бы поверить в это, и тогда в окружающем его мраке обозначился бы путь к свету.

Между тем Рода Уоллин, чувствуя себя виновной в том, что она своими поблажками поощряла стремления Стюарта вырваться из строгих рамок домашнего уклада, добивалась приема у губернатора и у окружного прокурора, намереваясь просить их о снисхождении. Она надеялась, что сумеет убедительно обрисовать им ту обстановку, которая породила в этом мальчике ненасытную жажду удовольствий. С губернатором она была знакома лично и, попав, наконец, к нему на прием, стала просить за Стюарта со всем свойственным ей пылом. И когда он сказал ей, что ничего или почти ничего не может сделать, потому что общественное мнение всегда особенно яро ополчается против преступников такого рода, она упала на колени и зарыдала. Что касается окружного прокурора, то он пообещал сделать все от него зависящее, но тут же прибавил, что едва ли можно будет помешать правосудию совершиться.

Орвил и Стоддарды, а также Доротея с мужем и вся семья Кортов, старались использовать политические и общественные связи, желая приглушить шум, поднятый газетами вокруг преступления и его виновников. Орвил даже нанял адвоката для выработки плана действий.

Все это время мальчики сидели в полицейской тюрьме, ожидая перевода в Филадельфийскую окружную тюрьму и сессии совета присяжных, которая должна была рассмотреть их дело. Окруженные со всех четырех сторон железной решеткой, они целыми днями раздумывали о своих заблуждениях, о том горе, которое они причинили родным. Стюарт страдал душевно больше всех. Как он решится взглянуть в глаза отцу и матери? Пусть даже он расскажет отцу всю правду, тот все равно не поймет и не поверит. И если даже он сумеет объяснить, что Психея вовсе не была невинной и что она отправилась на эту прогулку не ради него, а ради Бруджа, это ничуть не умалит его вину в глазах отца.

А как объяснить отцу и всем вообще, почему он бросил девушку на дороге без помощи, вместо того чтобы поскорей отвезти ее к врачу? Может быть, тогда еще можно было спасти ее? Почему же он не последовал простым велениям своего сердца — он, которого с детства учили руководствоваться Внутренним светом?

Все эти мысли угнетали его, и он не находил выхода. Выхода не было. Что бы ни решили судьи, ему не уйти от суда собственной совести и совести отца — от приговора, который ему вынесет Внутренний свет.

Он думал о том, что его отвезут в окружную тюрьму и поместят, как преступника, среди преступников; что нужно будет давать объяснения адвокату, что рано или поздно наступит час встречи с отцом, — и на второй день своего заключения он почувствовал, что ему не вынести этих испытаний. Это было сверх его сил. Жизнь его не стоила того горя, которое он причинил своим родителям. Так не лучше ли положить ей конец?

Он потихоньку нащупал за манжетой штанины перочинный ножик, оставшийся незамеченным при обыске. С любовью и болью думая о матери, он отвернулся к стене, открыл нож и со словами: «Прости меня, мама!» — вонзил лезвие себе прямо в сердце.

И снова газетная шумиха: юный отпрыск почтенного семейства Барнс покончил жизнь самоубийством.

ГЛАВА LX

Не было человека в квакерской общине Даклы, который отнесся бы к Солону Барнсу и его семье иначе, как с глубоким сочувствием и участием. Вспоминали о том, как в течение многих лет каждый Первый день подкатывал к молитвенному дому просторный экипаж Барнсов, которым правил сам Солон, и оттуда выходили Бенишия и дети. Многие помнили Орвила и Стюарта маленькими мальчиками, когда они сидели рядом с отцом на мужской половине зала. Орвил — чинно, хотя и не слишком внимательно, а шаловливый Стюарт — беспрестанно вертясь по сторонам. Говорили о том, как серьезно и добросовестно занимался всегда Солон делами общины.

Назавтра после того, как стало известно о печальном конце Стюарта, двое из старейшин общины явились в Торнбро выразить свое глубокое прискорбие Солону и Бенишии и узнать, нельзя ли чем-нибудь помочь им. Ни словом не упоминая о трагических обстоятельствах смерти юноши, они сообщили, что он будет похоронен с соблюдением всех почестей, какие обычно оказываются наиболее уважаемым членам общины, и что в погребальной церемонии дома и на кладбище примет участие положенное число Друзей. Это, разумеется, не облегчило горя Солона, но все же он был глубоко тронут таким вниманием.

На прощанье один из посетителей вложил в руки Солону небольшой томик, заложенный в одном месте закладкой. Раскрыв его после их ухода, Солон прочел следующие слова, принадлежащие Джону Круку, одному из первых квакеров:

«Не склоняйте голов, вы, что, совершив все внешние омовения, пришли омыть свои одежды в крови агнца господня, дабы они стали белыми, как снег, и, очистившись таким образом, вы могли бы войти в Царство и воссесть рядом с утомленным трудами Авраамом, и многострадальным Исааком, и хитроумным Иаковом. О, как коварен враг, на какие только уловки он не пускался... будто мы достаточно уже горели в пламени, и теперь в нас осталось лишь чистое золото; но то была ложь... мы увидели, что снова должны броситься в пламя и жечь себя, как повелел Отец, до той поры, пока не станем, подобно сынам Сиона, истинно чисты, как золото».

Да, жизнь действительно ввергла его в пламя, сказал себе Солон. И, может быть, испытание закалит его душу, но оно не исправит уже совершившегося зла и не вернет ему возлюбленного сына. Горе его, глубокое само по себе, становилось почти непосильным оттого, что к нему примешивалась тревога за Бенишию, совершенно сраженную несчастьем. Он видел, что душа ее трепещет, как испуганная пташка, и мысль мечется от Солона к Стюарту и от Стюарта к заблудшей Этте. А тут еще Орвил и Доротея своим холодным, почти злобным спокойствием беспрестанно напоминали ей о том, что случившееся может повредить их положению в обществе; и несчастная мать тянулась к Айсобел, которая, казалось ей, лучше всех теперь способна ее понять. Услышав страшную новость, Айсобел тотчас же приехала из Льевеллина и всячески старалась внушить матери, что как ни ужасны все эти события, ни Этту, ни Стюарта, по крайней их молодости, нельзя безоговорочно винить во всем. Сама испытав немало разочарований, она говорила с большой убедительностью, и ей удалось отчасти утешить Бенишию предсказанием, что Этта непременно вернется, и даже раньше, чем можно думать. Желая оправдать это предсказание, она даже написала сестре письмо, в котором обрисовала тяжелое состояние родителей и настаивала на том, что Этта должна вернуться домой и быть им поддержкой в их горе.

В эти дни, когда мрак навис над домом Барнсов, приехала из Нью-Брансуика Рода Уоллин. Она понимала всю глубину страданий Солона и Бенишии, и ей хотелось хоть немного утешить их. Что бы там ни говорили, утверждала она, Стюарт — хороший мальчик и, по существу, ни в чем не виноват. Неопытный и юный, он, никому не желая зла, сделался жертвой чудовищного стечения обстоятельств и своею смертью доказал глубину своего раскаяния.

— Помни, — говорила она Солону, — многое изменилось со времен нашего детства. Нынешняя молодежь встречает на своем пути много таких соблазнов и искушений, о которых мы и понятия не имели.

Еще неделю назад ее рассуждения показались бы ему никчемными, теперь же он находил в них крупицу утешения.

Но еще предстояло пережить мучительную церемонию похорон. Днем тело Стюарта перевезли в Торнбро; Солон видел гроб и цветы, но не видел своего мертвого сына. И вот, дождавшись глубокой ночи, когда все в доме стихло, он взял свечу, бесшумно спустился вниз и подошел к гробу, в котором лежал его мальчик.

Вот он и вернулся из адской бездны так называемых радостей жизни, вернулся оттуда, где глаза блестят, но не целомудренным блеском, где губы алы, но не от невинной свежести, где тела изгибаются в одуряющем ритме танца, где насмешки чередуются с руганью и хриплые голоса глумятся над чистотой и добродетелью, вернулся из мира театров, кабаков, дансингов и домов терпимости — даже и такая мысль была у Солона. Его сын! Его мальчик! Да, жизнь жестоко расправилась с его сыном, его любимцем, его Стюартом — тем самым Стюартом, светлоглазым и светлокудрым, который всего лишь несколько лет назад сидел у него на коленях и лепетал, повторяя за ним, слова молитвы. Этот гнусный мир, мир соблазнов и необузданных наслаждений, погубил его сына, совратил и его и Этту, отторг их от отца, и не помогли никакие родительские увещания и

запреты. И вот теперь Стюарт лежит здесь, перед ним, холодный и недвижимый — не кто-то чужой, а его возлюбленное родное дитя.

Словно отупев от отчаяния, он склонялся над гробом со свечою в руке и при слабом мерцании ее неверного огонька, едва разгонявшего ночную тьму, всматривался в точеные черты родного лица — высокий, круглый лоб, говорящий о силе желаний, глубоко посаженные глаза, в которых он еще недавно читал выражение обиды и страха, изогнутые губы, даже сейчас прекрасные: глядел на эти руки с тонкими, нервными пальцами, теперь уже навсегда неподвижно сложенные на груди.

Какой он был неугомонный, живой, веселый — и вот смерть уничтожила его силу, исказила его красоту. Как примириться с этой страшной, жестокой истиной, как вынести это? Солон смотрел, не отрываясь, словно изучая каждую черточку, каждый изгиб, каждую скорбную морщинку на этом лице, смотрел и плакал про себя, без слез; и вдруг его пронзила мысль: что, если в своем упорном стремлении направить мальчика к добру он совершил ошибку, не исполнил как следовало свой родительский долг! Быть может (и эта мысль показалась ему нестерпимой), он проявил недостаточно чуткости, доброты, мягкой убедительности, к которой так настойчиво призывает родителей «Книга поучений». Разве не было его святой обязанностью испробовать все средства кротости и любви ради спасения сына? А он придирался, шпионил за ним, изводил его постоянными вопросами, заставлял поступать наперекор собственным желаниям, силой и принуждением стараясь добиться того, чего гораздо легче можно было достигнуть лаской — лаской и молитвой. Разве его, Солона, мать не доказала ему это своим примером? Так почему же он не сумел последовать этому примеру? Но — он это хорошо знал теперь — иногда так трудно бывает точно определить, какое решение правильно и как его выполнить.

— Мальчик мой! Мальчик мой! — прошептал он наконец.

И вдруг глубокое смятение охватило его, потрясенного трагической гибелью сына, тем, что тот сам себя лишил жизни, признав свои заблуждения и свой позор, сочтя себя недостойным своей семьи, отца, матери; он упал на колени, поставил свечу на пол, чтобы не выронить ее из дрожащих рук, и зашептал слова молитвы:

— Отец наш небесный, сжалься, помоги! — Слезы брызнули у него из глаз. — Я старался, — шептал он, — но я не знал, что делать. Прости же меня, и его, моего мальчика, прости тоже, ибо я лишь хотел исполнить твою волю, но впал в ошибку. Да, поистине так. Должно быть, я поступал неправильно — я был слишком строг.

Тут рыдания помешали ему продолжать.

Но в эту самую минуту в комнату вошла Бенишия, которая услышала, как он выходил из спальни, и последовала за ним. Со слезами на глазах, с сердцем, обливающимся кровью и за него, и за Стюарта, и за себя, она подошла, обняла его и сказала:

— Полно, Солон, успокойся! Полно, дорогой! Не надо плакать. Ты был верен своему родительскому долгу, — был верен ему всегда, и мы все это знаем. Успокойся, не плачь. Пойдем со мною, тебе надо отдохнуть! — И, повинуясь ее ласковым уговорам, он встал и вместе с нею вернулся в спальню, беззвучно рыдая над постигшей их тяжкою бедой.

А там, внизу, в большой, холодной гостиной, лежал его мальчик, его любимый сын, погибший от собственной руки! Горе, горе! Позор! И ему хотелось воскликнуть словами распятого Христа: «Боже мой! Для чего ты меня оставил?»

ГЛАВА LXI

Окончилась церемония похорон, разъехались родные, прекратились изъявления дружеского сочувствия, и Солон остался в Торнбро со своим тяжким грузом воспоминаний. Он жил словно в каком-то забытьи, из которого его выводили порой только разные мелочи домашнего быта: то старый Джозеф позовет его взглянуть на жеребенка, которого принесла гнедая кобыла Бесси, то Айсобел заглянет в кабинет спросить, не выпьет ли он чашку чаю. Изредка он шел побродить по саду или по берегу Левер-крика. Но красота природы лишь отчетливей заставляла его сознавать ту страшную истину, что Стюарт, жертва своего безумства, никогда больше не пройдет по этим дорожкам.

Постепенно, однако, Солон понял, что рано или поздно придется ему вернуться к своим обязанностям в банке. Но он не мог об этом думать без отвращения; бездушная корысть, составляющая сущность всякого бизнеса, казалась ему теперь чем-то уродующим и разрушающим нормальное человеческое существование. А ведь и он был причастен к этому; разве не заседал он вместе с другими в правлении банка, разве не помогал осуществлять их планы, направленные к безмерному накоплению богатства ради той бесполезной роскоши, тех никчемных удовольствий, что ослепили своим блеском Стюарта и привели его к гибели.

Ему вспоминалось прочитанное в «Книге поучений»:

«Как часто бывало, что имение, собранное усердием родителей, оказывалось пагубным для детей, побуждая их преступать заветы добра, впадать в излишества, несовместимые с нашим религиозным учением, и пускаться в предприятия, наносившие непоправимый вред их земному существованию, не говоря уже о полном забвении великого дела спасения души».

И еще:

«Кто будет богат, тот впадет в соблазны и искушения и, уклонившись от правой веры, навлечет на себя многие горести».

Эти знакомые слова приобрели теперь новое значение и словно бы призывали к каким-то решительным действиям.

Через неделю после похорон Стюарта Солон поехал в Филадельфию. Он шел по Маркет-стрит пешком, и когда впереди обрисовалось величественное здание Торгово-строительного банка, он вспомнил, как на первых порах его деятельности банк представлялся ему чуть ли не храмом. Сбережение и приумножение имущества было тогда в его глазах естественным и полезным занятием человека. Ему казалось, что наживать деньги и использовать их на добрые дела, на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, похвально и высоконравственно. Сберегать данное тебе, растить и воспитывать детей, помогать тем, кто менее удачлив или менее предусмотрителен, чем ты, — разве не значит это жить по заветам христианства? А поскольку заветы христианства — божьи заветы, значит, накопляя имение и распоряжаясь им разумно, бережливо, к пользе других людей, ты тем самым служишь богу. Отсюда следовал вывод, что для такого служения, для того, чтобы управлять денежным и иным имуществом, необходимы солидные организации вроде Торгово-строительного банка и те, кто руководит этими организациями, являются в некотором роде духовными пастырями народа. Но... Уилкерсон, Бэйкер, Сэй, Эверард, Сэйблуорс... эти люди — духовные пастыри народа?

Быть может, так далеко он не заходил в своих мыслях; но от одной части этого рассуждения очень легко было перейти к другой. Так или иначе, когда Солон Барнс в этот день явился в банк, его решение было принято, и для колебаний не оставалось места.

Первым делом он направился к себе в кабинет, намереваясь заняться составлением объяснительной записки ко всем делам, которая помогла бы его будущему преемнику быстрей в них разобраться; после этого он рассчитывал принять участие в очередном заседании правления, назначенном, как он знал, именно на этот день. По дороге он повстречал нескольких своих подчиненных; все они здоровались с ним как-то смущенно и нерешительно, а его ближайший помощник при виде его пришел в такое замешательство, что Солон сразу понял, какую широкую и печальную известность получила разыгравшаяся в его семье драма.

Он отворил дверь в комнату правления и остановился на пороге. Все дружно поднялись приветствовать его, почтительно удивляясь твердости духа, которую он проявил, вернувшись к работе спустя такой короткий срок. Но в суровом выражении его бледного лица было что-то смутившее их. Они смотрели на этого рослого, статного человека с круглой, красиво посаженной головой и строгими иссиня-серыми глазами, и он, как всегда, казался им воплощением надежности и нравственной чистоты. Они привыкли видеть в нем оплот старого, лучшего порядка вещей — человека, оставшегося глубоко равнодушным к той неистовой погоне за наживой, которая увлекла и закружила их всех.

Однако сейчас в нем появилось нечто новое. Он стоял перед ними осунувшийся и постаревший, но проникнутый какой-то железной решимостью, ранее ему несвойственной. Он поднял правую руку, словно желая остановить всякие изъявления вежливого сочувствия и требуя полного внимания к своим словам, и начал:

— Джентльмены, я пришел сюда сегодня прежде всего для того, чтобы объявить вам о своем намерении покинуть пост казначея этого банка.

На всех лицах появилось удивленное, недоумевающее выражение.

— Я предвидел, что вы будете удивлены, — продолжал он, — и, вероятно, пожелаете получить некоторые разъяснения, и я готов дать их. Причины, побуждающие меня уйти в отставку, не имеют ничего общего с теми тяжелыми переживаниями, которые выпали на мою долю и на долю моих близких. Это причины совсем иного свойства. Уже очень давно я собирался поговорить с вами так, как говорю сейчас. С тех пор как умер Эзра Скидмор, наши банковские порядки, особенно в деле выдачи ссуд, настолько изменились к худшему, что я считаю своим долгом заявить против этого решительный протест, — имея в виду не свои личные интересы, а интересы всех вкладчиков и акционеров.

Как тебе известно, мистер Эверард, — он кивнул в сторону главного бухгалтера, — да и все остальные директора это знают, — я не раз указывал на то, что наши кредитные операции ведутся в масштабах, которые угрожают благополучию банка, и что некоторым клиентам оказывается необоснованное предпочтение, и ссуды выдаются им без должной проверки их кредитоспособности и надежности представленного ими обеспечения. Но все вы также знаете, что к моему мнению не

прислушивались, и в результате дело дошло до того, что месяц тому назад Торгово-строительный банк чуть было не приостановил платежи.

Директора переглянулись, но никто не сказал ни слова. Солон повременил немного, затем продолжал:

— Я хочу сказать вам, что это я сообщил о положении дел в государственное казначейство. И считаю, что поступил совершенно правильно. Торгово-строительный банк — старая и почтенная фирма, и не годится рисковать ее репутацией ради выгоды нескольких людей, которых не пугает перспектива довести дело до краха и заставить мелких вкладчиков расплачиваться за то, что, по существу, является не чем иным, как преступной спекуляцией. Совесть моя повелела мне оградить интересы этих мелких вкладчиков.

— Помилуйте, мистер Барнс, — вмешался Уилкерсон, беспокойно ерзая в кресле всей своей тушей. — В книгах банка не числится ни одной непогашенной ссуды, которая не была бы обеспечена солидными ценностями, — вы легко можете это проверить.

— Охотно верю, мистер Уилкерсон, потому что правительственная ревизия заставила банк потребовать дополнительных обеспечений. Но я не желаю еще раз столкнуться с таким положением, какое возникло месяц тому назад. Кроме того, я лично не стремлюсь нажить капитал и потому не вижу смысла в том, чтобы продолжать свою работу в области финансов.

Директора, застигнутые врасплох этим неожиданным и резким выступлением, продолжали недоуменно переглядываться. Наконец Бэйкер, вытерев пот со лба, попробовал дать отпор:

— Вы, как видно, не представляете себе, мистер Барнс, что такая система ведения дел, как у нас, принята во многих банках страны. Я состою в правлении еще нескольких крупных банков, и мне это хорошо известно. Могу вас заверить, что опасность краха угрожает Торгово-строительному банку не больше, чем государственному казначейству.

— Но тем не менее, мистер Бэйкер, — возразил Солон, — именно государственному казначейству пришлось восстанавливать нашу платежеспособность. А если другие банки придерживаются той же финансовой политики, которой за последнее время придерживался наш, я убежден, что дело кончится финансовой катастрофой для всей страны. Это уже бывало раньше и легко может случиться опять.

Прочие члены правления сидели молча; вероятно, многие из них были возмущены Солоном, но, помня о его недавнем несчастье, не решались обрушиться на него. Эверард, которого с ним связывали многие годы совместной работы, испытывал даже некоторые угрызения совести. Он усиленно подыскивал слова, которые помогли бы разрядить атмосферу, но Солон заговорил снова:

— Я, как вы знаете, квакер, а наше религиозное учение не одобряет того бешенства наживы, которое сейчас овладело многими людьми. Да, многих, слишком многих развратила эта жажда наживы. Быть может, отдельному человеку трудно что-либо сделать против этого, но я по крайней мере могу сделать одно: отказаться от участия в том, что я считаю безнравственным.

В комнате водворилось гробовое молчание.

— Джентльмены, — заключил Солон свою речь. — На моем письменном столе вы найдете объяснительную записку к тем делам моего отдела, которые остались незаконченными. Если потребуются какие-нибудь дополнительные справки, пожалуйста, не стесняясь, обращайтесь ко мне в любое время. А теперь — прошу извинить меня...

С этими словами он откланялся и, выйдя из комнаты, затворил за собою дверь. Тотчас же поднялся шум.

— Он сошел с ума! — закричал Уилкерсон.

— Это семейная драма на него так подействовала, — сказал Бэйкер.

— И немудрено, — газеты раструбили об этом по всей стране, — заметил Сэй. — Мне лично его очень жаль.

— У него попросту нервное переутомление; он правильно делает, что уходит, — сказал Бэйкер, и Уилкерсон тут же поспешил согласиться с ним.

— Да, так, пожалуй, лучше, — подтвердил он, — хотя можно сказать наперед, что другого такого казначея нам не найти.

— И собственно говоря, он во многом прав, — сказал Эверард, несколько взволнованный теми обвинениями, которые Солон бросил им всем. — Беда только в том, что его нравственные принципы чересчур строги для нашего времени...

ГЛАВА LXII

Меж тем для Этты минувший год был годом осуществления всех ее надежд и желаний. В Уилларде Кейне она нашла то, о чем мечтала, — чуткого возлюбленного, в ком любое ее настроение, любая прихоть души находили отклик и понимание. Время шло, и, встречаясь с ним почти каждый день, она привыкла связывать с ним все свои мысли. Правда, она продолжала посещать университет — хотя отдавала занятиям все меньше и меньше времени — и удерживала за собой комнату, которую делила с Волидой: инстинкт подсказывал ей, что в отношениях с Кейном лучше сохранять известную независимость. С первых же дней она дала себе слово никогда не мешать его работе, потому что художник, страстно преданный искусству, не терпел никаких вторжений в свою творческую жизнь.

Но в то же время его трогало и увлекало горячее стремление Этты поближе узнать тот мир, который был его миром; он охотно проводил с ней многие часы, объясняя значение цвета, композиции, рисунка или обсуждая достоинства той или иной живописной техники, и эти беседы придавали их отношениям особую утонченную прелесть.

Этта была наделена от природы большой силой чувственного воображения; оно впервые пробудилось в ней под впечатлением тех книг, которые так потрясли и возмутили ее отца, но лишь теперь оно обрело простор. Кейн, красивый, физически привлекательный, был близок ей и по душевному складу, и ей казалось, что, наконец, она узнала совершенную любовь. Ни одну из героинь Дюма, Бальзака, Доде не любили так страстно, как ее! Вся обстановка мастерской поддерживала и усиливала в ней жажду любви: этюды обнаженного тела, развешанные по стенам, античный торс (копия в натуральную величину) той совершенной красоты, которая выше чувственных желаний. Однажды, когда любовник сказал ей, что ее тело прекраснее этой греческой статуи, ей вспомнились строчки из Доде, которые так взволновали ее прошлым летом в Торнбро:

Я крови сердца не жалел, чтоб жизнь вдохнуть

В холодный мрамор тела твоего, Сафо...

Однако именно стремление Этты к такой всепоглощающей любви стало со временем тревожить Кейна. До того, как она вошла в его жизнь, художник был совершенно чужд больших и глубоких чувств. Искусство целиком заполняло его, не оставляя места ни для чего другого, и он твердо решил не связывать себя никогда и ничем. Но вот прошло несколько месяцев его близости с Эттой, и мало-помалу он начал терять ощущение такой эстетической целеустремленности, потому что любовь проникла во все уголки его существа.

Их взаимное физическое влечение, вместо того чтобы пойти на убыль, с каждым днем словно становилось сильнее, поглощая все больше внутренних сил и мешая Кейну сосредоточиться на новых творческих замыслах. Так, например, еще до появления Этты у него были задуманы некоторые работы, требовавшие другой натуры, но сейчас ему не хотелось эту другую натуру искать. Кроме того, для окончания одного пейзажа, который давно уже занимал его воображение, необходимо было предпринять путешествие в Западные штаты. Кейн чувствовал, что телесная и душевная красота Этты заполнила его чересчур властно, что она отвлекает его от всего остального, — и понемногу он пришел к мысли, что нужно что-то изменить в их отношениях, быть может, даже, как это ни больно, положить им конец.

Приняв такое решение, он постарался исподволь приучить Этту к сознанию его необходимости. То слово, то намек, то оброненный вскользь совет не пренебрегать университетскими занятиями — и очень скоро чутье подсказало девушке, что ее мечтам о прочном союзе с Кейном суждено рассыпаться в прах. Но он был слишком дорог Этте, и ей хотелось, чтобы страшная догадка как можно дольше оставалась только догадкой. Мысль о разлуке с ним казалась непереносимой, и все же в глубине души она знала, что если ее подозрения оправдаются, она сама настоит на этой разлуке, потому что любила его и дорожила его счастьем больше, чем своим.

Как-то раз Кейн заговорил о письме, которое он получил от музея живописи одного из западных городов. В письме шла речь о давно уже заказанной ему картине на сюжет из жизни американских пионеров. Картина должна появиться на осенней выставке, где будет большой отдел пейзажной живописи. Но эта работа требует времени и одиночества, чтобы ничто не отвлекало внимания; кроме того, придется выехать на натуру в Западные штаты, и как можно скорее. Этта слушала и холодела, понимая, что неотвратимое должно свершиться.

Прошло несколько недель, и настал день отъезда. Этта сидела в мастерской и смотрела, как Кейн укладывает чемоданы. Близился час расставания, но Кейн почти не испытывал облегчения от этой мысли; любовь Этты открыла перед ним такие глубины чувства, каких он прежде не знал. И сейчас, в ту самую минуту, когда он высвобождался из пут, созданных этой любовью, Этта в своей юной красоте показалась ему желанной, как никогда. Чисто физическая прелесть так неуловимо переплеталась в ней с утонченным духовным обаянием, что Кейн, впервые за все время, вдруг усомнился — да сможет ли он

когда-нибудь полностью освободиться от этого обаяния и, главное, захочет ли? Быть может, образ Этты будет неотступно витать над ним и там, в той долине, которую ему так хотелось написать?

Все эти мысли проносились у него в голове, пока он топтался по мастерской, заканчивая свои сборы; и вот наконец все уже было готово, оставалось проститься с Эттой. Она сидела неподвижно, и только глаза ее скользили по комнате, где все было так знакомо, — подмостки, на которых она столько раз позировала ему, вид из окна на городские крыши, напоминавший ей тот день, когда она впервые пришла сюда. Вот здесь, за этим столиком, они часто отдыхали после сеансов, потягивая кофе из маленьких чашечек. В памяти оживали все прекрасные часы, которые они провели здесь вдвоем. Теперь она опять останется одна, совсем одна со своими мыслями и чувствами. Ибо с кем после Кейна сможет или захочет она разделить их? Ни с кем.

Он подошел и крепко прижал ее к груди в прощальном объятии.

— Этта, любимая, лучшие часы в моей жизни те, которые я провел с тобой. Ведь ты это знаешь, правда? Ты была для меня не только источником вдохновения, ты давала мне силу творить. Никогда я не относился к искусству так серьезно, как со времени нашей встречи. Когда я с тобой, мне всегда хочется писать лучше и лучше.

Ее удивило это признание; если все в его словах правда, зачем же он покидает ее, не оставляя ей не только уверенности, но даже надежды, что когда-нибудь они снова будут вместе? Но это было так.

Еще несколько секунд длилось объятие. Потом зазвонил звонок, извещая, что заказанное такси уже у подъезда, — и они оторвались друг от друга. С порога он оглянулся, еще раз прошептал: «Любимая!» И в следующее мгновение его уже не было.

ГЛАВА LXIII

В дни, когда Этту особенно томила тоска, овладевшая ею после отъезда Кейна, газеты вдруг принесли ошеломляющую весть о преступлении, которое якобы совершил Стюарт, и об его аресте. Этта была потрясена до глубины души. Как, ее любимый брат обвинен в изнасиловании, даже в убийстве, и жертва — молоденькая девушка, которой, видно, как и ей, Этте, хотелось скорее познать жизнь! Но ведь это означает, что Стюарту грозят тяжкие страдания и в конце концов гибель, а на всю семью ляжет несмываемое пятно позора.

Мысли вихрем закружились у нее в голове. Что будет с отцом при его религиозных убеждениях? С матерью, так неизбывно любящей всех своих детей, с Орвилом, насквозь пропитанным условностями и предрассудками, с Доротеей, которая чуть не на завтра после замужества очутилась перед лицом такого скандала в родной семье! А бедная, одинокая Айсобел, и так уже достаточно обделенная жизнью, не знавшая ни любви, ни счастья, — что, если из-за огласки, которую получила эта страшная история, ей придется оставить свою скромную педагогическую работу!

Мятущееся воображение Этты завело ее так далеко, что она уже готова была отчасти винить в случившемся себя: разве не она первая взбунтовалась против воли родителей и тем показала пример младшему брату?

На следующее утро она прочла в газетах о самоубийстве Стюарта, и тогда, в первый раз в жизни, она упала на колени и зарыдала.

В довершение всего пришла телеграмма от Айсобел, настаивавшей, чтобы она приехала на похороны. Но Этта не нашла в себе мужества вернуться к родителям в такой тяжелый для них час. Как она взглянет в глаза матери после того разговора в Нью-Йорке, когда она уверяла, что в ее отношениях с Уиллардом Кейном нет ничего дурного? Она во всем обманула их доверие и должна оставаться одна, отвергнутая и позабытая.

Первое время после отъезда Кейна Волида не придавала особого значения переживаниям Этты. Втайне она даже считала, что все к лучшему. Ничто теперь не будет мешать Этте сосредоточиться на занятиях, которые та запустила за последнее время. Но когда она увидела, что дни идут, а Этта тоскует все больше и больше, она поняла, что разлука с возлюбленным едва ли поможет подруге вернуться к прерванному учению. Она попыталась развлечь ее: водила в театры, на концерты, в рестораны, где собиралась занятная публика, но Этта, казалось, утратила свой жадный интерес к жизни.

Потом пришло известие о трагическом конце Стюарта, и, видя страдания Этты, Волида решила, что, пожалуй, лучше всего ей будет уехать домой. С такой, как она сейчас, растерявшейся, глубоко несчастной, бессмысленно было вести разговоры о работе. Да и не для работы, а для любви и семейной жизни была создана Этта.

— Не знаю, что бы со мною стало, если б не ты, — сказала как-то Этта в ответ на ласковые старания Волиды утешить ее. Но Волида понимала, что ей уже не найти доступа к душе Этты; слишком та опередила ее в любви и в скорби. Эти месяцы жизни в

Нью-Йорке породили невольное отчуждение между подругами; обе стали взрослыми, но по-разному. Волида шла избранной ею дорогой профессиональной карьеры, а Этта — сложными и извилистыми путями, делающими женщину женщиной.

И хотя Волида знала, что будет скучать без Этты, она не боялась остаться одна. Ее будущее в Нью-Йорке казалось обеспеченным — на летние месяцы ей обещали работу в одной газете, тогда как перед Эттой не вырисовывалось пока никаких перспектив. Кроме того, Этта все время находилась в подавленном, тяжелом настроении, которое могло отразиться на ее здоровье. И потому Волида стала уговаривать подругу вернуться домой, доказывая, что она в любое время может снова приехать и поселиться в их общей комнате, и уверяя, что их былая дружба — самое прекрасное, что только знала она, Волида, в своей трезвой, деловой жизни.

Письмо от Айсобел, в котором та пространно описывала похороны Стюарта и сообщала об уходе отца из банка, помогло Этте решиться.

«Ты даже не представляешь себе, как сейчас тяжело дома, — писала Айсобел. — Мама почти не встает с постели. Она очень слаба, и доктор подозревает, что у нее был небольшой удар. На отца невозможно смотреть без слез. Если бы ты приехала, было бы не так тоскливо. Вдвоем нам, может быть, удалось бы хоть немного отвлечь его от тяжелых мыслей и внушить какой-то интерес к домашним заботам. Есть множество мелочей, которыми он мог бы заняться в саду или на ферме, только бы вывести его из оцепенения — ведь он целые дни сидит и молчит.

Бояться тебе нечего, он теперь стал совсем другим человеком и ни на какую суровость не способен. Смерть Стюарта совершенно изменила его. Это уже не тот строгий отец, которого мы знали с детства.

Мне самой очень нужно, чтоб ты приехала. Мне нужно с кем-то поговорить обо всем, посоветоваться. Я очень боюсь, что мама долго не проживет. Если ты не приедешь, мне придется совсем отказаться от преподавания в колледже, а ты знаешь, что это для меня значит. Работа — единственная моя радость в жизни, единственное, что позволяет мне чувствовать себя человеком».

Спустя день или два после получения этого письма Этта собрала свои вещи, со слезами простилась с Волидой, смутно чувствуя, как ей будет недоставать поддержки этой деятельной натуры, и уехала в Даклу.

Когда экипаж, встретивший Этту на станции, въехал в ворота усадьбы, ее неожиданно охватило теплое, радостное чувство. До чего же хорош родной дом, несмотря ни на что, думала она, эта трава, эти цветы и деревья, эта широкая лужайка, тихие струи Левер-крика вдали. От волнения у нее так захватило дух, что, увидя Айсобел, улыбавшуюся ей с крыльца, она не могла вымолвить ни слова. Но в следующий миг она кинулась на шею сестре, и они крепко обнялись.

— Как мама? — спросила Этта.

Айсобел приложила палец к губам.

— Мама сегодня особенно слаба. Постарайся не волновать ее. Она у себя, наверху.

Вдвоем они поднялись по лестнице и вошли в тихую комнату с серыми стенами, где на кровати лежала Бенишия, бледная и осунувшаяся, словно надломленная обрушившимся на нее горем. Этта взглянула — и тотчас же все, что прежде так давило, теснило, угнетало ее в этом доме, перестало существовать. Она почувствовала себя обласканной, согретой. Все, все здесь было ей близко, понятно, бесконечно дорого — отец, мать, Айсобел, Стюарт, даже Орвил и Доротея. С криком: «Мама, мама!» — она бросилась к матери, обхватила ее руками. «Девочка моя!» — донесся до нее еле слышный шепот. И Этта поняла, что мать простила ей все.

В ту же минуту ее неудержимо потянуло к отцу. Айсобел сказала, что он у себя в кабинете, один. Она сошла вниз, постучалась, услышала: «Войдите», — переступила порог и остановилась.

Перед ней был совсем новый, другой Солон, не тот, что грозно отчитывал ее за чтение романов или за кражу материнских драгоценностей; не тот, что поехал за ней в Висконсин и с жаром пытался доказать ошибочность избранного ею пути, а потом замкнулся в суровом молчании, словно предвидя ее печальную судьбу. Он поднял голову и посмотрел на нее. Но как непохож был этот взгляд на те, которыми сопровождались когда-то его упреки и обличения! Эти глаза! Куда девалась отражавшаяся в них сила морального убеждения, с высоты которого он судил обо всех явлениях жизни, в том числе и об ошибках собственных детей?

Французские книги Волиды! Разговор в Висконсине, когда он потребовал, чтобы она отдала ему квитанции на заложенные драгоценности матери! И вдруг в ее памяти ярко вспыхнула одна сказанная им при этом фраза: «Как ты могла ждать чего-нибудь хорошего от воровства?» Но где же тот ясный и строгий свет, что сиял тогда в его глазах? Теперь их как будто заволокло серой, туманящей зрение дымкой. Он не шевелился в своем кресле; но эти тусклые, словно слепые глаза были устремлены прямо на Этту.

— Отец! — вскричала она. — Прости меня, отец, я знаю, сколько горя я тебе причинила, но мне так нужно твое прощение и твоя любовь. Можешь ли ты простить меня?

Она по-прежнему стояла у двери, а он сидел в кресле все так же неподвижно и смотрел на нее. Минута прошла в молчании, потом он сказал:

— Дочка, не мне и не тебе судить или прощать кого бы то ни было; теперь я это знаю. Бог, только он один, может простить тебя. Молись же ему каждый час, как я молюсь.

Бесконечно растроганная его тоном и всем его видом, Этта подошла к нему, сдерживая подступавшие слезы.

— Отец, я вернулась, чтобы хоть чем-нибудь исправить зло, которое я нанесла. Я люблю тебя всем сердцем, и мне так хочется быть полезной тебе и маме.

Он повернулся к ней и взял ее руку.

— Это твой дом, дочка, и если ты хочешь остаться здесь, пусть будет так.

Она обняла его за шею и поцеловала, а он, словно в подкрепление своих слов, слегка сжал ее руку. И Этта почувствовала, что в эту минуту жизнь обрела для нее новый смысл. Ее родной дом! Ее отец и мать! Призрачные мечты, смущавшие их, детей! Да, она останется здесь и всеми силами постарается внести уют и радость в этот потерпевший крушение дом.

ГЛАВА LXIV

Но, несмотря на все заботы близких, спустя десять дней после возвращения Этты в Торнбро у Бенишии повторился удар, и она умерла. Слишком тяжело отразилась на ней гибель Стюарта; она беспрестанно думала о нем, о том, какой он был живой, веселый, порывистый, вспоминала его бурный юношеский расцвет, так жестоко оборванный смертью, и эти мучительные воспоминания окончательно надломили ее нервную систему. Изнеженная с детских лет сперва лаской и заботой родителей, а потом своим безмятежным супружеским счастьем, она оказалась не в силах справиться с тяжелым потрясением, выпавшим на ее долю. И Этта с Айсобел в конце концов даже решили, что это лучше, чем если бы она осталась жить, разбитая параличом.

Что касается Солона, то он так много молился о Бенишии, так привык жить этими молитвами, постоянно обращаясь за руководством к Внутреннему свету, что в ее смерти он увидел лишь переход в лучший мир, где ее ждали радость и утешение, которых он уже не мог ей дать. Его горячо любимая жена! Вместе они изведали все глубины человеческого страдания, зато теперь она избавилась от земных тягот и находится перед престолом того, кто вечен и неизменен!

Так думал Солон, но в ушах у него, точно глухие удары колокола или мерное тиканье старинных часов, все время отдавались эти два имени: Стюарт — Бенишия, Стюарт — Бенишия, и утомленное сознание искало выхода в молитве: «Да свершится воля твоя...»

В первые дни после смерти Бенишии Айсобел и Этта всячески старались выказать Солону свою любовь и нежность и дать ему почувствовать, что жизнь в доме идет почти так же, как шла до сих пор. Вдвоем или поодиночке они гуляли с ним в саду, по дорожке, ведущей к каретному сараю, или по тропинкам, вьющимся вдоль берега Левер-крика. Цветы, деревья, зеленые лозы отражались в спокойной воде. Солон понимал, что вся эта красота, так радовавшая всегда Бенишию, должна радовать и его; но оттого, что ее не было рядом, прекрасное уже не казалось ему прекрасным. Она так любила и деревья, и цветы, и эти тропинки над Левер-криком, а теперь... — И часто он поворачивал и шел домой, если только одна из дочерей, заметив это, не окликала его и не заставляла вернуться.



Мысли, мысли его! Они были не здесь, они уносили его к ней, к тем светлым дням, когда еще не сломили их обоих тяжкие несчастья. Этта и Айсобел надеялись, что движение, созерцание красот природы укрепит и подбодрит его, но, видя, как он отворачивается от прекрасных картин, к которым они старались привлечь его внимание, они теряли эту надежду. И обе страдали не меньше, чем он, — быть может, даже больше. Их изумляла та покорность судьбе, которая, казалось, постепенно овладевала им. То одна, то другая подмечала на его лице выражение, позволявшее думать, что он обрел какой-то глубокий покой, — такие лица можно увидеть в молитвенном собрании, когда верующие, в сосредоточенном безмолвии, ожидают вдохновения свыше. И как никогда ранее, они чувствовали, что Внутренний свет существует и что это он помогает их отцу преодолевать тяжкое горе.

Как-то раз, гуляя по берегу Левер-крика, Солон стал приглядываться ко всевозможным растениям и насекомым, как видно созданным и пробужденным к жизни той самой животворящей силой, которая сотворила все сущее на земле в его бесконечном разнообразии красок и форм. И вот у одного растения с длинным, чуть не в четыре фута стеблем он заметил небольшой бутон, готовый вот-вот распуститься, а на бутоне сидела и объедала его зеленая муха необыкновенно изящного строения и раскраски, с прозрачными крылышками, делавшими ее похожей на изумруд, — только переливы оттенков в ней были более теплыми и нежными. Зеленый изумруд, думал Солон, разглядывая муху, — всего лишь твердый, неизменный в своей форме камень, а это

насекомое беспрестанно меняет форму, стоит ему только пошевелить лапками, крылышками или головой. Оно усердно насыщается, но в то же время следит за тем, что происходит вокруг; такая сложность поведения поразила Солона, впервые наблюдавшего это, — ни разу до сих пор, ни на окрестных полях, ни на лугах своей усадьбы, не случалось ему видеть подобной зеленой мухи. И более того: следя за ней сейчас, он пришел в восхищение не только от ее красоты, но и от той мудрости и совершенного мастерства, которые были вложены творцом в создание этого живого самоцвета.

Но почему же прелестное существо, пленившее его своим изяществом, должно питаться соками другого живого существа, прекрасного цветка? Ведь, объедая бутон, оно губит цветок, а растение даже не может защищаться. Кто же должен остаться в живых — муха, растение или оба? Все эти думы так захватили Солона, что внимательнейшим образом рассмотрев растение и муху, он стал искать вокруг себя другие подобные чудеса. Он всматривался в воду, где шныряли разные мелкие рыбешки; таких же точно много лет назад он вылавливал сачком для юной Бенишии, ушедшей теперь к тем таинственным силам, о которых он здесь размышлял. В ветвях деревьев щебетали птицы, а над кустом порхал мотылек, — еще недавно он был неподвижной куклой, но и ему суждено жить, и страдать, и даже летать по воздуху, подобно крылатому цветку, хотя бы одно короткое лето.

Солон продолжал свои наблюдения. Его взгляд привлекала то былинка, то стебель ползучего растения, то цветочек, такой же непостижимый в своей прелести, как давешняя зеленая муха; и мало-помалу чувство глубокого благоговения охватило его. Да, существует некая божественная созидательная сила, и все в природе, прекрасное и трагическое, имеет свой смысл. Ведь вот, разыгралась же в его жизни трагедия, а он верил и будет верить и впредь.

И, возвратившись мыслью к Бенишии, он стал молиться этому великому созидательному началу, испрашивая покой ее душе.

Как-то в другой раз Солон гулял по саду один, а Этта и Айсобел следили за ним из окна столовой. Вдруг он остановился и круто свернул в сторону, привлеченный чем-то, чего они не могли увидеть. Сестры удивились: давно уже не случалось отцу двигаться так быстро и энергично. Он сделал три или четыре шага влево, остановился, сделал еще три или четыре шага вперед, снова остановился, и они заметили, что он шевелит губами, словно разговаривая с кем-то. Когда он вернулся домой, Айсобел спросила:

— Что ты такое увидел в траве, отец, что так заинтересовало тебя? Нам даже показалось, будто ты с кем-то разговаривал.

— Дочка, — ответил Солон, — я сейчас узнал о жизни и о боге то, чего никогда не знал. В траве полз уж, и хоть я знаю, что это существо безвредное, но при виде его я невольно ощутил страх, потому что ужи этой породы, если их испугать, вытягивают вверх голову и раздувают шею точь-в-точь как ядовитая индийская кобра. Но все же я решил заговорить с ним. Я знаю, что он безвреден, сказал я ему, и не стану его трогать, пусть себе ползет, куда хочет. И тотчас же его шея приняла свой обычный вид, голова опустилась, и он пополз дальше. Тут мне захотелось посмотреть, какой он длины; я пошел было за ним, но он сразу опять поднял голову и стал раздуваться, как кобра. Тогда я снова заговорил с ним, уверяя, что не хочу ему зла и не собираюсь за ним гнаться. Сказав это, я вернулся на прежнее место и остановился: мне хотелось посмотреть, как он уползет. И вдруг он повернул и двинулся прямо ко мне. Он прополз так близко, что задел носок моего башмака.

—— Удивительно! — воскликнула Этта.

— Дочка, я теперь понял, как мало мы знаем о том великом и бесконечном, частицей чего является каждый из нас, — понял и то, что, кроме языков, известных людям, есть на свете другие языки.

— Что ты хочешь сказать, отец? — спросила Айсобел.

— Я хочу сказать, что язык добра понятен всем живым существам, и потому этот уж понял меня, как и я его. Он не хотел причинить мне вреда, он просто испугался. А я подошел к нему не только с добрыми намерениями, но и с любовью, и, поняв это, он перестал бояться и подполз ко мне так близко, что коснулся моего башмака. И я благодарен богу, явившему мне доказательства того, что он вездесущ и добр ко всему живому, к каждой твари своей. Ибо разве я и этот уж поняли бы друг друга, если бы мы оба не были частицами божьего мира?

— Скажи мне, отец, ты всегда воспринимал природу так? — спросила Этта

— Нет, дочка, до недавнего времени я о многом думал совсем иначе, чем думаю теперь. Многого я не понимал, хотя мне казалось, что понимаю. Господь научил меня смирению и в милосердии своем открыл мне глаза на то, чего я не видел раньше. Теперь я знаю, что ко всякому божьему творению нужно относиться с любовью.

— Отец, дорогой... — начала было Этта, но, потрясенная глубокой человечностью этого признания, не могла продолжать. Поддерживая отца, она вместе с Айсобел помогла ему подняться в его комнату.

Видя, что в Солоне проснулся интерес к парку и к усадьбе, Айсобел и Этта решили, что, может быть, он захочет вернуться и к своим религиозным обязанностям, и в ближайший День первый осторожно предложили ему поехать в молитвенный дом — конечно, вместе с ними.

Он подумал, что дух искупления, царящий в молитвенном собрании, может благотворно подействовать на Этту, и, чувствуя себя уже достаточно окрепшим, чтобы не бояться неминуемых разговоров и расспросов, — тем более что присутствие обеих дочерей будет служить ему поддержкой, — согласился.

Когда экипаж, которым правил старый Джозеф, остановился перед даклинским молитвенным домом, в группе, стоявшей у входа, произошло едва заметное движение, и оно тут же передалось другим членам общины, уже успевшим занять свои места. Осия Горм, увидя Солона на пороге, тотчас встал, пошел ему навстречу и, взяв его за руку, повел за собою к возвышению, где сидели старейшины; и Солон, немного смущенный таким почетом, в то же время почувствовал глубокую признательность к собратьям по общине, оказавшим ему этот почет.

Наступило молчание, казавшееся сегодня особенно торжественным. Из всех квакеров, находившихся в зале, меньше всех был расположен взять слово для проповеди Солон Барнс. Но сердце его вдруг так переполнилось чувством благодарности за возвращение Этты, за любовь и заботу обеих дочерей, за все милости, ниспосланные ему творцом в эту страшную пору его жизни, что он, сам того не ожидая, встал и произнес:

— Твердого духом ты хранишь в совершенном мире; ибо на тебя уповает он.

Прошло еще несколько недель, и силы Солона, физические и душевные, казалось, восстановились настолько, что дочери почти перестали за него опасаться. Лето подходило к концу, и Этта, думая об Айсобел, обо всех испытаниях, через которые ей пришлось пройти прежде, чем она достигла своего нынешнего положения, решила уговорить ее вернуться к осеннему семестру в Льевеллин. Она считала своей обязанностью взять на себя бремя хозяйства и освободить сестру, чтобы та могла продолжать педагогическую работу, хоть немного скрашивавшую ее унылое существование.

Накануне отъезда Айсобел, дождавшись, когда Солон ляжет спать, сестры вышли побродить в вечернем сумраке по дорожкам над Левер-криком. Они шли рука об руку; эти последние месяцы очень сблизили их.

Разговор неожиданно начала Айсобел:

— Я скажу тебе, Этта, отчего мне особенно хочется вернуться в Льевеллин. Во-первых, меня там ждут две студентки, с которыми я отдельно должна заниматься этой осенью, а во-вторых, — она немного замялась, — во-вторых, профессор, у которого я работаю ассистенткой, рассчитывает на мое возвращение, а для меня так много значит его дружба. — И, поймав удивленный взгляд Этты, она поспешно продолжала: — Ты не думай, это не любовь и даже не ухаживание, просто он ко мне очень хорошо относится, доверяет мне настолько, что иногда поручает читать за него лекции, если он слишком занят исследовательской работой. Ах, если б ты знала, какой это интересный человек и как он добр ко мне! Иногда вечером мы выходим погулять вдвоем; я очень дорожу этими прогулками — ведь у меня так мало настоящих друзей.

Что-то в ее голосе взволновало Этту. Она невольно сравнила скудные желания и убогие радости сестры с той полнотой чувств, которую привелось испытать ей.

Но тут же ей стало стыдно. Она вспомнила, с каким пренебрежением относились всегда к Айсобел не только чужие, но даже братья и сестры, более щедро одаренные судьбой. Орвил и Доротея никогда не любили ее и не интересовались ею; Доротея даже доставила ей немало страданий, потому что всякий раз, когда младшая сестра появлялась там, где училась старшая, — в Ред-Килне, в Окволде, в Льевеллине, — ее красота и успех среди сверстниц еще сильней подчеркивали непривлекательность и одиночество Айсобел, и сама Айсобел видела это лучше других. Что касается Этты и Стюарта, то они были настолько моложе, что попросту не замечали старшей сестры, считая ее чем-то вроде мебели в доме.

Таким образом, Этта только теперь, в это тяжелое для семьи время, по-настоящему узнала Айсобел и, к немалому своему удивлению, обнаружила в ней чуткую, отзывчивую душу. Как сильно она отличалась от Волиды, например, — никогда не вылезала вперед, не стремилась командовать, напротив, всегда старалась стушеваться, отойти в тень, как будто ее природный ум и годы бескорыстного труда не имели никакой цены. А между тем, что принесла ей жизнь? Ничего, кроме труда и готовности отдавать себя целиком — сначала дому и учению, потом своим студенткам в колледже и, наконец, теперь отцу. И как это несправедливо, думала Этта, что Айсобел с ее нежной душой так мало видела счастья. Все потому, что она некрасива. Хоть бы ей встретить хорошего человека, который сумел бы оценить ее внутренние достоинства.

— Расскажи мне еще об этом профессоре, — попросила Этта

— Он не красавец, но в нем столько ума, тонкости, уменья разбираться в жизни! Со мной он всегда охотно советуется по разным вопросам, связанным с его работой, но что касается любви, брака — не думаю, чтобы я интересовала его с такой стороны.

И Этта заметила, как при последних словах по лицу Айсобел прошла тень.

За разговором сестры незаметно подошли к дому, где уже были погашены огни, и, поцеловавшись на прощанье, разошлись по своим комнатам, согретые взаимной любовью и пониманием. На следующий день Айсобел уехала в Льевеллин, и Этта, многое почерпнувшая из беседы с более счастливой теперь сестрой, осталась с отцом одна.

ГЛАВА LXV

Чистое и непорочное благочестие перед богом и отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.

Как любовно ни заботилась Этта об отце, здоровье его после отъезда Айсобел становилось все хуже и хуже. Он теперь всегда был вялый, сонный, время от времени жаловался на боли. Ежедневные прогулки пришлось прекратить, и в конце концов Этта решила посоветоваться с врачом. Ее беспокоила мысль, что не нравственные страдания подтачивают силы Солона, а какая-то болезнь, быть может, гораздо более опасная, чем можно предположить. И эти опасения подтвердились. Приглашенный ею врач, пользовавшийся известностью в округе, внимательно осмотрел больного, а потом отвел Этту в сторону и сказал, что, по его мнению, у Солона рак; и, возможно, тяжелые переживания, связанные со смертью Стюарта и Бенишии, ускорили процесс.

Доктор посоветовал Этте не говорить Солону правды; все равно никакая операция тут не поможет, и болеть ему, вероятно, придется недолго. Лучше, напротив, по возможности скрасить остаток его жизни; пусть он не лежит, а ходит, пока силы позволяют, пусть у него бывают люди, тем более что собратья по общине с искренним участием относятся к его незаслуженным бедствиям, и многие просили разрешения навестить его.

Весть о том, что Солон Барнс серьезно болен, быстро разнеслась среди местных квакеров, не говоря уже о родне Барнсов и Уоллинов, хотя никто не знал точно, что у него за болезнь. Один за другим перебывали в Торнбро все старейшины и духовные руководители даклинской общины. Все они выражали свое сочувствие и заботу, советовали искать помощи и утешения у Внутреннего света и ссылались на случаи чудесного исцеления, описанные в дневниках Джорджа Фокса и Джона Вулмэна, а также и у других квакеров первых поколений, причем выражали даже готовность процитировать наизусть соответствующие места.

Однажды в День первый, поскольку Солон уже не мог посещать молитвенные собрания, несколько старейшин собрались в просторной гостиной Торнбро. И вот, воспользовавшись минутой молчания, наступившей, когда посетители уже собирались распрощаться, Осия Горм, один из самых старых друзей Солона, вдруг опустился на колени посреди комнаты.

Молитве вслух всегда придавалось и придается у квакеров особое значение. К ней прибегают в исключительных случаях, когда внутреннее побуждение настолько сильно, что ему невозможно противиться. Если во время молитвенного собрания один из присутствующих опускается на колени, — что бывает не всегда, — остальные тотчас же обнажают головы (обычно до этого момента все сидят в шляпах), поднимаются со своих мест и стоят в торжественном молчании, пока их коленопреклоненный собрат взывает к богу, как бы от имени всей конгрегации. Вот и теперь, как только Горм опустился на колени, все, включая Солона, встали и, склонив головы, слушали его молитву.

— Господи, поддержи слугу твоего, Солона Барнса, который в течение многих лет помогал неимущим и утешал страждущих из нашей среды. Снизойди к нему в его горе и немощи и укрепи его силы. Мы помним слова одного из детей твоих, Джона Крукса, сказавшего: «Отец небесный — пристанище мое, и в нем черпаю утешение, которое проникает мне в плоть и кровь»... Не будем же печалиться в сердцах наших и унывать, ибо ничто не бывает без соизволения божьего, а господь в неисповедимой своей мудрости ведает, что есть благо для того, кто и при самых тяжких испытаниях остается верен любви к всевышнему и в ней обретает силу. Аминь.

Постояв еще с минуту молча на коленях, Горм поднялся и присоединился к другим старейшинам, которые были взволнованы не меньше, чем в молитвенном собрании, когда Внутренний свет озаряет их души. Не говоря ни слова, все обменялись рукопожатиями, распрощались с Солоном и один за другим вышли из комнаты.

Приезжали в Торнбро также Орвил с женой и Доротея с мужем. Они давно уже отошли от квакерства и были равнодушны к тому, что отец остается верным его заветам. Но в конце концов это был их отец, и, не проявив к нему внимания, они могли

вызвать осуждающие толки, а потому сочли себя обязанными приехать. С другой стороны, нельзя было сбросить со счетов то обстоятельство, что Стюарт умер обвиненным в отвратительном преступлении; это набрасывало тень на их родной дом и косвенным образом на них самих. А тут еще Этта — правда, с ее присутствием в доме они решили примириться, в конце концов так для них же было удобнее. Но они заранее уговорились как можно меньше замечать это присутствие. Поэтому, прибыв в Торнбро, они лишь холодно кивнули Этте, вышедшей им навстречу, и тотчас же спросили: «Где отец?» — Услышав, что он у себя наверху, но что к нему можно пройти, они проследовали мимо, всем своим видом показывая крайнее пренебрежение к ней.

В спальне отца они невольно вели себя так, что было совершенно ясно, как мало трогает их и его болезнь и те тяжкие переживания, которые к ней привели. Им очень не понравилось то, что Солон так явно радовался присутствию Этты и ее заботам о нем. Он даже не пожелал, чтобы она вышла из комнаты на время их беседы, и то и дело обращался к ней с разными маленькими просьбами, тем самым удерживая ее около себя.

И Солон не мог не почувствовать, как далеки и чужды ему теперь эти двое его детей. Занятые своей жизнью, своим положением в обществе, они никогда не проявляли ни малейшего интереса к религии, которая для него была священна. Зато они с живейшим интересом относились к автомобильным поездкам, к пикникам в загородных клубах, ко всему круговороту балов, вечеров и других светских развлечений, составлявших основу той жизни, которую они избрали. О чем, кроме житейских пустяков, могли они говорить с ним? Почти ни о чем. И потому, после довольно натянутых сожалений по поводу его болезни и заверений в своей несуществующей любви, они поторопились покинуть Торнбро.

Совсем иначе выглядел приезд Роды Уоллин, явившейся узнать, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Рода успела горячо привязаться к младшим Барнсам и разделяла теперь их горе искреннее, чем кто-либо другой. Она очень близко приняла к сердцу трагедию Стюарта, в которой считала себя отчасти виновной, и это сроднило ее с Айсобел и с Эттой, а к Солону заставило отнестись с неподдельным восхищением. И вот теперь Солон медленно умирал, почти у нее на глазах, сохраняя мужество и душевный покой. Она стала часто бывать в Торнбро, внося в дом некоторое оживление, помогавшее приободриться Этте и даже самому больному. Однажды — то было одно из ее последних посещений — она приехала особенно оживленная; даже глубокое горе не могло угасить ее природной жизнерадостности.

— Этта, милочка! — воскликнула она, целуя племянницу. — Я просто потрясена тем, что ты оказалась такой замечательной дочерью. Ты даже не знаешь, как я люблю твоего отца, и тебя, и всех вас. К нему можно?

Мгновение спустя она уже входила в комнату Солона, сияя улыбкой.

— Друг Солон, — сказала она, первый раз за много лет употребив традиционное квакерское обращение. — У тебя сегодня совсем хороший вид! Ах, мне так хотелось бы чем-нибудь помочь тебе! Как хорошо, что Этта теперь с тобой — она такая прелесть!

Солон в ответ только ласково улыбнулся и кивнул головой.

— Послушай, Солон, может быть, у тебя есть какие-нибудь желания, касающиеся детей? Я от души готова им помочь всем, что только в моих силах, — право же, я люблю их так, словно это мои родные дети.

— Рода, ты знаешь, что я всегда рад тебя видеть. Ты мне была хорошим, верным другом. Если можешь, позаботься об Айсобел. Мне кажется, она очень одинока. Что до Этты, то в ней столько мужества и доброты, что я верю: она еще будет счастлива. Мое единственное желание — чтобы она научилась обращаться к Внутреннему свету за поддержкой и руководством. Вот если бы ты в этом помогла ей...

Тут голова его склонилась к плечу, и он как будто задремал.

ГЛАВА LXVI

Дни становились короче, а силы Солона все таяли и таяли; ему уже трудно было передвигаться, и он почти не покидал своей комнаты, большую часть времени проводя в постели. Этта не отходила от него, стараясь предупреждать малейшее его желание. Но порой она замечала, что разговор утомляет больного, и тогда она брала книгу или утреннюю газету и читала ему вслух. Нелегко было выбрать что-либо для чтения — он был так безучастен ко всему. Однажды, перебирая в гостиной немногие имевшиеся там книги, она увидела «Дневник» Джона Вулмэна и поспешила отнести его Солону.

— Смотри, отец, — сказала она, входя в комнату. — Вот эту книгу ты, по-моему, часто читал, когда мы были маленькие. Хочешь, я тебе почитаю из нее?

Он взглянул, и слабая улыбка осветила его изможденное лицо.

— Да, дочка, — сказал он, взяв томик из ее рук. — Это поистине замечательная книга. Почитай, я послушаю с удовольствием.

Этта начала читать, и с каждой страницей все отчетливей вырисовывался перед ней облик этого американского святого, который, начав жизнь портновским подмастерьем в нью-джерсийской деревушке, приобрел потом славу одного из ревностнейших поборников квакерского учения. Еще в 1746 году он предпринял в одиночку крестовый поход против рабства — объезжал квакерские общины Новой Англии, Нью-Джерси, Пенсильвании и даже Юга и повсюду бесстрашно вступал в споры с квакерами-рабовладельцами, доказывая, что рабство несовместимо с принципами их религиозного учения. И если в 1758 году Общество друзей в Филадельфии приняло официальное решение, возбраняющее членам Общества иметь рабов, — это в значительной мере была его заслуга.

Он был человек скромной и непритязательной внешности, стремившийся к простоте в личном обиходе и тщательно избегавший всякой суетности; из страха, как бы чрезмерным украшением своей особы не обидеть тех, кто бедней его, он ходил всегда в одежде из небеленой домотканой холстины и носил простую белую войлочную шляпу — кстати сказать, привлекавшую к нему внимание гораздо больше, чем мог бы привлечь самый дорогой шелковый цилиндр! И он был настолько чужд всякого честолюбия, что даже в своем «Дневнике» почти не упоминал о собственных заслугах в деле борьбы против рабства, предпочитая подробно описывать чужие деяния и чужие жертвы.

Видно было, что строки, которые читала Этта, оказывают на Солона такое действие, как звуки давно знакомой и любимой мелодии. Но для нее самой в этих строках как будто впервые открывалась вся сущность веры отца. То был не отвлеченный нравственный кодекс и не религиозная догма общества или секты; то было, говоря словами Вулмэна, «начало, заложенное в человеческом сознании, которое в разных местах и в разное время называлось по-разному; но оно едино в основе своей и исходит от бога. Это — глубокое внутреннее убеждение, рожденное в чистоте души, не ограниченное рамками какой-нибудь религии и ни одной религией не отвергаемое. И все, в ком оно зародилось и зреет, становятся братьями».

Дальше оказывалось, что всю жизнь Джоном Вулмэном руководил тот самый Внутренний свет, о котором Этта так часто слышала от своего отца, но не понимала хорошенько, что это значит. Сокровища духа были для Джона Вулмэна столь же реальны, как и явления материального мира, и не раз Истина являлась ему в материальных формах, доступных слуху или зрению. Вот как об этом писал сам Джон Вулмэн:

«Однажды, будучи в добром здравии и приехав в Берлингтон, я заночевал в доме одного из местных Друзей. Я лег спать в свой обычный час, но среди ночи проснулся и некоторое время лежал без сна, предаваясь утешительным размышлениям о благости и милосердии божьем. После этого я заснул, но немного спустя проснулся снова. До рассвета было еще далеко, а ночь была темная и безлунная, однако, открыв глаза, я увидел посреди комнаты, примерно в пяти футах от постели, пятно света дюймов девяти в поперечнике; свет был ровный, приятный для глаз, но довольно яркий, особенно в центре. Я лежал и смотрел на этот свет, не испытывая никакого удивления, и тут в ушах у меня зазвучали слова, заполнившие меня всего. То не была мысль, сложившаяся в моем мозгу при виде столь необычайного явления. То был голос всевышнего, говоривший со мною во мне. Он сказал: «Непреложное доказательство божественной истины». Это было повторено дважды, слово в слово, после чего свет исчез».

В другом месте Этта прочла:

«Года два с половиной назад я тяжко заболел и был настолько близок к смерти, что позабыл свое имя. Томимый желанием узнать, кто же я такой, я вдруг увидел к юго-востоку от себя какую-то бесформенную массу неопределенного тусклого цвета, и мне было сказано, что эта масса есть не что иное, как живые, человеческие существа, испытывающие величайшие страдания, и что я сам — часть ее, и не должен поэтому думать о себе, как об отдельном, обособленном существе. Так продолжалось несколько часов. Затем раздался нежный, мелодичный голос, прекрасней которого мне никогда не доводилось слышать, и я решил, что то голос ангела, беседующего с другими ангелами. Он произнес такие слова: «Джон Вулмэн умер». Тут я вспомнил, что Джоном Вулмэном некогда звали меня, и так как я продолжал ощущать свое тело живым, мне показалось непонятным — что же должны были означать эти слова? Я не сомневался в том, что слышал голос ангела небесного, но смысл сказанного им оставался от меня сокрытым.

После этого дух мой перенесся в подземный рудник, где несчастные, угнетенные люди тяжким трудом добывали неисчислимые богатства для других, именовавших себя христианами; при этом они кощунственно поминали имя Христово, чем я был немало удручен, ибо для меня это имя священно. Но мне было сказано, что эти язычники, слыша, будто те, кто притесняет их, последователи Христа, рассуждают между собою так: «Если Христос повелел им обращаться с нами, как они обращаются, значит, Христос — жестокий тиран!»

Но смысл слов ангела по-прежнему оставался для меня тайной, и поутру, когда моя дорогая жена и прочие родичи сошлись у моего изголовья, я обратился к ним с вопросом, знают ли они, кто я. Они ответили, что я — Джон Вулмэн, но при этом сочли

меня повредившимся в уме, ибо я ничего не сказал им о словах ангела, не будучи расположен беседовать с кем бы то ни было и желая лишь одного: проникнуть в смутившую меня тайну. Язык мой беспрестанно пересыхал настолько, что я не мог вымолвить ни слова, не пошевелив им прежде во рту, чтобы смочить его слюною, а потому я лежал молча. Но вот спустя некоторое время рот мой чудодейственным образом увлажнился, и я почувствовал, что свободно могу говорить. Тогда я сказал: «Я был распят с Христом, однако живу, ибо это не я, а Христос живет во мне. И дух, ныне животворящий мою плоть, есть дух веры в сына божия, который возлюбил меня и за меня отдал жизнь свою».

И тогда тайна раскрылась, и я понял, что в небесах было ликование, ибо еще один грешник раскаялся, и что слова «Джон Вулмэн умер» означали лишь то, что умерла моя единоличная воля. И тотчас же я стал понимать все, как понимал прежде».

Чтение этих страниц настолько взволновало Солона, что он как бы почувствовал прилив новых сил; он пожелал встать и пройтись, и действительно ему удалось сделать несколько шагов, опираясь на Этту и старого Джозефа. С того дня он как будто стал крепнуть духом и телом; в нем появилось желание приободриться, быть ласковей с другими. Когда Айсобел в субботу приехала из Льевеллина, он так нежно, так ласково ее встретил, что она даже заметила потом Этте:

— Как странно, что отец теперь с нами гораздо ласковее, чем когда-либо! Посмотреть на него, так кажется, будто ему лучше, а между тем мы знаем, что ему хуже.

При этих словах у Этты болезненно сжалось сердце: она теперь еще больше любила отца и, казалось, лучше его понимала. Чтение вслух «Дневника» Джона Вулмэна оставило в ней глубокий след.

Впервые в жизни она ощутила всю силу той духовной красоты, которою была отмечена жизнь таких людей, как Джон Вулмэн, как ее отец, — и она задала себе вопрос: откуда берется эта красота? В чем ее сила? Не может ли и она, Этта, хоть немного набраться этой силы, чтобы спастись от своей душевной пустоты? Чего ей ждать от будущего? Она не забыла Кейна, и любовь к нему все еще жила в ее сердце. Но отец и Джон Вулмэн мало-помалу научили ее понимать то, что превыше человеческих страстей и связанных с ними эгоистических желаний и стремлений, — мир и радость, заключенные в любви к другим, прежде всего к больному отцу. Отдав себя служению отцу, она узнала, что это значит — служить другим, и не только во имя родственной близости или велений сердца, но и просто ради облегчения человеческих страданий. Что может быть прекраснее такого служения? Во «Введении» к «Дневнику» Вулмэна она прочла: «Религией его была любовь. Любовь заполняла все его существование, заменяла ему все другие страсти», и любовь, о которой здесь шла речь, была обращена прежде всего на бога, а затем на всех людей, на все живое в мире — на бедных, на слабых, на рабов, на рудокопов, тогда как ее любовь была обращена только на одного человека, Кейна. Именно эта великая любовь одухотворяла ее отца, именно она помогла ему развеять сгустившуюся над ним черную тень горя, которая едва не погасила в нем пламя жизни; под ее благотворными лучами вновь расцвели в нем интерес и сочувствие к другим — к ней и к Айсобел, к цветам, к насекомым, к рыбкам в Левер-крике и даже к змее, чудом понявшей ласку, которая звучала в его голосе. А теперь и в Этте затеплилась такая любовь, и она была готова раствориться в ней всем своим существом.

В этой любви и единении со всей природой не было ничего случайного, изменчивого или разочаровывающего, — ничего такого, что вспыхивает в одно мгновение и может отгореть в следующее. Эта любовь была постоянной, как сама природа, которая повсюду одна и та же, в солнечном сиянии и во мраке, в трепетной прелести рассвета и в звездном великолепии ночи. И любить так значило постигнуть самую суть бытия.

ГЛАВА LXVII

Солон доживал последние дни. Всего три месяца прошло с тех пор, как врач определил его болезнь, и вот уже стали появляться отдельные и вначале еще редкие признаки надвигающегося конца. Ему теперь особенно трудно давались переходы от сна к бодрствованию и наоборот. Колени подкашивались при ходьбе, слабела память, иногда желая попросить о чем-нибудь или высказать пришедшую в голову мысль, он путался в словах.

Как-то утром, когда Этта подошла к его изголовью, он поднял на нее глаза и спросил слабым голосом:

— Дочка, что сталось с тем бедным стариком, который умирал от рака?

Сердце Этты сжалось от боли, когда она услыхала этот странный вопрос; слезы подступили к горлу, и она не могла выговорить ни слова. Наконец, овладев собой, она переспросила:

— Что ты говоришь, отец, какой старик?

— Ну.., ну... — забормотал он, — ну, тот, у которого сын покончил с собой.

Этта, потрясенная, не нашлась, что ответить. У нее заволокло глаза, и она с трудом подавила рыдание. Ей захотелось убежать без оглядки, хотя бежать, в сущности, было не от чего, разве только от страшной мысли, что у отца помутился рассудок. Вызванный тут же доктор долго уговаривал ее успокоиться и примириться с сознанием неизбежности происходящего; все равно — ей остается лишь тщательным уходом облегчать страдания отца и в случае каких-либо заметных перемен немедленно дать знать ему, врачу. Но никаких перемен в ближайшие дни не произошло, если не считать того, что Солон время от времени спрашивал, как чувствует себя Бенишия, видимо забывая о том, что она умерла, и несколько раз справлялся о каких-то документах, которые будто бы должны были прислать из банка.

Однажды Этта принесла ему несколько поздних желтых хризантем, уцелевших во время заморозков. Он с минуту глядел на них, потом пробормотал:

— Золотые слова...

— О чем ты говоришь, отец? — спросила Этта.

— Дочка, — медленно, но внятно произнес он, — помнишь тот священный текст, который мы с твоей матерью повесили на стене в столовой? — Золотистый оттенок хризантем, видно, напомнил ему желтый цвет шерсти, которой были вышиты слова на коврике, подаренном им когда-то Бенишии: «В почтительности предупреждайте друг друга». — Попроси старого Джозефа, пусть он принесет его сюда и повесит так, чтобы он был у меня перед глазами.

Она поспешила выполнить его просьбу, радуясь, что может сделать ему приятное, и когда коврик с текстом был повешен на указанном месте, он, с улыбкой любуясь на него, сказал:

— Таков был дух нашего дома.

— Был и есть, отец, — сказала Этта, целуя его в лоб.

Потом они долго говорили о Бенишии, вспоминали разные маленькие происшествия тех светлых, счастливых лет, когда вся семья еще жила вместе. И это была последняя задушевная беседа отца с дочерью. В тот же вечер Солону внезапно сделалось хуже. Он стал заговариваться, произносил без всякой связи отдельные фразы, то вовсе бессмысленные, то, напротив, исполненные глубокого значения. Так, например, он вдруг совершенно отчетливо проговорил: «Надо всегда быть честным и с богом и с самим собой». В другой раз он ни с того ни с сего стал настойчиво повторять: «Банки! Банки! Банки! Банки!», а немного спустя вдруг сказал: «Беднота — и банки!»

Слушая эти бессвязные речи, в которых отражались обрывки мыслей о религии и об общественном устройстве, бродивших, видно, в его слабеющем мозгу, Этта решила вызвать Айсобел. Та приехала и, взглянув на отца, тоже поняла, что жить ему осталось немного.

Но было видно, что в эти последние часы своей жизни Солон думает о религии, о ее животворящей силе; в день приезда Айсобел, когда обе дочери сидели у его постели, он вдруг совершенно явственно произнес:

— Вот видите... если кто нуждается в помощи божьей и взывает о ней, бог слышит его голос... Никогда не оставит человека в нужде...

И это замечание утешило Этту и Айсобел и придало им силы для предстоящего испытания, ибо Солону не становилось лучше и больше он уже почти не говорил.

Убедившись из слов врача, что положение Солона безнадежно, Этта сочла нужным предупредить Осию Горма, самого старинного и самого преданного из его друзей и почитателей. Горм тотчас же приехал в Торнбро, и Этта, оставив его в гостиной с Айсобел, пошла наверх, взглянуть, не спит ли отец, и прибрать в его комнате, чтобы Горм мог войти.

Когда она подошла к постели, Солон взял ее за руку и посмотрел на нее с таким выражением, словно она задала ему вопрос, требовавший ответа, — хотя на самом деле она ничего не говорила. Потом лицо его отразило напряженную работу мысли, и он спросил:

— К кому же прибегнуть тебе, если не к Внутреннему свету?

Этта вздрогнула и невольно оглянулась, словно этот вопрос мог быть обращен не только к ней, но и к кому-то третьему, только что вошедшему в комнату. Но никого не было, и, видя, что глаза Солона снова закрылись и он как будто задремал, Этта потихоньку опустилась на колени и прошептала:

— Я тебя недостойна, отец, теперь мне это ясно.

Но он не шевелился и не открывал глаз, и тогда она поняла, что он умер, и, поднявшись с колен, зарыдала.

В это мгновение в комнату вошли Айсобел и Осия Горм. Айсобел замерла на пороге, Горм же, взглянув на Солона и слыша рыдания Этты, подошел и сказал:

— Дочь моя, мне понятна твоя скорбь, ибо отец твой был поистине оплотом нашей веры, и память о нем будет служить поддержкой всем, кто знал его хотя бы только по имени.

Эпилог

И вот настал день погребения Солона Барнса — в том самом Торнбро, который некогда был родным и любимым домом его отца и матери, а после смерти отца — его и Бенишии; где, по крайней мере в первые десять лет своей семейной жизни, он знал одни лишь радости и душевный покой, сочетавшийся, хоть он и не стремился к тому, с житейским благополучием.

Сюда, для отдания последнего долга этому поистине выдающемуся и много испытавшему другу и отцу, съехались не только его дети — Орвил с женой, Доротея со своим светским мужем, Айсобел, как всегда задумчивая и молчаливая, и Этта, но, кроме них, Рода Уоллин, до сих пор мучимая укорами совести из-за той роли, которую она сыграла в гибели Стюарта, а также Стоддарды из Трентона, Бенигрейсы из Метучена и многочисленные Уоллины из Филадельфии, не говоря уже о Сэйблуорсе и Эверарде из Торгово-строительного банка. Собрались и глубоко опечаленные старейшины и рядовые члены даклинской общины, которые всегда находили в Солоне мудрого и отзывчивого собрата, готового выслушать любого из них и в меру своих сил помочь тому, кто попал в беду.

Двое из них, одетые в традиционное квакерское платье, специально следили за тем, чтобы, согласно «Книге поучений», проводы покойного не длились чересчур долго, чтобы не было ничего показного и лишнего, никаких ненужных и бесплодных речей. Вся церемония прощания должна была занять не более часа; затем, после нескольких минут торжественного молчания, тело должны были с почетом отвезти на кладбище даклинской общины, где уже лежал Стюарт, а рядом с ним Бенишия, ожидавшая своего возлюбленного супруга.

Окончились минуты молчания, и все уже готовились тронуться в путь: Орвил взял под руку Алтею, Доротея — своего мужа, и только Айсобел стояла одна, потому что Этта, не будучи в силах справиться со своим волнением, вдруг куда-то исчезла. Но тут из глубины полуосвещенной гостиной появилась высокая подтянутая мужская фигура; неизвестный подошел к Айсобел и подал ей руку. То был Дэвид Арнольд, ее профессор, и, судя по тому, как просветлело лицо Айсобел, его неожиданное появление здесь, подле нее, сказало ей, что ее мечта о друге в конце концов не осталась безответной.

Наступила последняя минута. Одетые в черное люди молча встали по обе стороны гроба, а друзья и родные покойного подошли бросить на него прощальный взгляд. Но Этта, подойдя к гробу и взглянув еще раз в мертвое лицо отца, не выдержала — кинулась в соседнюю комнату и там разрыдалась; рыдания ее становились все громче, все сильнее, по мере того как вся скорбная история семьи мелькала перед ее мысленным взором.

Ибо несмотря на те неусыпные заботы, то нежное внимание, которым она окружила отца, возвратясь из Нью-Йорка после крушения своей любви, Этта не переставала остро ощущать свою долю вины в этой общей трагедии. Ее отец! Ее мать! Чего стоили все ее заблуждения и то своеволие, которое она проявила! Теперь только она поняла, в какой неимоверной тревоге они жили с того дня, когда она покинула родной дом! Ее безрассудная жажда любви! Ее полное неумение понять духовные идеалы отца! И все это — задолго до того, как ненасытное стремление Стюарта к показной роскоши и чувственным удовольствиям привело его к гибели — гибели от своей же руки! Ей вспоминались ее собственные чувственные мечтания: молодой человек на велосипеде у стен Чэддс-Форда, французские романы, Волида, Кейн — как много все это значило раньше и как мало значит теперь!

В это время в комнату вошел Орвил, которому понадобилось поправить развязавшийся галстук; увидя плачущую Этту и вспомнив сразу все, что он называл ее себялюбивым, безнравственным поведением и считал одной из причин дурной славы, которая теперь пошла про семью, он остановился и заметил:

— Что ты плачешь? Ведь это ты положила начало всем несчастьям в нашей семье!

Она с трудом подавила одолевавшие ее рыдания и ответила, без тени злобы или упрека:

— Ах, я не о себе плачу и даже не об отце — я плачу о *жизни*.

Тут Айсобел, повсюду искавшая Этту, вошла и, положив руку ей на плечо, сказала:

— Полно, Этта, дорогая, не плачь, пора ехать.

И, пройдя мимо Орвила, они спустились вниз, где Друзья уже рассаживались по каретам.

Примечания

Замысел романа «Оплот» возник у Драйзера поздней осенью 1912 года под впечатлением рассказанной ему истории одной квакерской семьи. Своими планами он поделился в декабре 1912 года с поэтом Э. Мастерсом. Известно, что писатель работал над «Оплотом» в 1914—1917 годах. Вероятно, это и позволило его издателю объявить о предстоящем выходе романа в свет еще до конца 1917 года. Однако «Оплот» не был закончен ни в 1917 году, ни в последующие годы, хотя издатель всячески торопил автора, предсказывая его новому роману успех.

Драйзер собирался завершить работу над романом в 1938 году, однако события в Испании и Вторая мировая война изменили его планы, и он снова вернулся к работе над «Оплотом» только в начале 1942 года. Драйзер отверг законченный первый вариант романа и начал работу сызнова. «Что касается «Оплота», — писал он летом 1942 года, — то я могу сообщить сейчас только то, что работаю над ним каждый день». Но работа продвигалась не так быстро, как того хотелось писателю. Сам Драйзер отмечал, что роман касался «сугубо индивидуальной и очень чувствительной проблемы — отношения к религии в семье, и, так же как в процессе работы над «Американской трагедией», я нахожу это трудным».

Ознакомившийся с новым вариантом начала книги издатель заявил, что роман ему не нравится, и Драйзер опять был вынужден прервать работу. Возобновив ее в 1944 году, он закончил роман в мае 1945 года. В декабре писатель прочел корректуру романа, который вышел в свет в 1946 году, уже после его смерти. Близкие к писателю лица отмечают, что опубликованный текст «Оплота» значительно отличается от авторской рукописи, так как она подвергалась большой редакторской правке и сокращениям.

Драйзер остановил свой выбор на семье квакеров потому, что считал их религиозную секту типично американской. Работая над романом, писатель хорошо ознакомился с учением квакеров, прочел их книги, беседовал со многими видными представителями секты. Он долго считал, что американская публика еще не готова принять роман на религиозно-социальную тему, и это была одна из причин, по которым он откладывал работу над книгой.
